

ISSN 0132-0637

∞ 1996

Октябрь

Октябрь

8 1996



предлагает широкий спектр услуг
отечественным и иностранным
физическим и юридическим лицам в
различных областях международного и
национального хозяйственного и
гражданского оборота:

➤ **Правовые услуги:**

* консультации по вопросам
российского и зарубежного
гражданского, торгового,
хозяйственного,
корпоративного,
банковского и т. д. права;

* проведение квалифицированной
юридической экспертизы всех
видов документов правового
характера;

* регистрация всех
организационно-правовых форм

юридических лиц, в том числе с
иностраным участием.
Разработка учредительных
документов при создании и
преобразовании юридического
лица;

* подготовка проектов
гражданско-правовых
договоров, контрактов
внешнеэкономической сферы, в
том числе на иностранных
языках.

➤ **Предоставление нотариальных услуг осуществляется
по исчерпывающему перечню действий нотариуса,
предусмотренных российским законодательством:**

* оформление всех видов
договоров, включая договоры
купли-продажи недвижимости
(квартир, строений и т. д.),
залога, аренды, займа,
дарения, кредитных,
агентских, дилерских,
консигнационных и др.
соглашений, в том числе с
зарубежными юридическими и
физическими лицами;

* оформление банковских
карточек;

* заверение копий;

* оформление сделок с ценными
бумагами;

* оформление доверенностей;

* совершение иных
нотариальных действий,
предусмотренных российским
законодательством и
международными договорами
РФ.

Вы можете заказать перевод документов с последующим
нотариальным удостоверением.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:

Москва 109240
Москворецкая
набережная, дом 2а

Телефон:
917-58-94

Тел./факс:
917-89-75

НАШИ ФИЛИАЛЫ:

ул. Ак. Пилюгина,
дом 8, корп. 1

тел. 935-27-41
935-27-52

Северное Чертаново,
дом 4, корп. 402

тел. 319-37-00

Всегда Вам рады!

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

8

1996

АВГУСТ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Летит себе аэроплан. Свободная фантазия по мотивам жизни и творчества Марка Шагала	3
Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР. Новые стихи	38
Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ. Сентиментальное путешествие	43
Анатолий КУБРИК. Зеркало звука. Стихи	115
Иосиф ОЛЬШАНСКИЙ. Человек в черном смокинге. Рассказ	118

«*Бывают странные сближения...*»

Анатолий НАЙМАН. Русская поэма: четыре опыта	128
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

С. С. ДЗАРАСОВ.

Что же с нами происходит? Экономико-философские раздумья... 153

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Вячеслав КУРИЦЫН.

Великие мифы и скромные деконструкции 171

Вавилонская библиотека

Валерий ВОЛКОВ. **Победители и побежденные. * Б. ФИ-ЛЕВСКИЙ. Сказка, прерванная дробным топотом ног . . 188**

На журнал «Октябрь» в зарубежных странах можно подписаться через контрагентов Акционерного общества «Международная книга». Адреса фирм-агентов вы можете узнать в А/О «Международная книга»:

117049, Россия, Москва, Большая Якиманка, 39

факс: (095) 238-46-34

телефон: (095) 238-49-67

телекс: 411160

Индекс издания: 73293

Цена годового комплекта (12 номеров) на 1997 г., включая стоимость авиадоставки: \$ 143.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРЕТОВА** (заместитель главного редактора),

Н. К. ЛОШКАРЕВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (проза), **И. А. БРЯНСКАЯ** (публицистика),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (критика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 01.07.96. Подписано к печати 24.07.96. Формат 70x108^{1/8}.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 15 530 экз. Заказ № 669. Цена 8900 руб.

Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 5 тыс. экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместители гл. редактора — 214-63-64, 214-69-37, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии — 214-69-37, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

Типография издательства «Пресса» 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1996. При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Л е т и т с е б е а э р о п л а н

СВОБОДНАЯ ФАНТАЗИЯ ПО МОТИВАМ
ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА МАРКА ШАГАЛА

Пожар в еврейском предместье города Витебска вспыхивал в разное время, но чаще всего под вечер, когда зажигались свечи и керосиновые лампы. Летом смеркалось поздно, свечи и лампы зажигали уж в девятом часу. Вот и сейчас вспыхнуло, когда в церкви пробило девять, поп вышел из церковного двора и, сопровождаемый свиньей с поросятами, пошел домой.

Загорелось в домике на самом краю еврейского квартала, у тюрьмы. На домике была вывеска: «Ювелирная мастерская Локшинзона. Огранка алмазов. Золотые и серебряные работы». Очень худой маленький человек, очевидно, сам Локшинзон, в кальсонах и лапсердаке, одетом на нижнюю рубаху, выбежал из домика, держа на руках двух девочек лет трех-четырёх, с криком «Пожар! Сы брент!» Хоть это было и без его крика ясно и люди выбегали из окружающих домов. Толстая, массивная супруга Локшинзона, выбежавшая следом за ним в капоте, с младенцем на руках, сказала:

— Эля, идиот, перестань кричать. Люди не слепые, они видят огонь. Чтоб ты горел, перестань кричать!

— Хая, зачем ты ему желаешь гореть, ведь он уже горит, — сказала соседка, тоже державшая на руках младенца и выбежавшая из домика с вывеской «Варшавский портной Шустер».

— Разве это он горит?! — закричала Хая. — Это я горю... Он одел свой лапсердак и выбежал... Голодранец, что у него есть гореть?.. У него есть столько же, сколько у клопов, которых он жег свечой... Жег свечой и подпалил кушетку... А от кушетки загорелось все остальное. Все добро, и весь инструмент, и весь материал. Это называется, он жег клопов.

— Клопов я мазал керосином, а свечой я жег тараканов, — сказал Эля.

— Ты слышишь, Двойра? Сначала он мазал керосином, а потом он жег свечой. Идиот! Даже у лошади Хайма-биндюжника в заднице больше ума, чем у тебя в голове.

— Тараканов надо бить подошвой резиновой галоши, — с видом знатока сказал муж Двойры, варшавский портной Шустер.

— Так до этого ведь надо додуматься, ребб Пинхас! — крикнула Хая. — А мой муж имеет голову Срулика сумасшедшего, который кушает конский овес.

— Хая, не кричи, Хая, — сказал Эля, — главное, что мы спаслись.

— Мы спаслись?! — еще громче крикнула Хая. — Ты считаешь, мы спаслись?! А на что мы будем жить? На твою перхоть?! Завтра надо отдавать заказ в ювелирный магазин Розенфельдов.

— Не кричи, Хая, ты разбудишь новорожденного, ты разбудишь Зусеньку.

— Не беспокойся про Зусеньку, — сказала Хая и поцеловала младенца. — Я о нем немножко позабылась! — И она достала из кармана капота связки золотых изделий, а из другого кармана — стограммовую стопочку, наполненную бриллиантами. — Нашему Зусеньке скоро исполнится месяц.

— Нашему Аминодавчику в прошлый понедельник исполнился месяц, — похвалилась Двойра.

— Я слышал, у грузчика селедочной лавки Шагала жена на сносях, — произнес портной Шустер.

— Я видела, как в дом к Шагалам шла повитуха, — сказала Двойра.

— Нашла время рожать, — сказала Хая. — Рожает во время пожара. У Шагалов все не так.

Жена селедочного грузчика, долговязого и худого Захарии Шагала металась вся в поту и стонала. Две повитухи хлопотали около роженицы. Ребенок появился на свет безмолвно, стонала только мать.

— Он не хочет жить, он не хочет жить, — отчаянно бормотал Захария.

Повитухи окунали безмолвное тельце в ведро с холодной водой. Отблески пламени освещали кровать, на которой обессиленно лежала роженица, ведро с водой, в которое окунали неживого младенца, в отчаянии молящегося отца...

— Колите его иголками! — крикнул варшавский портной, вбегая в комнату.

После нескольких уколов мальчик издал первый крик, и одновременно горящая балка рухнула, едва не задев окно. Мальчика быстро запеленали, положили в ноги у роженицы, и четыре человека, подхватив кровать, выбежали на улицу. А там уже трещало и шипело вовсю. Бегали люди с ведрами, проехала пожарная бочка, влекомая ломовыми лошадьми. Заборы, лавки, кирпичная тюрьма, синагога — все было в багровых дрожавших отблесках, которые играли на вывесках: «Пекарня и кондитерская Гуревича», «Табак — Табачные изделия Абрамовича», «Фрукты и продукты Кац», «Парижская мода. Иосиф Бердичевский», «Школа рисования и живописи художника Пэна».

— Евреи горят, — говорили арестантки, весело теснясь у зарешеченных тюремных окон. — Ишь как шевелиются, как тараканы, разбегаются.

— Слышь, Петруха, — мечтательно сказал белобровый парень, — сейчас бы пограбить.

— Пограбить бы, Тренька, — согласился чубатый Петруха и потряс решетку. — Эх, не вовремя заперли, фараоны!

А у церковной ограды стоит поп, держась руками за крест, и, сверкая зубами, насвистывает: «Коль славен наш Господь в Сионе». А за церковью тихо течет речка, шелестят камыши, и в камышах кто-то шепчет на два голоса: «Ох, милый, ох, хорошо... ох, сладко». А на кладбище бродяги устраиваются на ночлег, раскрывают котомки, кладут на могилы газеты, а на газеты сухари да сало. А в раскрытое окно виден солдат, который пьет чай. Козы и коровы беспokoйно мычат в хлевах. Пьяный биндюжник Хаим Виленский идет со своей толстобрюхой лошадью и пытается петь, но вместо того издает лишь лошадиное ржание. Темнеет на горе огромный заброшенный польский замок.

И над всем этим, под большими, как серебряные рубли, звездами летят огненные ангелы, рожденные из пламени, вьются вольно и свободно, еще не схваченные кистью художника, еще не застывшие на шагаловских полотнах.

Пасха — Песах — в еврейском Витебске. В городе еще лежит снег, но, когда с густой глубокой синевы весеннего неба солнце нагревает воздух, можно с хрустом распахнуть оклеенные на зиму окна, вытряхнуть наружу прошлогоднюю бумагу и вату, прошлогодних мертвых мух и тараканов, впустить в комнаты пасхальные уличные запахи и звуки. Во всех еврейских домах накануне Песаха идет генеральная уборка. Тщательно чистят и моют все углы дома, у варшавского портного Шустера, у ювелира Локшинсона, у грузчика селедочной лавки Шагала... И всюду, во всех еврейских домах, слышно сказочное, таинственное слово — хамец.

— Ищите хамец, — говорит Эля ораве своих детей, — всюду, во всех углах ищите хамец.

И Зуся вместе со своими братьями и сестрами ищет хамец.

— Хамец, хамец...

Толстая, раскрасневшаяся Хая вместе с дочерьми моет посуду.

— Эля, куда ты складываешь вымытую посуду? — кричит Хая. — Отнеси ее подальше в чулан. Разве ты не знаешь, что стенки посуды впитывают хамец? Не дай Бог, перепутаем пасхальную посуду с будничной... Зуся, — оборачивается она, — что ты грызешь? Ой, ребенок грызет сыр из мышеловки! — Она вырывает у Зуси сыр. — Зачем ты это делаешь, дурак?

— Мне папа сказал, — отвечает плачущий Зуся.

— Я сказал тебе грызть сыр из мышеловки? — возмущается Эля. — Я ска- зал — искать в мышеловке хамец.

— А что,— спрашивает Зуся,— разве мыши тоже справляют Песах?

— Я тебя поздравляю, Эля,— говорит Хая,— по-моему, твой сын весь умом в тебя.

— Хамец, хамец,— слышно и в доме варшавского портного Шустера.

— Я нашел хамец,— говорит Аминодав и приносит таракана.

— Ты у меня хухем! — смеется Шустер и выбрасывает таракана в окно.

— Мне чтоб было за твои косточки,— говорит Двойра и гладит Аминодава по голове.— Пинхас, объясни ребенку, что такое хамец.

— Я знаю, что такое хамец,— говорит Аминодав.— Хамец — это хлеб.

— А зачем же ты принес таракана? — спрашивает Пинхас.

— Таракан ведь кушает хлеб,— говорит Аминодав,— значит, у него в животе лежит хамец.

— Хамец, сын мой,— говорит Пинхас,— значит, окисленный. Это забродившее тесто из муки. Хамец запрещен в Песах в любом количестве, его нельзя употреблять в любой форме, в том числе в смесях или напитках. Это относится в первую очередь к хлебу, но и к печеню из пшеницы, ржи, ячменя, овса. Пшеничное зерно, попавшее в воду, становится хамецом. Водка и пиво — тоже хамец. На Песах разрешается пить только красное пасхальное вино в красных пасхальных бокалах. На Песах едят мацу. Ее готовят особенно тщательно, согласно всем предписаниям Галахи, и охраняют от закваски. Только такая маца, а не та, что продается в магазинах круглый год, употребляется на Песах.

— Ложитесь спать, дети,— говорит Хая,— во всех еврейских домах после обеда дети ложатся спать в предпасхальный день, чтоб их можно было разбудить ночью искать хамец.

— При свете восковой свечи,— говорит Эля,— мы будем искать в эту ночь хамец. Углы комнат и кладовок, полки, выдвижные ящики, стенные шкафы, щели в полу, карманы одежды — всюду, всюду будем искать хамец.

Предпасхальная лунная ночь. Тени мечутся по стене. Марк лежит, глядя на тени, рядом сопит во сне брат Давид. Марк толкает брата, тот бормочет, поворачивается на другой бок. Тогда Марк наклоняется и шепчет в ухо брату:

— Хамец.

— Уже надо вставать? — вскакивает брат.

— Тише, Давид,— шепотом отвечает Марк,— вон на стене хамец.

— Это тени,— говорит Давид.

— Это призраки хамеца,— тихо возражает Марк,— призраки из той первой пасхальной ночи, когда евреи шли из Египта. Древний хамец давно стал привидением, бродит по свету и приходит в еврейские дома накануне Песаха. То он человек, дядя, закутанный в талас. Видишь, он улыбается нам, а теперь он нам грозит. А теперь он стал козлом. Видишь, какие у него рога?

— Не пугай меня, мне страшно! — кричит Давид.

Входит мама.

— Дети, что за крики?

— Марк меня пугает,— говорит Давид,— как будто бы на стене хамец.

— Марк, оставь свои фантазии,— говорит мама.— Скорей, дети, вставайте, пора искать хамец.

Горит восковая свеча в руке у мамы. Все с серьезными, торжественными лицами.

— Внимайте,— говорит отец Захария,— перед началом проверки, как при исполнении других заветов Торы, произнесем благословение. Повторяйте за мной: «Благословен ты, Бог всемогущий, наш Король Вселенной, который освятил нас своими заветами и заповедовал нам убраться хамец...»

Мелькает свет свечей по стенам, по углам, по ящикам... В доме у Локшинозов, в доме у Шустеров, в доме у Шагалов.

— Я нашел хлебную корочку,— говорит Эля.

— Вот хлебная корочка,— говорит Марк.

— И у меня хлебная корочка,— говорит Давид.

— Я нашел сухой хлеб,— говорит Аминодав.

— Хлебная корочка, хлебная корочка! — шумят дети.

— Дети, существует обычай,— говорит Пинхас Шустер,— кладут в определенные места десять хлебных корочек и затем собирают их во время поис-

ков. Делается это для того, чтоб в случае отсутствия даже крошки хамеца поиски не оказались безуспешными.

— Вот так собираются крошки хамеца.— Эля птичьим пером подметает крошки в деревянную ложку.

Всюду, во всех еврейских домах, ищут хамец. Предпасхальная ночь близка к концу. Голубеет окно.

— Весь хамец кладите в этот пакет,— говорит Эля.

— Перо и специальную деревянную ложку тоже кладем в этот пакет с крошками и подвешиваем его повыше на крючок, чтобы мыши и крысы не разгрызли пакет и не разнесли крошки по дому.

Окна уже освещены первыми лучами солнца. У всех утомленные, но торжественные лица. Произносится завершающая молитва.

— Любый непресный хлеб,— произносит Захария Шагал,— или квашня...

— ...которые имеются в моих владениях,— произносит Пинхас Шустер.

— ...но которые я не заметил и не убрал и которых я не знаю,— произносит Эля.

— ...пусть считаются никчемными и станут бесхозными, подобно праху земному,— говорит Захария Шагал.

Все:

— Аминь!

Солнечное утро. На столе кипит самовар.

— Дети, это ваш последний предпасхальный завтрак,— говорит Захария.— Сегодня начинается праздник Песаха в честь исхода сынов израилевых из Египта, и евреи, подобно предкам своим, будут есть только мацу, которую готовят согласно предписаниям Галахи и охраняют от закваски. А весь хамец после завтрака будет торжественно сожжен.

— Захария,— говорит мама,— ты ведь знаешь, что в этом году на шаббат-Гагадол, великую субботу перед Песахом, к нам из Леозно должно было приехать много родственников: брат Израиль, брат Иегуда, сестра Ралли, сестра Муся, сестра Гутя, сестра Шая. Но они не приехали, потому что муж сестры Ралли умер.

— К чему ты мне это говоришь? — спрашивает Захария.

— К тому, что напечено много сладостей. Что нам теперь с ними делать?

— Согласно предписанию Торы весь хамец должен быть сожжен.

— Ах,— вздыхает мама,— ведь детям будет так тяжело видеть, как горят пирог с творогом, печенье и струдель. Неужели нельзя найти шабес-гоя, нееврея, которому Тора не предписывает соблюдать Песах, и продать ему все это хотя бы за полцены?

— Ты ведь знаешь,— говорит Захария,— что из всего хамеца шабес-гой покупают за полцены только водку, сливоницу и пиво.

— Ай, как жалко! — Мама отпирает буфет и ставит на стол блюда со сладостями. — Дети, ешьте, сколько можете, потому что остаток придется сжечь.

Наливается крепкий чай. Масленистое печенье, пирог со сладким творогом, струдель с орехами и изюмом, рогалики с вареньем... Райское обилие, рай для детей... Дети набрасываются на сладости, как древние евреи в синайской пустыне на манну небесную. Марк старается не отстать от Давида, который, хоть и маленький, худенький, но съел уже целую сладкую гору. Еще один кусочек струделя, еще кусочек пирога со сладким творогом... Вдруг Давид вскакивает и, выпучив глаза, бежит во двор. Марк начинает смеяться, но тут же, прижимая рот ладонью, бежит следом. За Марком бежит сестра Лиза. Дети стоят рядом, упираясь руками в забор. Светит пасхальное солнце, поют птицы.

— Вот что значит жадность,— говорит Захария, когда они бледные, с пустыми желудками возвращаются.

— Не ругай их, Захария, ты видишь, детям нехорошо, выпейте еще крепкого чая, станет легче.

Струдель, пирог с творогом, печенье, рогалики уже лежат на жертвенном подносе посреди стола, рядом с хлебными корочками, птичьим пером и деревянной ложкой. Отец Захария обливает все это спиртом. Вспыхивает огонь... Детские глаза наполняются слезами. Святая пасхальная жертва. Корчатся, погибают в огне любимые сладости, течет горячее варенье из лопнувшего теста, выползает творог... Отец Захария читает молитву:

— Любый не пресный хлеб или квашня, имеющиеся в моих владениях, которые я видел и которых я не видел, которые я заметил и которых я не заме-

тил, которые я убрал и которые я не убрал, пусть считаются ничемными и станут бесхозными, подобно праху земному.

— Аминь!

Все:

— Аминь!

— Хая, сколько мы возьмем солдат в этом году за пасхальный стол?— спрашивает Эля.

— Сколько? — говорит Хая.— Как всегда — одного.

— А может, мы возьмем в этом году двух? Одного солдата берет грузчик селечной лавки Шагал,— говорит Эля,— я все-таки ювелир.

— Если ты такой богатый ювелир,— сердится Хая,— тогда возьми семь, как хозяин кофейни Гуревич, или десять, как Розенфельды, у которых три ювелирных магазина. Ты подсчитай, сколько будет стоить одно только кошерное вино со штампом раввина? На каждого взрослого человека по четыре полных бокала вина. Не считая мацы, не считая птичьего мяса, не считая хрена, салата, фруктов, орехов. Ты хочешь меня разорить?

Близится пасхальный вечер, загораются звезды. Колонна солдат еврейского вероисповедания под командованием унтера с песней: «Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет» шагает на празднование еврейской Пасхи. Следом за ними едет на извозчике специально нанятый еврейской общиной шабес-гой. У еврейских домов колонна останавливается, и солдаты по одному, по два, по пять расходятся на праздник. А шабес-гой подносит унтеру у каждого дома стопку водки и закуски. Унтер уже лыка не вяжет.

— Господа евреи, в день светлого воскресенья... — Он крестится. Евреи закрывают глаза ладонью.

Солдат входит в дом к Шагалам, снимает шапку, надевает ермолку.

— А гут ёнтов,— говорит он,— я Хаим из Бердичева.

— Очень приятно,— говорит мама,— садитесь за наш семейный стол, будьте как дома. Может, не дай Бог, моих сыновей когда-нибудь тоже заберут служить в чужой город и их там тоже пригласят на Песах за еврейский семейный стол.

— Если городской придет забирать меня в солдаты,— говорит Марк,— я спрячусь под кровать, и он меня не найдет.

Хаим из Бердичева улыбается, гладит Марка по голове и дарит ему винтовочную гильзу.

— Ой, она еще взорвется! — пугается мама.

— Она стреляная! — смеется Хаим.

— Все равно, ребб Хаим, вы меня извините, возьмите ее назад. Все эти винтовки и пули нужны только гоям. Евреям они не нужны, если у нас есть святая молитва и нас защищает истинный Бог. Разве всемогущий Бог не покарал в Египте наших врагов десятью казнями? Правильно я говорю, Захария?

— Во имя чуда еврейского спасения мы и празднуем Песах,— говорит Захария.— Написано в Торе: «Бог прошел мимо домов сынов израилевых в Египте». В то время, как он поражал египтян, он наши дома пощадил.

— Ребб Захария,— говорит Хаим,— спасение и исход евреев из Египта были ниспосланным чудом. Но можно ли всегда надеяться на чудо в этом падшем, враждебном Богу мире? Разве вы забыли про недавние погромы в Житомире, в Белостоке, в Тирасполе?

— Мы, евреи, всегда должны надеяться на чудо Божьей помощи,— говорит Захария,— во имя этого и празднуется Песах.

Загораются пасхальные свечи во всех еврейских домах. У Шагалов большую свечу зажигает мама, произнося благословения.

— Благословен ты, Бог всемогущий, наш Король Вселенной, который освятил нас своими заветами и заповедал нам зажигать праздничную свечу.

Все хором:

— Благословен ты, Бог всемогущий, наш Король Вселенной, который сохранил нам жизнь и существование и довел нас до этого времени.

Праздничный пасхальный седер. Перед каждым на подносе три мацы, положенные одна на другую и отделенные друг от друга салфетками и сверху прикрытые салфеткой. Дети хором называют каждое блюдо, которое ставится поверх салфеток.

— Справа сверху — зроа — птичье мясо с косточкой, напротив слева — беа — вареное яйцо, ниже — между яйцом и птичьим мясом — марор — третий хрен и салат, ниже справа — харосет — смесь тертых яблок, груш и орехов. Слева — карпас — кусочки луковичи и очищенного вареного картофеля, внизу — хазарет — опять третий хрен и салат.

— Для освящения праздника прочтем кадеш над бокалом вина,— говорит Эля.— Внимайте, господа! Благословен ты, Бог всеильный, наш Король Вселенной, сотворивший плод винограда...

— ...избрал нас из всех народов, возвысил над всеми языками и освятил нас своими заветами,— говорит Пинхас Шустер.

— ...с любовью установленные дни для радости, праздники и времена торжества,— говорит Захария,— урхац, омовение рук. Дети, обливаем сначала правую руку три раза, затем левую.

— Карпас,— говорит Эля,— еду начинаем обмакиванием картофеля в соленую воду... Зуся, ты, естественно, спросишь своего отца: почему он так ест?

— Спрашивай, Зуся,— тихо произносит Хая.

— Папа, почему ты так кушаешь? — спрашивает Зуся.

— Разве ты не помнишь, как я учил тебя спрашивать, Зуся? — говорит Эля.— Надо спрашивать: «Отец мой, чем ночь эта отлична от всех ночей?»

— Папа, чем эта ночь отлична от всех ночей?

Захария Шагал берет с подноса мацу и делит ее надвое, большую половину заворачивает в салфетку.

— Эта маца для афикомана,— говорит Захария,— для благословения до наступления полуночи.— Поднимает мацу вверх.— Вот хлеб скудный, который ели наши предки в земле египетской. Всякий, кто голоден, пусть войдет и ест. Всякий, кто нуждается, пусть войдет и справляет Песах. В этом году здесь, на будущий год в земле израильской. В этом году мы рабы, в будущем году мы будем свободны.— Наливает второй бокал вина.

— Сын мой,— тихо спрашивает Марка мама,— помнишь ли ты четыре вопроса, которые должен задать отцу?

— Помню,— шепотом отвечает Марк и произносит громко:— Отец, я хочу тебе задать четыре вопроса. Чем ночь эта отлична от всех ночей? Во все ночи мы ведь ничего не обмакивали ни разу, а в эту ночь два раза. Один раз картофелину в соленую воду, а другой раз — горькую зелень в харосет. Во все другие ночи мы едим квасной хлеб, а в эту ночь только пресный — мацу. Во все другие ночи мы едим другую зелень, а в эту ночь горькую. Во все другие ночи мы едим, как хотим, сидя или облокотившись, а в эту ночь мы все облокотились.

— Эта ночь отличается от других ночей, сын мой,— отвечает Захария,— потому что рабами мы были у фараона в Египте и Бог всеильный наш вывел нас оттуда рукою мощной и мышцей простертой. Горькую зелень мы едим в эту ночь в память о том, что египтяне сделали горькой жизнь наших предков. Сказано: «И сделали они жизнь их горькой, заставляя тяжело работать с глиной и кирпичами и делать всякую работу в поле и любую работу, которую они порабощали их трудом изнурительным...»

— Харосет,— говорит Пинхас,— тертые фрукты с орехами, напоминает о глине, из которой изготовлялись кирпичи — основная рабская работа сынов израилевых...

— Красное вино напоминает о крови...— говорит Эля.

— Оно, обетование, стояло за отцов наших и за нас,— говорит Захария,— ибо не один восставал на нас, чтоб истребить нас. В каждом поколении восстают на нас, чтоб истребить нас. Но Всевышний спасает нас от их рук, потому обопремся все на левую руку, и вы, дети, пьющие вместо вина виноградный сок, обопритесь на левую руку. Ибо, опираясь на левую руку, мы демонстрируем полную свободу и отсутствие страха.

— Теперь найдем припрятанный кусок мацы афикоман и съедем его до полуночи,— говорит Пинхас и раздает каждому по кусочку мацы.

— Бокал наполним в третий раз,— говорит Эля.

— Восстанови же Ерусалим, город святой,— произносит Пинхас.

— Израиль, на Бога надейся,— произносит Захария,— он спасение и щит!

Он навел казни на врагов наших. Марк, принеси поврежденный сосуд для врагов наших.

Марк приносит заранее приготовленный надбитый бокал.

— Совершу явления на небесах и на Земле.— Три раза отливает немного вина в поврежденный сосуд.— Кровь, огонь и столбы дыма.

— Кровь, огонь и столбы дыма,— произносит Эля, так же отливая вино в поврежденный бокал.

— Кровь, жабы, мошкара, смешение диких зверей, мор скота, сыпь на коже, саранча, тьма, казнь первородных — все это на врагов наших,— произносит Пинхас...

...произносит Эля...

...произносит Захария... произносят все.

— Вот пустой бокал возле меня для пророка Ильи,— говорит Захария.— Вот маца для него, а вот пустой стул для него. Нальем бокал вина для него и нальем четвертый бокал для всех. Женщины, выходите со свечами встречать пророка Илью.

Мама и сестра Лиза со свечами выходят на улицу. Всюду возле еврейских домов стоят женщины со свечами.

— Илья-пророк, приходи к нам в дом,— говорит мама.

— Будем ждать пророка Илью,— говорит Захария,— он уже близко.

— Илья-пророк, приходи к нам! — кричат дети.

— Илья-пророк не отвечает,— говорит Марк.

— Нет, он просто молчит,— говорит Захария,— это молчание камня. Так молчит вечность. Так молчат камни на могилах наших предков.

Бледнеют звезды, кончается пасхальный седеер.

— В этом году Илья-пророк опять не пришел с благой вестью,— говорит Эля,— будем ждать его на будущий год. Песах — это такой праздник, что не только Илья-пророк, сам Мессия может прийти.

— Выпьем свой последний, четвертый бокал вина, опершись на левую руку, и произнесем последнее благословение,— говорит Пинхас.

— Благословен ты, Бог всеильный, наш король Вселенной,— произносит Захария,— за виноград, и за плоды винограда, и за урожай полей, и за землю прелестную, благодатную и обширную, которую Ты благоволил отдать в наследие отцам нашим. Сжался, Боже всеильный, над Израилем, народом твоим, и над Ерусалимом, городом твоим, и над Сионом, обителью славы Твоей. Восстанови Ерусалим, город святости Твоей, скорей и в наши дни, введи нас в него, возрадуй нас в нем. Вспомни нас к добру в день праздника опресноков этот. Ибо Ты Бог всеильный и благодетелен для всех. На будущий год в Ерусалиме!

— На будущий год в Ерусалиме,— повторили все.

Праздники окончены, и, лежа на крыше, Марк видит будничные Витебск. Идут прохожие, грохочут телеги, лают собаки, каркают вороны. Какой-то долговязый гимназист пристает к горничной возле забора. Доносится смех.

— Отстаньте, барин, я папеньке скажу.

— Ах ты, шельма! — Звук поцелуя.

Марк отворачивается. Во дворе селедочного склада отец его, Захария, поднимает тяжелые бочки. Рядом идиолом торчит жирный хозяин. Лицо отца напрягается от тяжести, и лицо Марка тоже напряжено, словно и он держит скользкое, перетянутое железными обручами дерево. Из-под забора доносится смех.

— Я папеньке скажу, что вы курите.

— Надин, прелесь! — Звук поцелуя...

Рабочий день закончен. Отец возвращается с работы, и одежда его под вечерними лучами солнца блестит от селедочного рассола.

На плите кипит большой котел с горячей водой.

— Сегодня пятница, день омовения отца, а в доме нет душистого мыла,— сокрушается мама.

— Опять нет душистого мыла,— сердито причитает отец,— вся семья, восемь человек детей на моей шее! Некого послать в лавку за душистым мылом. Спасу нет! От простого мыла у меня одышка.— Он кашляет.

Горячий пар поднимается к потолку. Отец поочередно моет голову, грудь, черные, пропитанные селедочным рассолом руки. Дети толпятся вокруг, по команде мамы подают то кастрюлю холодной воды, то полотенце для ног или рук, то чистые рубаху и кальсоны.

Омовение закончено. Отец во главе стола в белой свежей рубахе. Разламывает чистыми руками халу. Мама приносит еду: бульон, телячий студень, компот. Отец утомленно читает застольную молитву. Ест безразлично и устало, шевеля усами.

— Посмотри, какая мне досталась косточка с хрящиком,— хвастливо шепчет Давид.— А завтра, в субботу, будет мясо с морковью.

Но Марк не слушает Давида.

— Папа, ты обещал рассказать про секрет синей краски.

— Марк, не приставай к отцу,— говорит мама,— видишь, он сегодня очень устал.

— Нет, я обещал,— сонно говорит отец,— внимайте, дети... Один король отрекся от престола, надо короновать нового. Но в чем короновать? Всю королевскую одежду поела моль. Срочно сшить новую одежду и выкрасить ее в королевский синий цвет? Но секрет синей краски утерян, говорят королю вельможи. Кто знает секрет синей краски? — Голова отца опускается на грудь. Минуту-другую он сидя похрапывает, потом, словно из сна, продолжает: — Кто знает? Евреи знают, евреи красили королевскую одежду. Собрать всех евреев. Если за неделю не покрасите королевскую одежду в синий цвет, всех перебьем.— Голова отца снова падает на грудь, он храпит уже громче.

— В городе Луз, в Палестине, хранится секрет синей краски,— продолжает рассказывать Марк.— Но как за неделю добраться до Палестины?

— Собрались евреи,— сонно произносит отец,— подумали и вспомнили, что есть туннель, ведущий в Палестину, а тайный вход в этот туннель в Карпатских горах.

— Кто пойдет в тот туннель? — спрашивает Марк.

— Тот, чья тень длиннее под вечерним солнцем,— говорит отец.— На большой поляне выстроились евреи и, дождавшись вечернего солнца, начали мерить длину тени. Самая длинная тень оказалась у ребб Адама и еще двух евреев. Шли они, шли и пришли в Палестину, в волшебный город Луз. А город Луз населен был одними лишь бессмертными стариками с длинными бородами, которые скучали и тосковали, потому что в городе не было смерти. Кто же не хотел терпеть бессмертия, уходил из города тайным ходом через дупло большого дуба и радостно умирал сразу же за стенами...— Отец опускает голову и начинает храпеть совсем уж сильно.

— Папа, ты еще не рассказал про секрет синей краски,— говорит Марк.

— Видишь, сынок, отец спит,— говорит мама.

— Он всегда засыпает в этом месте,— говорит Марк.

— Сынок, поговори со мной,— просит мама.

Одна мамина рука на столе, другая на животе.

— О чем говорить, мама?

— Спроси меня что-нибудь.— И рукой, лежащей на столе, поправляет свою высокую прическу.

— Я не знаю о чем, мама.

— Спроси ты, Давид.

Но Давид склонил уже голову, тоже засыпает.

— Все спят. Что у меня за дети, и поговорить не с кем. Если не хотите говорить, подпевайте мне. Споем песню про раввина.

Мама начинает тихо петь, но подпевает только Марк, все остальные спят. Вдруг мама прерывает песню и начинает плакать.

— Почему ты плачешь, мама? — спрашивает Марк.

— Мне жаль тебя. Что с тобой будет в жизни? Я хотела бы, чтоб ты стал грузчиком. Но, дитя мое, разве можно быть грузчиком с такими слабыми плечами? Откуда это в нашем роду?

Ночь. Весь дом спит. На улице дождь и ветер. Стучит форточка. От шума дождя и стука форточки Марк просыпается. Кто-то идет по темной улице, слышны чьи-то шаги. Кто может гулять в такой дождь? Внезапно некто подходит к окну.

— Бабушка Хана, — испуганно шепчет Марк и толкает спящего Давида. — Смотри, смотри, Давид, покойная бабушка Хана пришла к нам.

Давид поворачивается на другой бок и продолжает посапывать во сне. Бабушка Хана заглядывает в форточку.

— Дочь моя, — зовет она маму, — дочь моя, зачем ты оставляешь распахнутыми окна в такой дождь?

Бабушка Хана с грохотом захлопывает форточку. Марк в испуге встает. Слегка покачивается висючая лампа, в углу мрачно темнеет диван, таинственно блестит зеркало. На цыпочках Марк подбирается к двери родительской спальни. В глубине спальни страшно храпит отец с открытым ртом и задранной кверху бородой. Мама спит рядом, толстенная, маленькая. Грохочет гром. Весь мокрый старик в белой одежде с нищенской сумой стучится в дом. Мама берет кусок хлеба и, приоткрыв дверь, протягивает старику. Ничего не говоря, он бьет ее по руке. Хлеб падает на землю, и старик тотчас исчезает.

— Мамочка, — тихо шепчет Марк, — я боюсь.

— Чего тебе? — сонным голосом спрашивает отец.

— Я боюсь... Приходила бабушка Хана, искала маму.

— Иди спать, — говорит отец.

— Захария, надо посмотреть на детей, — говорит мама, — я видела плохой сон. Приходил нищий старик, бросил хлеб, который я ему подала, на землю. Вдруг это к болезни? Тебе ничего не болит, сынок?

— Спице, спице, — повторяет отец и вновь начинает храпеть.

Мама прикладывает ладонь ко лбу Марка, заглядывает ему в горло.

— Я хочу к тебе, мама, — говорит Марк.

Мамины груди похожи на подушки. Марк кладет голову на такую грудь-подушку.

— Мама, завтра Зуся со своим отцом Элей едет на ярмарку. Можно я провожу его хотя бы до моста?

— Если у тебя не будет болеть горло, сынок, — сонно произносит мама.

Убаюкивающе стучит в окно дождь. Тихо. Все в доме спят.

На телеге, груженной товаром, ехали Марк и Зуся. Эля правил лошадей. Солнце уже было низко, из-за домов слышался густой колокольный звон.

— В православном монастыре уже звонят, — сказал Эля, — поздно выехали.

Он хлестнул лошадь, она побежала резвей. Но на перекрестке телегу задержал городской.

— Куда прешь, чесночное племя? Не видишь, крестный ход?

По Двине плыли украшенные коврами лодки. На передней — духовенство и певчие. Следом на лодках с хоругвями плыли монахи и публика.

— Православную Пасху свою справляют, — сказал Эля и тихо добавил: — Чтоб они пропали со своим Христом! Из-за них придется в пути ночевать, в корчме. Приедем на ярмарку только утром, место хорошее не займем. Чтоб они пропали с их распятым байстрюком! — добавил он опять тихо.

Лодки пристали к берегу, и процессия по тропке начала подниматься к монастырю. Слышны были пасхальные каноны и звон колоколов.

— Красиво поют, — сказал Марк, глядя на проносимые мимо хоругви с лицами Христа и Божьей матери. — А правда, что Христос был еврей и мать у него еврейка?

— Он был байстрюк! — зло ответил Эля. — У него не было законного отца. Мать его на стороне нагуляла.

— А на какой стороне нагуляла? — спросил Зуся.

— Что ты спрашиваешь глупости? — сердито сказал Эля и беспокойно посмотрел на длинный крестный ход, загораживающий дорогу. — Ах, не успеем засветло на ярмарку приехать, придется в корчме ночевать. Вот и новые расходы.

— Я слышал, Христос был добрый и всех любил, — сказал Марк.

— От кого ты слышал такие глупости? — сердито спросил Эля. — От Таньки-воровки? Или от Катьки-молочницы? С этого Христа все началось... Все эти погромы. Потому что мы, евреи, не признаем этого незаконнорожден-

ного байстрюка Богом. Наш Бог на небе, а их Бог нарисован на доске. Их Бога можно разрубить топором, сжечь, как дрова, растопить им печку.— Эля засмеялся.— У нас великие пророки — Исая, Иеремиа, Иезекиля, Даниил, а у них святыми считаются простые рыбаки, пастухи и даже проститутки.— Эля опять засмеялся.— А Бог у них простой плотник.

Наконец крестный ход миновал. Эля тронул лошадь, подъехали к мосту.

— Мне пора домой,— сказал Марк, слезая с телеги.

— Я тебе привезу с ярмарки мятных леденцов и глиняную свистульку,— сказал Зуся.

Переехав мост, телега поехала степью. Уже смеркалось, было пустынно, тихо, лишь издали едва доносился колокольный звон.

Возле столба сидели пьяные Петруха и Тренька, справляли в канаву нужду.

— Кто-то едет,— сказал Тренька.

— Это еврей-ювелир,— сказал Петруха, натягивая штаны.

Петруха и Тренька выбежали навстречу телеге и стащили Элю на землю. Зуся заплакал, но Тренька прикрикнул:

— Цыц, гнида жидовская, раздавлю!

Зуся в страхе затих.

— Давай деньги! — сказал Тренька Эле.

Бледный Эля отдал деньги.

— Давай золото! — сказал Петруха.

— Золота нет.

— Врешь, ну-ка целуй крест! — И протянул к губам Эли оловянный солдатский крест на остро воняющей потом кожаной тесемке.

Эля отстранил губы от креста, который все тесней прижимал Петруха.

— Святой крест не любишь,— дыхнул водкой-луком Тренька,— убийца Христа-спасителя.

— Иуда!

Они привязали Элю к столбу, плеснули на него керосином и подожгли. Пламя сразу охватило Элю со всех сторон.

— Быстро горит,— усмехнулся Тренька.

Они выбросили Зуся на землю, вскочили на телегу и уехали.

На рассвете Зуся постучал в окно к Шагалам. Он не мог ничего говорить, только плакал. Увидав лежащие на столе хлеб и селедку, Зуся взял их и начал с плачем есть.

— Ребенок напуган,— сказала мама.— Сядь и расскажи все. Где Эля?

— Папа сгорел,— дрожа, произнес Зуся.— Я боюсь пойти домой и сказать об этом маме.

— Что значит — сгорел? — спросил Захария.

— Его сожгли воры... Он горел быстро, потому что был худой. Я хочу много есть, стать толстым. Если меня будут жечь, я буду так долго гореть, что воры не дождутся конца.

— Ребенок в лихорадке,— плача, сказала мама,— надо уложить его в постель. Я сейчас побегу к Хае.

— Надо сообщить в полицию,— сказал Захария.

— Полиция — такие же антисемиты, как и эти воры,— сказала мама.— Думаешь, они помогут найти украденные деньги?

Зуся все не переставал есть. Марк подошел к столу и тоже начал есть большие куски хлеба.

Элю похоронили в почти пустом гробу, на дне которого лежали несколько горстей пепла, его полуобгоревшая шапка и башмаки. Когда процессия шла по городу, Хая била себя в голову и кричала:

— Я не знаю, где мой муж, а где сгоревшее дерево!

На кладбище читали над могилой заупокойную молитву. Все плакали.

Общий плач продолжался, но это уже не похороны, а свадьба.

В городе был зал, принадлежавший еврейской общине, где справляли свадьбы. Стены его были украшены портретами знаменитых раввинов — раби Шнеерсона, раби Манделя и прочих, которые строго глядели на публику. В зале состоялась официальная часть свадьбы и сюда мог прийти, кто хотел. А на

обед домой к жениху и невесте уже приходили только приглашенные. Но на богатых свадьбах в зале раздавали детям конфеты, а взрослым — вино и куски холодной фаршированной рыбы.

Сегодня свадьба богатая: женится сын владельца кофейни Гуревич на дочери парикмахера Князевкера. А распорядитель-балхан поет громким голосом и вопит:

— Невеста, ой, невеста, что тебя ждет!

Все вокруг плачут. Марк тоже, как и полагается в таких случаях, хнычет возле своей мамы, а Зуся возле Хаи.

— Сегодня богатая свадьба,— говорит мама,— будут давать фаршированную рыбу.

— Это и видно,— говорит Хая,— смотри, сколько нищих и голодранцев пришло. Видишь, даже семья биндюжника Виленского здесь. Его жена из-под полы торгует водкой, сам биндюжник всегда пьян, а у сына их всегда сопли через губу висят. У сына Соломона.

— Дорогие гости,— говорит Гуревич,— хватит плакать. Довольно. Сейчас за здоровье молодых будут раздавать рыбу и вино, а детям конфеты.

— Сердечные пожелания молодым! — кричат вокруг. — Счастья, счастья!

Все сморкаются, вытирают слезы. Высоко в воздух взлетает конфетти, цветные обрезки бумаги. Свадебные музыканты играют веселую польку. Официанты из кофейни Гуревича разносят вино, рыбу, конфеты.

— Марк, потанцуй с Лизой,— говорит мама,— пусть на вас люди посмотрят.

Марк танцует с Лизой.

— Как хорошо танцует этот мальчик,— говорят вокруг,— как он грациозен и кудряв! Кто это?

— Это сын грузчика селечной лавки Шагала,— говорит кто-то. — Он танцует со своей сестрой.

— Мой сын и петь умеет,— говорит мама.— Спой, Марк.

Марк поет.

— Какой хороший детский голосочек! — говорят вокруг. Все аплодируют.

— Видишь ту девочку, которая на тебя смотрит? — шепчет Зуся.— Это Белла Розенфельд. Я ее знаю, мой покойный отец работал на них. Это богачи.

— Какая красotka! — шепчет Марк.

— А вторая — ее подруга Аня, дочка доктора.

— Тоже красotka,— говорит Марк.

— Хочешь, я тебя познакомлю?

Свадебные музыканты играют вальс. Все танцуют. Старики и старухи, девицы и парни, нищие и богачи — все притоптывают ногами, хлопают в ладоши, скрепящую руки, кружатся в хороводе. Марк танцует с Зусей, а Белла с Аней.

— Желаем счастья! — Все вокруг целуются. Рядом с Марком какая-то старуха, приходится целоваться с нею. Марк смотрит на Беллу и Аню, но возле них все время вертится сын биндюжника Соломон.

— Чем он лучше нас, этот дурак, грязнуля, хулиган?

Марк и Зуся пробираются к девочкам.

— Анечка, пойдём со мной танцевать,— говорит Соломон.

— Соломон, уходи, не возвращайся,— говорит Аня.

— Разве ты не понимаешь еврейский язык? — говорит Зуся Соломону.— Уходи, ты, какер! Утри свои сопли!

Девочки смеются. Губы и руки Соломона дрожат, лицо побледнело.

— Дураки, идиоты! — говорит он зло.— Смеетесь надо мной потому, что я сын бедного биндюжника. Придет время, я вам это припомню.— Он сжимает кулаки и отходит.

— Что он так вопит, наверно, спятил,— говорит Белла.

— От него надо быть подальше, его отец пьяница,— говорит Аня.

— Желаем счастья! — опять кричит распорядитель.

На этот раз рядом с Марком Белла, и он осторожно целует ее в нежную, пахучую щечку.

— Это мой друг Марк Шагал,— говорит Зуся.— Он уже поет в синагоге, он помощник кантора.

— Я вас видела на празднике в синагоге,— улыбается Аня.— Вы так красиво пели дискантом.

— Вы хотите быть певцом? — спрашивает Белла.

— Да, я поеду в Петербург и поступлю в консерваторию.

Музыка играет фрейлахс. Все танцуют. Марк танцует с Беллой, а Зуся — с Аней. Потом они меняются, потому что Аня весело кричит:

— Дамы меняют кавалеров!

Танцую, она обращается к Марку:

— Ты уже учишься?

— Я скоро пойду в гимназию,— говорит Марк,— мама уже накопила деньги на взятку учителю.

Заснеженный город украшен флагами. На улице много военных. Марк в форме гимназиста с удовольствием отдает честь, прикладывая ладонь к своей фуражке с кокардой. Запыхавшись, с сияющими глазами прибегает он домой, сбрасывает ранец.

— Мама, я буду встречать царя.

— Какого царя? — спрашивает мама, вытирая полотенцем мокрые руки.

— Нашего царя, Николая Второго. Царь приезжает в Витебск, и гимназия будет его встречать. Николай Ефремович назначил меня в делегацию, которая преподнесет царю цветы. Вместе с православными от католиков будет Казик Пшехонский, сын следователя, от мусульман — сын татарина из фруктовой лавки, а от иудеев — я.

— Слышишь, Захария?! — радостно кричит мама. — Твоего сына назначили встречать царя! Такое счастье! Может, царь заметит нашего сына, поговорит с ним.

— Где же встреча? — спрашивает отец.

— На вокзале,— отвечает Марк.— Царь будет проездом.

— Бог услышал наши молитвы и посылает нам удачу,— говорит мама, утирая слезы.— Может, после гимназии Марка примут в университет на государственные средства. Он станет доктором или адвокатом, и тебе, Захария, не придется таскать тяжелые селедочные бочки. Такое счастье! Мы всей семьей пойдем смотреть, как наш Марк будет встречать царя.

Вереница заспанных гимназистов тянется по заснеженной дороге. Темно, еще не рассветало. Всюду городовые, дворники, казаки.

— Господин директор,— спрашивает учитель Николай Ефремович,— отчего отменили встречу на вокзале?

— Опасаются террористов,— понизив голос, говорит директор,— поэтому поезд остановится в поле. У вас все в порядке, Николай Ефремович?

— Все готово, господин директор. Назначена делегация для торжественного подношения государю цветов.

В поле играло множество оркестров. Вокруг все было оцеплено войсками. Народ толпился за оцеплением.

— Захария, тебе там ничего не видно? — говорила мама, становясь на цыпочки.— Наш Марк еще не встретился с царем?

Гимназисты теснились, как овцы в загоне. Директор гимназии обходил ряды вместе с каким-то высоким, увешанным орденами военным.

— Это, ваше превосходительство, делегация гимназистов для торжественного преподношения государю цветов.

Оловянные глаза военного скользят по шеренге и вдруг задерживаются на Марке, сверлят его, словно буравом.

— Это что еще такое? — произносит он сердито.— Что за жидовская физиономия? Первая гимназия действительно должна быть первой. Что вы мне выставляете?

— Велено, ваше превосходительство,— торопливо говорит директор,— согласно циркуляру министерства просвещения в депутацию назначаются гимназисты разных вероисповеданий.

— Ну тогда найдите хотя бы поприличней иудея,— сердито говорит военный.— Какого-то пигмея нашли. Чтoб этого больше не было! Уберите его.

— Слушаюсь, ваше превосходительство,— говорит директор гимназии.

Военный, сопровождаемый адъютантами, идет дальше.

— Кто такой? — обрушивается на Николая Ефремовича директор.— Чей сын?

— Марк Шагал,— растерянно говорит Николай Ефремович.— Отец работает в селедочной лавке.

— В селедочной лавке! — сердится директор.— Принимаете в государственную гимназию всякие отбросы. Взятки берете. Я займусь вашими делами.

— Господин директор, недавно перешел к нам из реального училища Аминодав Шустер.— Он указывает на высокого, молодцевато стоящего Аминодава.

— Хотя бы рост приличный,— говорит директор.— Замените.

— Становись сюда,— говорит Николай Ефремович Аминодаву.— А ты,— обращается он к Марку,— иди в задние ряды.

Марк понуро бредет, едва сдерживая слезы.

— Вон Марк идет,— кричит Давид,— идет и плачет.

— Плачет? — тревожно спрашивает мама.— Где, где он плачет? Захария, ты его видишь? Что случилось с моим сыночком?

— Ура! — разносится по полю. Появляется бледный, одетый в солдатскую форму царь, окруженный князьями, министрами, генералами. Но глаза Марка застилают слезы, он ничего не видит, все слилось в сплошное пятно.

— Я им докажу,— бормочет он,— я буду великим музыкантом... или художником... или танцором... Я буду великим... я поеду в Петербург.

Снег покрывает фуражку царя.

Царь приветствует воинские части, марширующие перед ним. Подходят разные депутации, подносят цветы, говорят речи. У всех торжественно-довольные лица. Печаль лишь на лице царя, стоящего в центре торжества, и на лице маленького гимназиста Марка Шагала, стоящего в последнем ряду.

— Я им докажу,— бормочет Марк,— я поеду в Петербург... Я буду великим...

Звучит гимн. Падает негустой снег.

Тишина библиотеки. Лишь какой-то толстый господин шелестит газетами. Марк в углу срисовывает из журнала «Нива» портрет композитора Рубинштейна. Рядом лежат еще несколько сделанных рисунков. В библиотечный зал входит красивая девушка в матросском костюме с книгой в руке. Толстый господин отрывает глаза от газеты и смотрит на нее масляно. Марк тоже поднимает глаза.

— Аня,— зовет он.

— Тише,— недовольно произносит толстый господин,— здесь библиотека, а не бульвар.

Аня подходит, садится рядом с Марком.

— Здравствуй, что ты здесь делаешь?

— Рисую.— Марк смотрит на Аню.— Давно мы не виделись. Ты стала еще красивей. Посмотри, как этот толстый наглец смотрит на тебя.

— Толстый болван,— тихо говорит Аня.— А это ты нарисовал?

— Я... Я срисовываю, но немножко импровизирую. Это композитор Рубинштейн... Это курильщик... Это гречанка...

— Послушай-ка, Марк, ведь ты настоящий художник.

— Что значит художник? Кто художник? Я художник?

— Не скромничай, ты ведь хотел ехать в Петербург учиться.

— Я хотел поехать учиться в консерваторию, но теперь, может, действительно мне стать живописцем?

— Тише, молодые люди! — сердится толстый господин.

— Какая курьезная рожа! — шепотом говорит Марк.— Хорошо бы его нарисовать.

— Тебе нужно учиться, Марк. Читать книжки про художников. Хочешь, я дам тебе кое-что из нашей домашней библиотеки? Мой отец — большой любитель живописи. Я тебе дам книгу с иллюстрациями какого-нибудь художника...

— Хватит жечь керосин,— произносит мама из своей комнаты,— отправляйся спать. Сколько тебе говорить, чтоб уроки готовил днем! Совсем спятил. Дай мне, и отцу, и всему дому спать.

— Я еще немного,— отзывается Марк, набрасывая силуэт рисунка из толстой книги.

К Марку в ночной рубашке подкрадывается сзади Давид.

— Мама,— кричит он,— а Марк рисует гойского Бога!

— Что такое? — появляется Захария в кальсонах и хватает рисунок.— Что это? Гойский Бог?! В моем доме? Уроки не учишь? Я плачу за гимназию! Второгодник!

— Не кричи, Захария, прошу тебя,— говорит мама.

— Кто дал тебе эту гойскую книгу?! — кричит Захария.

— Аня,— говорит Марк, потупив глаза.
 — Какая Аня? Уже дружишь с гойками?
 — Аня — это дочь доктора,— пытается успокоить отца мама.
 — Как называется книга? — спрашивает отец.
 — Это книга про немецкого художника Дюрера,— отвечает Марк.
 — Завтра же отнеси книгу. Чтоб я ее не видел у себя! И не смей больше рисовать гойского Бога! Я тебя из дома выгоню.— Захария разрывает рисунок.
 — Тише, Захария,— говорит мама,— он больше не будет. Правда, Марк, ты больше не будешь? — Она гасит лампу.
 Все разбредаются в темноте по своим постелям.
 — Иуда,— тихо говорит Марк Давиду и толкает его локтем.

Марк и Аня сидят вечером на берегу реки. На голове Ани шапка Марка. Тишина, вокруг никого.

— У тебя отец доктор, а у меня грузчик,— говорит Марк после долгого поцелуя.

— Папа не будет возражать,— говорит Аня,— нас благословят. Ты станешь известным художником, я это знаю. И ты красивый, ты нравишься девушкам. Ты ведь гулял с Анютой?

— Поцеловал раз-другой. Я давно уже с ней не здороваюсь. За ней ухаживает актер.

Марк поднимает голову, прислушивается.

— Это дрожки едут к вокзалу,— говорит Аня.— Обними меня. У меня корсет, можешь его расстегнуть.

Вдруг слышен топот. Приближается кучка парней.

— Отдай мою фуражку,— испуганно говорит Марк и вскакивает.

Кто-то сильно бьет его в спину. Марк бежит без фуражки. Сзади крик:

— Отстань от нее и не смей приходить сюда, не то салазки загнем!

— Не трогайте его, дураки, это мой жених! — кричит Аня.

Соломон Виленский вырывает у нее фуражку, топчет ее и бросает в реку.

— В следующий раз твой жених без штанов побежит,— говорит он.

Марк лежит лицом вниз на докторской кушетке, на которой обычно отец Ани принимает пациентов.

Аня осторожно смазывает Марку большой синяк на спине.

— Тут болит? — спрашивает она.

— Болит,— морщится Марк.— Всюду болит.

— Бедненький,— говорит Аня,— из-за меня тебя побили. Дай-ка я тебя поцелую, бедненький! — Аня наклоняется и целует его.

— Еще раз.

— Хватит. Не все сразу. Уедешь в Петербург, забудешь меня.

— Я тебя никогда не забуду. Могу поклясться.

— Хочешь стать клятвопреступником? Превратишься в знаменитого художника, будешь пить шампанское, ходить по театрам, курить сигары, заведешь модного портного, пару вороных и экипаж. И, конечно же, много женщин.

— Я тебя буду помнить вечно, до прихода Мессии и конца света.

Раздается звонок в дверь.

— Вот, кажется, Мессия и пришел,— говорит Аня.

— Кто это? — Марк торопливо поднимается с кушетки.— Это твой отец? — Лежи спокойно,— говорит Аня,— папа и мама в Ялте, а работницу я отправила... Может, какая-нибудь подруга пришла. Пойду посмотрю.

Аня выходит и прикрывает дверь в переднюю. Слышно, как кто-то входит, как смеются, шепчутся. Бьют стенные часы. Аня все не возвращается. Марк поднимается с кушетки, осторожно выглядывает в переднюю. Девушка стоит спиной, но, когда Марк входит, она оборачивается. Бледное лицо, большие черные глаза.

— Белла Розенфельд,— говорит она.

— Марк Шагал... Но ведь мы знакомы. Помните танцевальный зал на свадьбе у Гуревичей? С тех пор вы еще больше похорошели.

— Белла, не верь этому розовому и кудрявому,— говорит Аня.— Только что он клялся мне в любви, обещал любить до прихода Мессии.

— Но, может быть, Мессия уже пришел.— Марк не отрывает глаз от бледного лица Беллы.

— Уедет в Петербург, забудет всех витебских девушек,— говорит Аня.

— Вы собираетесь в Петербург? — спрашивает Белла.

— Да,— отвечает Марк,— я хочу поступить в училище живописи. Как только достану денег, поеду. Может, на Рош-Ашана отец даст мне денег.

Рош-Ашана — праздник урожая, который издавна отмечался на Земле обетованной. Сентябрь. Деревья роняют листву на землю. Листья сдувает ветер, они плывут по Двине. На берегу собираются кучки евреев. Мужчины с развевающимися бородами наклоняются к воде, выворачивают, вытряхивают карманы. Все летит в воду. Крошки, носовые платки, бумажки — все плывет по воде, разбухает.

— Пусть так же тонут наши грехи,— говорят евреи.

Раввин читает молитву освобождения от грехов.

— Дай Бог нам сладкого нового года,— говорят евреи.

Захария, Марк, Зуся, Пинхас, Аминодав... Все евреи просят сладкого нового года...

— Па-па... я хочу в Пе-пе-тербург,— заикаясь, сказал Марк.

— Куда?

— В П-П-Петербург... Я хо-хо-чу посещать ш-ш-ко-лу живописи...

— Мишигинер,— закричал отец,— сумасшедший! А на что ты будешь жить?!

— Мне много не надо,— лепечет Марк, глядя на сердито жестикулирующего отца,— какой-нибудь угол... Койка или даже полкойки... Разве мало добрых людей! Неужели мне откажут в кружке чая? Неужели я не найду ломтя хлеба на какой-нибудь скамейке или ступеньке? Люди часто оставляют завернутый в бумажке хлеб.

— Ты хочешь стать нищим?! Первым в нашей честной семье Шагалов нищим!

— Папа, может, все-таки мне Бог поможет и я стану зарабатывать себе картинами на хлеб? Как мне пропитаться, если ни на что, кроме рисования, я не годен?

— Захария,— вмешивается мама,— ведь дитя не может стать рабочим, как ты, у него такие хрупкие плечи. У него не хватает сил поднимать такие тяжести.

— Папа,— говорит Марк,— мне не остается ничего другого, как стать художником и перестать думать о хлебе насущном.

— Захария,— говорит мама,— может, ради нового года, ради Рош-Ашана, ты дашь ребенку немного денег?

Отец кидается к самовару, наливает себе полный стакан чая и выпивает его без сахара.

— Ну что ж,— говорит он,— по мне, так отправляйся. Только вот что я тебе скажу: денег у меня нет.— Он вскакивает, выбегает в соседнюю комнату, возится там, что-то отпирая, потом, вбежав назад, кричит: — Бери, грабь, души за горло! — и бросает деньги под стол.

Со слезами радости Марк лезет под стол подбирать деньги.

— Не обижайся на отца,— наклонившись, шепчет мама,— просто у него такая манера — кидать деньги на пол.

— Двадцать семь рублей,— сказал отец,— сам видишь, это все, что я наскреб. Посылать тебе я не смогу, на это не рассчитывай.

— Вейз мир, дитя мое,— заплакала мама,— подумай хорошо о предстоящих тебе голодных днях на чужбине среди незнакомых сытых людей. Одинокий подросток, ты будешь мечтать о еде, о жилье.

— Не причитай,— сказал отец. Дав деньги, он успокоился и как бы внутренне одобрил решение Марка.— Он уже не подросток. В его возрасте я давно работал. Если ты, сын, решил ехать, то деньги — это еще не все. Ты ведь еврей, а царь установил для евреев черту оседлости.

— Вейз мир, что же делать? — вздыхает мама.

— Я поговорю со своим хозяином. У него есть знакомый купец, и, может быть, удастся раздобыть у этого купца временный документ, согласно которому Марк должен якобы доставить ему товар из Петербурга.

— Я тебе буду очень благодарен, папочка,— обрадованно сказал Марк.— Даст Бог, мне удастся вдохнуть в картины мое дыхание, дыхание молитвы и страдания. Как бы там ни было, я отправляюсь навстречу новой жизни.

— В добрый час, дитя мое.— Мама вытерла глаза платком.

По заснеженной дороге на подводе, груженной товаром, ехали Марк и Аминодав. Зуся правил лошадей.

— Сколько денег тебе дал отец на поездку? — спросил Аминодав.

— Двадцать семь рублей, — сказал Марк.

— Сколько? Двадцать семь?

— А что? Я очень доволен. Я думал, он даст рублей пятнадцать.

— И с такими деньгами ты собираешься в Петербург?

— А сколько надо?

— Сколько надо! — саркастически засмеялся Аминодав. — Пять тысяч.

— Аминодав, перестань понтовать, — сказал Зуся, — пять тысяч имеет Ротшильд. Если б у Марка было пять тысяч, он был бы себе банкиром и ему не надо было бы думать, как разными художествами зарабатывать на кусок хлеба.

— Ну хорошо, — сказал Аминодав, — допустим, пять тысяч — я немного преувеличил, но семьдесят, восемьдесят рублей на первое время необходимо. — Он вытащил из портфеля маленькие бухгалтерские счета и начал стучать костяшками. — Десять рублей сразу кладем на жильё.

— Десять рублей? — удивился Марк. — Два рубля — больше дать не могу.

— Два рубля — это чулан, — сказал Аминодав. — Какое ты будешь иметь реноме в чулане? Кто тебе откроет кредит?

— Аминодав, — сказал Зуся, — Марк художник, а не коммерсант, зачем ему это, как ты говоришь, геноме?

— Реноме, — поправил Аминодав, — нужно каждому. Один умный человек, с которым я познакомился в Витебске на фондовой бирже и к которому мы сейчас едем на ярмарку в Краков, господин Симич, мне говорил: господин Шустер, нет на свете лучшего предмета, чем денежная бумажка. Но реноме дороже денег. Реноме — это значит честно зарабатывать свои хорошие деньги. Без всякого взяточничества. Без всякого, как говорят немцы, хапен зи гевезен.

— А может, у меня талант, — сказал Шагал, — и я тоже смогу честно зарабатывать свои деньги.

— Да, талант — это твой капитал, — сказал Аминодав, — но талант нужно сразу же хорошо вложить. Если ты его вложишь в чулан, какой процент он тебе будет приносить? И, кроме жилья, в Петербурге нужен хотя бы один приличный костюм для представительства. Это еще пять рублей. — Аминодав щелкнул на счетах. — А питание при нынешней дороговизне? В Петербурге вокруг соблазны, захочется иногда выкурить я не говорю сигару, но приличных папирос. Захочется сдобного хлеба к чаю, черт знает чего еще. И наконец — женский пол. Конечно, дешевле всего заниматься онанизмом. Что ты краснееешь, Зуся, я не про тебя говорю. Это естественная потребность, данная от Бога. Я имею в виду любовь к женскому полу. Возьмем минимальные затраты — рубль в неделю на проститутку. — Он щелкнул костяшками счетов. — Проститутки всегда выгодней какого-нибудь амурчика с горничной или белошвейкой: не надо тратить на букеты, на конфеты и так далее... Нет, даже при минимальных затратах меньше чем с семьюдесятью рублями ехать в Петербург нельзя.

— Я поеду с двадцатью семью, и Бог мне поможет.

— Бог, — усмехнулся Аминодав, — у Бога столько же денег, сколько у нищего с котомкой. Подумай лучше о богатых петербургских евреях, коммерсантах, докторах или адвокатах.

Телега подъехала к перекрестку.

— Я здесь слезу, — сказал Марк, — счастливой вам дороги, удачи на краковской ярмарке.

— И тебе удачи! — сказал Зуся. — Может, ты все-таки станешь знаменитым художником и будешь зарабатывать большие деньги.

— Если это случится, он нас с тобой забудет, — сказал Аминодав. — У него появятся друзья из совсем другого общества. Но я желаю тебе, Марк, всяческих удач.

— Я вас никогда не забуду, друзья мои, — сказал Марк, — мы будем встречаться, мы сохраним связи нашего детства.

Они обнялись и поцеловались. Телега поехала дальше. Марк долго стоял и махал ей вслед рукой. Аминодав и Зуся тоже махали, пока телега не скрылась за поворотом.

Бейт-мицва — совершеннолетие для девочек. Поездка зимой в санях в ритуальную баню для михвы — омовения. На рыночной площади продают засахаренные яблоки и синий квас — холодный, замерзший. В бане туман и сумрак,

на окна намерз лед. Голые тетки, старухи с костлявыми руками заводят Беллу и Анну вместе с другими девочками в баню, раздевают. Полумрак, тускло горит одна лампочка. Старуха со свечой и простыней ведет их к бассейну.

— Закройте нос, закройте глаза и погружайтесь в воду, ныряйте,— говорит старуха и, беря за голову, опускает девочек под воду.

Белла и Анна захлебываются, испытывая ужас от приобщения к женственности, и слышат, как над ними читается молитва.

— Кошер — чистая! — торжественно кричит старуха, когда, цепляясь за скользкие ступени, девочки выходят из бассейна. Их сразу же заворачивают в белую простыню.

— Пусть пойдет на пользу,— говорят старухи,— пусть даст здоровье, на этом ваше детство кончилось.

Холодный петербургский вокзал. С толпой пассажиров Марк выходит из вагона. Короткий день уже темнеет, зажигается газ в фонарях, освещаются витрины, несутся извозчицьи санки, тяжело дребезжат переполненные трамваи. Марк с трудом втиснулся с вещами в трамвай.

— Па-прашшу билет! — кричит кондуктор.

Входили-выходили пассажиры. Сзади напирали. Кто-то уперся Марку в спину.

— Выходишь?

— Па-прашшу билет... Следующая — Пантелеймоновская.

— Не знаете, где бы снять комнату или чулан? — робко спрашивает Марк у какого-то мужчины.

— Чего? Черт, освободи проход!

— Читай, парень, объявления на заборах,— говорит какая-то дама.

Трамвай с визгом останавливается.

— Пантелеймоновская! — кричит кондуктор.

Сзади напирают. Марк вываливается из трамвая, едва не упав. Трамвай, рассыпая из-под дуги цветные искры, исчезает. Холодно, бездомно. Мимо по заснеженному тротуару идут прохожие с чужими лицами. Марк подходит к забору и слезящимися от холода глазами читает объявления. Объявлений много. Сдаются комнаты, сдаются чуланы. «Сдается полчердака по Пантелеймоновской улице. Спросить у гармониста Пантелеймоновского парка. 6 вечера».

— Простите, господин,— обращается Марк к солидному брюнету,— где Пантелеймоновский парк?

Брюнет глянул, прошел молча. Мимо идет человек попроще, похоже, мастеровой.

— Простите. где Пантелеймоновский парк?

— Четыре версты полем! — Мастеровой смеется.

Пьяный. Опять неудача. Мимо, звеня шпорами, идут офицер и барышня.

— Она тебе наврала, а ты поверил,— говорит барышня.

— Перестань сердиться, Валюша,— говорит офицер,— раз сердиться, значит, неправда...

— Господин офицер,— спрашивает продрогший Марк,— далеко ли Пантелеймоновский парк?

Рукой в белой лайковой перчатке офицер указывает в конец улицы.

Пантелеймоновский парк оказался неподалеку. Вход свободный, но в танцпавильон, откуда доносятся звуки гармонии, вход десять копеек. Вокруг танцплощадки столики. Едва усталый Марк опустился за один из них, подошел официант.

— Чего изволите, пиво или вино?

— Мне гармониста.

— Какого гармониста? Освобождай столик.— И подошедшей паре: — Чего изволите, пиво или вино?

— Подай, милейший, красного... Кло-де Вужо-вье-сект.

Шутовские усики, на пальце перстень. Похоже, шулер или вор. Марк поспешно отходит. Танец под духовой оркестр кончился, парочки расходятся. На эстраду выходит гармонист. На нем вышитая красная косоворотка, блестящие сапоги, картуз с лакированным козырьком. Несмотря на толстое, обрюзгшее лицо, вдруг начинает высоким тенором:

— Я в Петербурге уродился и воспитался у родных,
А воровать я научился там у приятелей своих.

Пройдет весна, настанет лето,
В садах цветочки расцветут,
А мне, несчастному, за это
Железом ноги закуют.

— Пантелеймон Пантелеевич,— говорит служитель гармонисту, когда тот, закончив песню, уходит за кулисы,— какой-то спрашивает вас.

— Кто такой? — настораживается Пантелеймон Пантелеевич.— Из полиции, что ли?

— Нет, парень какой-то с чемоданом.

— С чемоданом? Это, может, насчет жилья. Пусть войдет.

— Вы давали объявление? — спрашивает Марк, входя.

— Давал,— соглашается гармонист и смотрит в лицо.— Тебя как звать?

— Марк.

— Армянин?

— Нет, еврей.

— Еврей... Гм... А ежели обворуешь?

— Я художник.

— Художников я люблю. Вот бумага, нарисуй чего-нибудь, чтоб я тебе поверил.

Марк быстро рисует.

— Это кто? Я? Похоже. Ты мне нравишься, художник. Только вот что. Как у тебя насчет баб?

— У меня невеста.

— Невеста — это порядочно. А то знаешь, как меня предыдущий жилец отблагодарил? К жене моей пристал. Я вообще типографский рабочий, а по вечерам подрабатываю гармонистом в парке. Как уйду, он к моей жене. Я ему, конечно, ребра поломал, с лестницы спустил. Вот не будь никогда подлецом. Он теперь в больнице лежит, полчердака освободилось.

— Пантелеймон Пантелеевич, ваш выход,— заглянул служитель.

— Ты меня жди, художник. Деваться тебе есть куда?

— Нет.

— Тогда пойдешь к фокусникам в павильон. Билетеру скажи: от Пантелеймона Пантелеевича. Он тебя без билета пропустит.

Гармонист ушел, и с эстрады послышался его тенор:

— Грозно пенясь, катятся волны.

Сердится гневом объятый Байкал.

Зги не видать от сверкающих молний.

Бедный бродяга забился меж скал.

— А теперь, уважаемые дамы и господа, я, магнетизер Василий Мекгольд, берусь перед публикой угадать мысли всей России.— Набриолинные волосы, желтый бумажный цветок в петлице фрака.— Але, прошу...

Марк, дремавший в одном из последних рядов, поднимает голову. Барабанная дробь. Служители вносят большой щит, покрытый черной материей.

Магнетизеру подают пистолет. Барабанная дробь усиливается. Магнетизер стреляет в щит. Покрывало падает. Обнажается большой портрет Николая и надпись: «Господь да сохранит нашего монарха». Аплодисменты. Голова Марка все время валится на грудь, он постоянно заставляет себя не заснуть. Как сквозь вату доносятся слова:

— А теперь, уважаемая публика, зрелище века. Никаких фокусов. Мистическая тайна, унаследованная мной от знаменитых волшебников. Я и моя жена станем на открытом месте. Она на виду у публики отсечет мне голову, которая останется у нее в руках, а туловище без головы будет стоять на месте. Зарядив моей головой мортиру, она выстрелит в мишень. После выстрела моя голова очутится на мишени и заговорит оттуда с публикой, а туловище, по повелению волшебницы, подойдет к голове, соединится с ней и повергнет к ногам волшебницы свою благодарность.

Улыбающаяся женщина с ножом в руке под визг дам отсекает магнетизеру голову.

— Bravo, магнетизер! — кричат из публики.

— Шарлатанство,— шепчет кто-то рядом.

Голова, оказавшись на мишени, торжественно произносит:

— Во имя Бога и царя православного споем гимн! — И запекает: — Боже, царя храни...

— Пойдем, парень, я уже свободен,— шепчет на ухо Пантелеймон Пантелеевич.

— Если можно,— говорит Марк,— я хотел бы посмотреть, как голова соединится с туловищем.

— Голова каучуковая,— шепчет Пантелеймон Пантелеевич,— а поет он животом. Я этого Васку давно знаю. Большой мошенник.

Выходят в темноту.

— Чердак хороший, теплый,— говорит Пантелеймон Пантелеевич,— главное, чтоб у тебя к моей жене почтение было...— Он оглядывается.— Черт принес городского... Прицепится сейчас.

— Стой, куда прешь? Откуда чемоданы? Краденые?

— Ваше благородие, это у меня жилец новый. Художник. Еврей.

— Еврей? Вид на жительство есть?

— Все есть, ваше превосходительство.— И шепчет Марку: — Два рубля давай.

— Два рубля дорого,— говорит Марк.

— Ну уж ладно, художник, ты мне нравишься, я за тебя рассчитаюсь.— Он подходит к полицейскому и неожиданно бьет его головой в лицо. Полицейский падает.— Побежали!

Марк бежит, задыхаясь, с чемоданом, сзади тарыхтит полицейский свисток.

— Скорей сюда, кажись, ушли...

Марк весь в поту вслед за гармонистом поднимается по винтовой лестнице. Пантелеймон Пантелеевич отпирает дверь.

— Ньюша, принимай нового жильца... Художник.

— Опять напился,— говорит Ньюша, выходя в ночной рубашке, на которую наброшен цветастый платок,— опять квашеной капусты нажрался, свинья.

— Не ворчи. Покажи лучше новому жильцу его место. Это художник... Еврей.

— Сам показывай своему еврею, дурак! — И уходит.

— Ньюша,— говорит Пантелеймон Пантелеевич,— у тебя есть Бог или нет? О женщины, разорители домашних очагов! — Произнеся монолог, Пантелеймон Пантелеевич показывает Марку его половину чердака, которая отделена от хозяйской одной лишь занавеской.

— Места много,— говорит Пантелеймон Пантелеевич,— хошь рисуй, хошь танцуй... Кровать мягкая, и всего четыре рубля в месяц... Сейчас задаток — рубль...

Взяв рубль, хозяин желает спокойной ночи и уходит. Марк ложится, смотрит на чердачные перекрытия, которые вскоре раздвигаются, открывая над головой синее небо. Шелестят крылья.

— Это ангел,— шепчет Марк, не в силах оторвать глаза от спящего света,— ангел, дай мне увидеть себя.

— Смотри,— шепчет ангел,— ты будешь видеть меня одно лишь мгновение. Видишь?

— Вижу...— Синева, пронизанная золотом, возносится вверх... Снова темно.

Марк открывает глаза. Над головой чердачные стропила. За занавеской спорящие голоса, мужской и женский.

— Уйди... Нажрался квашеной капусты и пристаешь...

— Ньюша, я оскорблен в своих чувствах законного супруга.

— Отстань, выродок!

Слышна возня, звук рвущейся материи, тяжелое дыхание, сопение. Потом к сопению присоединяется скрип кровати... В чердачное окно светит морозная луна. Марк пытается заткнуть уши руками. Не помогает. Наконец скрип койки затихает и из-за занавески раздается громкий мужской храп в сопровождении тихого женского плача. Только под утро Марк наконец уснул.

По дороге на телеге ехали Аминодав и Зуся.

— Что ж это твой серб с еврейской головой? — усмехнулся Зуся.— Не слишком много мы у него заработали. Еле-еле покрыли расходы.

— Ты, Зуся, извини меня, типичный неудачник, извини меня, бездельник,— сказал Аминодав.— Пока ты шлялся по шинкам, я с господином Сими-чем кое-чем занимался и кое-что понял.

— Что ж ты понял? — усмехнулся Зуся.

— Я понял, что австрийская империя не может сама себя накормить хлебом. Хлеб ей придется ввозить.

— Кто ж ее накормит хлебом?

— Я.

— Ты? Почему же ты не сообщил об этом австрийскому императору?

— Когда я стану миллионером, посмотрим, кто будет смеяться. Ну скажи, Зуся, где Австрия может взять хлеб? Вывоз хлеба из Венгрии незначителен. Ну скажи, Зуся, где Австрия возьмет хлеб?

— Не знаю, Аминодав. Я об этом, пусть извинят меня австрийцы, как-то не думал, — сказал Зуся.

— А я думал, — сказал Аминодав. — Во Франции? Смешно. В Германии? Оставьте меня. В Испании? Нет, только в России, конечно, на взаимно выгодных условиях. Дешевый хлеб против дешевого каучука и стекла. — Все более вдохновляясь, Аминодав вытащил из кармана бумаги. — Вот у меня цифры. Посмотри на процент обработки каучука и стекла в 1897 году и 1902 году...

— Извини меня, Аминодав, — сказал Зуся, — я в этом все равно ничего не понимаю, но зато я понимаю, что нам негде ночевать. Пока ты не стал миллионером, у нас нет денег на гостиницу, и поэтому надо поискать какой-нибудь сельский постоялый двор. Уже смеркается, и австрийские жандармы не пропустят нас через мост.

Приехали на постоялый двор, поужинали, легли спать, но не спалось. Едва задули свечу, как начали чесаться. Опять зажгли свечу, и во время поиска блох и клопов Аминодав попытался продолжить рассказ о своих финансово-промышленных планах. Однако Зуся сказал:

— Пойдем-ка лучше в шинок да поедим польских фляков. Хочется польских фляков. Скажу тебе, Аминодав, ты со своими планами много потерял, не пошел со мной, когда я тебя звал. Я нашел в Кракове шинок «У Станчика». Ну, скажу тебе, фляки... Рубец заливают процеженным бульоном... Морковь, петрушка, репчатый лук, тонко нарезанный. Овощи поджаривают в жире, рубец нарезают тонкими полосками, кладут в соус... Густота смеси должна быть такая же, как густота супа... Конечно, перец, мускатный орех, тертый сыр...

— Пойдем, пойдем в шинок, — сказал Аминодав.

Пришли в шинок, заказали фляки. Пока ждали заказ, Аминодав опять пытался затеять разговор о своих планах, а Зуся вдруг начал вспоминать, как в Кракове ел фаршированную гусиную шейку.

— Если я когда-нибудь попаду в рай, то попрошу у ангела, чтоб мне до второго пришествия разрешили питаться только шейкой гусиной фаршированной... Телятину и гусиную печень рубят вместе с замоченной в молоке булкой, соединяют с желтками и мелко нарезанными грибочками...

В шинке было шумно, гуляли польские пьяные холопы, кажется, на свадьбе. Уж и драчка какая-то меж ними началась, уж и за волосы друг друга тягать стали, уж и кто-то кровь из-под носа утер, однако, увидав двух евреев, сразу меж собой примирились.

— Смотри, — сказал тот, кто утирал кровь из-под носа, — жида пришли.

— Ишь, пся крев, как расселись, нехристи!

— Эй ты, дух нечистый, жидовский, сгинь с глаз! — сказал третий и, кинув обглоданную кость, попал Зусе прямо в лоб.

Компания засмеялась.

— А погоди, я его с одного прицелу, — сказал второй, бросил яйцо и опять попал в Зусю.

— Все время попадают в меня, потому что я сижу ближе, — сказал Зуся.

— Это же ты звал сюда кушать польские фляки, — сказал Аминодав. — Черт с ними, с этими фляками! Уйдем от этих проклятых гоев.

— Как же мы уйдем, если уже заплатили за пиво и фляки? — сказал Зуся. — Выпьем пиво, съедим фляки, тогда и уйдем. Пан кельнер, — обратился он к проходившему мимо официанту, — отчего не несете нам пиво и фляки? Ведь мы заплатили.

— Подождешь, чертов юда! — сказал официант.

— Ой, азохен вей, — кривляясь, сказал один из холопов, — куда ты так ропишься, Янкель? Какие у тебя дела? Проклятое племя. Ищешь, кого б обворовать да обмануть? Попробуй, жид, христианского гостинца... — Он бросил крызок яблока и опять попал в Зусю.

— Давай пересядем, — сказал Зуся Аминодаву, утираясь, и сел позади Аминодава.

— Ты почему в переднего все кидаешь? — сказал второй холоп. — И другой собаке пусть достанется. — Он бросил огрызок соленого помидора и опять попал в Зусю.

— Видишь, Зуся, — сказал Аминодав, — все predeterminedено Богом. Пока не поздно, не будем испытывать Божьего терпения и уйдем.

— Переवेशать бы всю жидовню! — сказал молчавший до того седой пан. — Ах, матка бозка, поглядите, панове, на эти жалкие рожи... Ах поганцы! Они и Христа распяли, проклятые Богом люди... Эй, — обратился он к молодому поваренку, который проходил мимо с ведром кухонных помоев, — вот тебе золотой, облей-ка помоями обоих жидов.

— Ясновельможный пан, — сказал официант, — мне по долгу положено обслуживать клиентов. — И, вырвав у поваренка золотой, он забрал у него ведро помоев, подошел к Зусе и Аминодаву и, засмеявшись, сказал: — Вот ваше пиво и ваши фляки. Пейте и кушайте, Шлема и Шмуль. — После чего облил помоями Зусю и Аминодава.

Зуся и Аминодав, мокрые, вскочили, выбежали из шинка и помчались на постоянный двор, дрожа от холода.

Утром усталые и раздраженные Зуся и Аминодав поехали дальше. Выехали в заснеженное поле.

— Надо запомнить это проклятое село, — сказал Аминодав, — как оно называется.

Подошли к столбу, на котором была табличка с названием. По слогам прочли — Освенцим.

Поздним вечером Марк сидел у мутного оконного стекла на единственном стуле перед мольбертом, изредка касаясь кистью холста. Раздался робкий стук. Поскольку двери не было, а в занавес стучать было нельзя, хозяйка стучала в стенку.

— Войдите, — сказал Марк, не отрываясь от холста.

— Марк Захарович, — сказала хозяйка, входя, — извините, что поздно. Я вам постельное белье хочу поменять.

Хозяйка начала возиться у постели, кровать заскрипела. Марк отложил кисть и посмотрел на хозяйку. Она была в капоте, одетом поверх ночной рубашки, на плечах платок. Русые волосы заплетены в толстую косу.

— Нюша, согласились бы вы мне позировать? — спросил Марк.

— Ой, что вы, Марк Захарович, а если мой аспид узнает? Он Колю, студента, избил.

— Вы меня не так поняли, — сказал Марк, — я хотел бы вас нарисовать.

— Меня? Рисовать? — спросила она удивленно, но с некоторым, кажется, разочарованием в голосе. — А разве я красивая?

— У вас интересное лицо, — сказал Марк.

— У меня? — Серые ее глаза заблестели. — Ой, что вы, Марк Захарович, я простая баба. — Она подошла ближе. — Что это? — спросила она, указав на холст.

— Обнаженная женщина, — сказал Марк.

— А это что, груди? А это... Ой, можно ли так, ведь грех. — Она зарделась.

— В искусстве нет греха, — сказал Марк, — так же как греха не было в раю. Адам и Ева ходили обнаженными, пока их не соблазнил дьявол.

— Как умственно вы говорите, Марк Захарович! — сказала Нюша. — Студент Коля тоже умственно говорил, но по бумагам, а вы от сердца. — Она села на кровать. — Ой, прямо ноги не держат, как вы умственно говорите. — Кровать под тяжестью Нюшиного тела заскрипела. — Такая, знаете, Марк Захарович, грусть от жизни, хочется чего-то, а чего, не пойму.

— Это, Нюша, в искусстве называется эротикой грусти и боли, — сказал Марк.

— Ой, как умственно вы говорите! — сказала Нюша. — Только умом мне это не понять, как-нибудь по-другому понять бы. — Наступило неловкое молчание. — Вы не думайте, Марк Захарович, я не развратница. Если б развратница была, то в шелках бы ходила. Мне один офицер содержание предлагал. Купец-старик деньги сулил. Я, Марк Захарович, покоя ищущая для души и тела. А покоя нет. — На лестнице послышались тяжелые шаги. Нюша всполошилась. — Уж идет мой аспид! Нажрался и приставать будет.

Она торопливо скользнула к себе. За занавесом послышались голоса, сперва тихие, потом все громче, потом они перешли на крик, началась возня, сопение, кровать заскрипела, но ненадолго. Послышался вопль:

— Кусаться?! Кусать законного супруга? Стерва! Убью!

— Убивают! — закричала Нюша и с обезумевшими глазами в одной рубашке выбежала на половину Марка. — Убивают! Спасите!

Следом за ней, тоже с обезумевшими глазами, с ножом в руке вбежал Пантелеймон Пантелеевич. Нюша метнулась в коридор и побежала вниз по лестнице. Пантелеймон Пантелеевич за ней. Послышались голоса соседней:

— Чего делаешь, аспид?

— Муж жену учит.

— Полицию надо. Убьет он ее и на каторгу пойдет.

— Нюша у меня ночевать будет, — сказала какая-то женщина. — А ты, Пантелеймон, иди к себе, пропись.

Голоса начали затихать, послышались шаги хозяина, и он вошел к Марку, держа в руке нож. Холодок пробежал у Марка по спине. От страха свело живот.

— Господи, Боже мой, — сказал хозяин и с силой метнул нож, который глубоко, по рукоятку, вонзился в пол. — Господи, Боже мой, — повторил хозяин и, закрыв лицо руками, опустился на кровать, — ведь мы, художник, с Нюшей по любви женились. Жить хотели чисто... Сперва жили хорошо, да бедность проклятая. Ребеночек помер от горячки, место хорошее я потерял, с квартиры съехали сюда на чердак... Художник, разве это жизнь? Разве это нормальная жизнь? Здесь, в России, не только вы, евреи, но и мы, русские, живущие бедно и скудно, как вши в волосах, не имеем права на нормальную жизнь. Господи, Боже мой...

— Пантелеймон Пантелеевич, — сказал Марк, — я вам очень благодарен за то, что вы меня приняли, но, извините, я с этой квартиры съеду к концу недели. Я себе другую нашел, поближе к училищу живописи.

— И правильно, художник, съезжай. Я бы и сам отсюда съехал, да некуда. Разве что в могилу. — Он встал. — Здесь, на чердаке, художник, жить плохо, а умирать хорошо. Стропила кругом. Закинул веревку — и конец. — Он усмехнулся горестно и ушел.

В маленькой комнатке Марк лежал на одной койке с черноусым рабочим. Рабочий спал у стены, а Марк, повернувшись к нему спиной, с краю, у форточки. Было тихо, лунный свет освещал мольберт с неоконченным эскизом: медведи, козы, еще какие-то животные. Из форточки веяло прохладой и свежестью. Слышался плеск волн. Шумело, плескало море. Множество детей, среди них Зуся, Аминодав, Лиза, Давид, сидели в клетке, а старший брат — это немецкий художник Дюрер. Отец у всех один, орангутанг с черно-рыжей мордой и длинным кнутом, который гуляет по морскому берегу и грозит этим кнутом всем.

— Папа, — говорит Марк, — я тебя прошу выпустить из клетки моего старшего брата Дюрера.

Орангутанг открывает клетку и выпускает Дюрера. Дюрер раздевается. У него золотые ноги, похожие на ножницы. Он кидается в море, плывет, все удаляясь от берега. На море начинается шторм. Огромные волны обрушиваются с пеной. Все дети выбегают из клетки, кричат отчаянно:

— Что случилось с нашим бедным братом Дюрером?

Далеко в море показывается маленькая голова, в последний раз видна протянутая вверх рука. Все дети плачут.

— Наш старший братец Дюрер утонул!

Отец-орангутанг произносит:

— Мой сын Дюрер утонул. Теперь остается другой художник, ты, мой сын Марк.

Слышны стук и звон. С небес опускается тьма. Кто-то звонит и стучит. Марк поворачивается на другой бок. Рабочий с черными усами просыпается, идет к двери на цыпочках, босой, мелькая во тьме кальсонами.

— Кто здесь? — спрашивает он.

— К Марку Шагалу.

— Кто это?

— Отец приехал его навестить.

Рабочий отпирает дверь.

— Тише, — он прикладывает палец к губам, — Марк допоздна рисовал, теперь спит и просил не будить.

Отец тихо входит, ставит чемодан в угол.

— Ой, как мой сынок похудел! — вздыхает Захария.

— Степан Иванович, — шепотом говорит рабочий.

— Захарий Ионыч, — шепотом отвечает отец.

— Хотите закусить с дороги? Я чайник на плиту поставлю.

Отец раздевается, садится к столу, достает пачку мацы.

— У меня крашеные яйца есть, — тихо говорит Степан.

— Нет, извините, пожалуйста, спасибо, я христианские яйца не ем.

— Захарий Ионович, я их почищу, и они станут самые обыкновенные. —

Он берет мацу. — Вкусный еврейский хлеб, — говорит он, пробуя, — я его сейчас с салом поем.

Захария закрывает глаза, отворачивается, чтобы не видеть, как Степан ест мацу с салом. Марк открывает глаза, но сон продолжается. За столом сидит его отец Захария, правда, уже не в виде орангутанга, и завтракает вместе со Степаном мацой.

— Проснулся наконец, — говорит Степан, — вставай, отец твой приехал.

— Папа! — кричит Марк.

Они обнимаются.

— Не буду вам мешать, — деликатно говорит Степан, — да мне уж на работу пора. — Он одевается и уходит.

Марк и отец сидят за столом.

— Взял отпуск, приехал посмотреть, как ты тут. Ты не жалеешь, что уехал? Тебе, наверно, тяжело, ты похудел. Я скучаю по тебе, и мама каждый день просыпается и говорит только о тебе.

— Мне надо было увидеть другой мир, папа. Если б я остался в Витебске, то покрылся бы либо ржавчиной, либо плесенью.

— Это ты рисуешь?

— Да, это мой этюд. Тебе нравится, папа?

— Ну... — Отец задумывается. — Тебе за это деньги платят?

— Пока нет, но, я надеюсь, будут платить.

— Ну... — Опять задумывается. — На что же ты живешь?

— Есть богатые евреи, которые мне помогают. Сейчас мне помогает барон Гинсбург.

— О, барон тебе помогает! Это большой почет. Сколько он тебе платит?

— Десять рублей в месяц.

— Платить такие деньги просто так... Я за пятнадцать рублей поднимаю целый день бочки с селедкой.

— Барон Гинсбург тоже не хочет платить слишком долго просто так. Когда я явился в последний раз за своей десяткой, роскошный швейцар сказал мне: «Это в последний раз».

— Что ж ты будешь делать?

— Скажу: прощай, барон Гинсбург, здравствуй, барон Герценштейн.

— Да, — вздыхает отец, — может, это и хорошо, что тебе помогают еврейские бароны, но скажу тебе откровенно: мне такая жизнь не нравится. У нас в семье никто не зависел от чужих подачек. Так нас, евреев, учит Тора. Порядочный человек, если он только не калека и не больной, всегда должен зарабатывать сам. Может, тебе все-таки вернуться в Витебск и подумать о приличной специальности?

— Не сердись, папа, — говорит Марк, — ты живешь, как все, и дай тебе Бог здоровья. Но я не хочу быть, как все. Поэтому, папа, я покинул Витебск. Пусть он остается на здоровье со своими селедками.

— Ну, живи как знаешь, и пусть поможет тебе Бог.

Ясное петербургское утро. Продавцы газет выкрикивают последние новости:

— Кровавая драма в квартире кондуктора трамвая! Девятнадцатилетний сын убил поленом младшего брата и избил бабушку, чтоб украсть некоторую сумму денег!.. Дело Бродского! Во время погрома в Тирасполе еврей Бродский убил двух христиан... Москва. Слуги высекли госпожу Цунк, задолжавшую им пять рублей... Прибытие эрцгерцога австрийского в Петербург с Северного вокзала.

Марк, отец его и рабочий Степан ехали на конке.

— Я, как время свободное, хожу с Марком,— говорил рабочий,— любопытно иную жизнь посмотреть.

— Степан и в училище со мной бывал,— сказал Марк,— ему там натурщиком стать предлагали, да он не согласился.

— Ежели не в бане,— сказал Степан,— голым стоять грех.

— Грех, грех,— закивал отец,— вот Степан Тору не читал, а понимает, что рисовать человека либо иное Божье творение — грех. Гляди, накажет тебя Бог.

— Я в церкви картину видел,— говорит Степан,— «Смерть грешника». Страшная картина. На краю картины, смеясь над муками грешника, стоит остромордый дьявол с козлиной бородой.

— Значит, грех показать без художника нельзя,— сказал Марк.— Чтоб грех заклеить, надо согрешить.

— Ой, сынок,— вздохнул отец,— этот мышигас у тебя от родичей твоей матери из Леозно. Они все хотели постоянно удивлять. Один забирался в хорошую погоду на крышу, садился на печную трубу и лакомился морковкой. А дядя твой не выдумал ничего лучшего, как погуливать по улицам местечка голоштанным. Мы, Шагалы, так никогда не жили. Тора предписывает жить, как все, и быть, как все. А главное — ни о чем не думать, кроме обыкновенного. А ходить голоштанным по улицам — значит, жить не по закону.

— Без штанов ходят, когда хозяина нет,— сказал Степан.— Человек хозяина иметь должен. На небе есть главный хозяин, и на земле без хозяина нельзя. У нас на заводе слесарь Миронов все агитирует хозяина прогнать. А я ему говорю: хорош хозяин или плох, а человек, который не имеет хозяина,— сирота, делай с ним все, что хочешь.

Конка остановилась на перекрестке.

— Проезд закрыт,— сказал кондуктор.

Вдоль улицы стояли полицейские кордоны, гарцевали казаки.

— Встречают австрийского эрцгерцога,— сказал кто-то.

— Как бы не опоздать,— сказал Марк,— к господину Герценштейну мне велели прийти к десяти.

Когда пробирались сквозь густую толпу, Марку показалось: у края тротуара стоял Аминодав в сюртуке, с тростью и беседовал с какими-то господами. Но в это время толпа заволновалась, и Аминодав исчез.

— Скорей выберемся отсюда, пойдём переулками,— сказал Марк.

У края тротуара с тростью действительно стоял Аминодав.

— Мы, сербы, всегда надеялись, что Россия освободит Балканы от турецкого и австрийского гнета,— сказал господин в котелке,— а Россия поступает с нами, как охотник с собакой. Сперва натравливает нас на турок и австрийцев, а потом добычу забирает себе.

— Господин Симич,— сказал Аминодав,— Балканы могут быть освобождены не войсками, а банковским кредитом.

Послышались крики «ура!». Впереди кареты скакали жандармы.

Марк, отец и рабочий Степан подошли к большому богатому дому. Длинная очередь стояла к украшенному мрамором подъезду.

— Это столько людей пришло за деньгами к господину Герценштейну? — спросил отец.

— Не знаю,— растерянно сказал Марк,— странно, но господин Герценштейн очень богатый человек.

— По-моему, он тоже мешигенер,— сказал отец,— содержать столько бездельников.

— Вам что здесь надо? — спросил господин в черном.

— Мы к господину Герценштейну,— сказал Марк.

— Становитесь в очередь,— сказал господин.

Очередь двигалась медленно. Наконец вошли в роскошный вестибюль, где висел большой портрет Герценштейна, украшенный цветами, а у столика сидели какие-то господа в черном. Перед ними лежала раскрытая книга, похоже, бухгалтерская.

— Распишитесь здесь,— сказал господин, сидевший за столом. Марк расписался.— Проходите.

— А деньги?

— Какие деньги? О чем вы?

— Я художник... Господин Герценштейн обещал мне материальную поддержку.

— Как вы можете говорить сейчас об этом? — раздраженно сказал господин.— Разве вы не знаете, что Михаила Яковлевича убили?

— Нет... не слыхал. Я не читал последних газет.

— Это уже не новость,— сказала какая-то дама,— его убили три дня назад в Финляндии.

— Расписывайтесь в траурной книге и проходите,— холодно сказал господин.

Рабочий Степан медленно, как малограмотный, расписался и перекрестился... Захария поставил крест. Вышли через заднюю дверь. Здесь стояла толпа, слышны были возбужденные разговоры.

— Я уверен, господа, убийц наняла охранка,— говорил какой-то студент.

— Этих уголовников-оборванцев поселили в общей спальне, дали шубы, котелки, которые они продали на Лиговке.

— Господин Герценштейн навлек на себя ненависть правых элементов после выступления в Государственной Думе по аграрному вопросу.

— Расходитесь, господа! — кричал полицмейстер.— Публичные манифестации запрещены.

Неподалеку стояла толпа людей с портретами царя, царицы и с хоругвями.

— Справедливость восторжествовала! — кричали они.— Помилование героям, убившим жидовского врага!

— Пускай евреи убираются в Палестину! — кричала какая-то дама.— В наши училища их не допускать.

— Союз русских националистов,— кричал какой-то человек профессорского вида,— требует отмены преподавания Ветхого Завета в учебных заведениях. Кто допускает связи христиан и евреев, тот сам еврей.

— Расходитесь, господа,— кричала полиция,— не шуметь!

— Это-таки сумасшедший мир,— сказал Захария.— И ты хочешь оставаться здесь?

— Может, мне все-таки удастся раздобыть денег у другого еврейского депутата, у господина Винавера, пока его еще не убили... Или у кого-нибудь еще. Я хочу уехать в Париж.

— Ежели не верить в обыкновенного Бога и в обыкновенных людей,— сказал Степан,— то, верно, лучше уехать подальше, где все по-иному.

Мастерская Бакста. Ученики по обыкновению стояли у своих мольбертов, ожидая мастера. На возвышении натурщица, толстозадая, с розовыми ногами, полуобнаженная, в венке греческой жрицы, набросив на плечи покрывало, сидела на стуле, курила и пила вино.

— Сегодня пятница,— говорит девушка, мольберт которой рядом с мольбертом Марка,— в пятницу обычно Лев Самойлович смотрит этюды. Я так волнуюсь. Я вчера показала этюд моему папе, и ему очень не понравилось. Он даже на меня рассердился. Он вообще считает занятие искусством большим грехом.

— Какое совпадение, мой папа тоже так считает,— говорит Марк.

— А кто ваш папа?

— Мой папа Захария Шагал, грузчик в селечной лавке.

— А мой папа Лев Толстой,— говорит девушка.

Молодой человек, мольберт которого стоит неподалеку, улыбается.

— У вас обоих консервативные отцы, но очень смелые рисунки.

— Смелость как раз Лев Самойлович не одобряет,— говорит девушка.— Он называет смелость модой. Ох, я очень волнуюсь! Ты, Ваца, уже знаменит, солист балета императорского театра, тебе легче.

— Солист, уволенный из-за своих рискованных костюмов,— улыбается Ваца.

— Но у тебя имя в Париже, а я кто такая? Всего-навсего дочь Льва Толстого. Поверьте, господа, иметь отцом простого грузчика гораздо лучше человеку, который хочет себя самостоительно проявить.

— Господин Бакст идет,— говорит служитель.— Вы тоже,— обращается он к модели,— прекратите курить и займите свое место.

Модель гасит папиросу, поднимается на пьедестал и сбрасывает покрывало. У нее округлое розовое тело, большие груди, голубые выпуклые глаза. Марк невольно отводит взгляд. Входит Бакст. Здоровается. На нем английско-го покроя костюм, над ушами курчавятся рыжеватые кудряшки.

— Сегодня пятница,— улыбается Бакст,— по пятницам проверка. Чье это?

— Мое,— говорит Ваца.

Бакст сосредоточенно смотрит.

— У вас, Нижинский, сохраняется детскость в рисунке. Это хорошо. Детскость — качество, которое современная живопись успела растерять. Искренность движения и чистый, яркий свет. Искренность детского рисунка есть то, чему втайне завидуют зрелые художники, и я в том числе. Главное — избежать крена к так называемому хорошему вкусу, к так называемым хорошим картинам. Смешно говорить, но добрые две трети картин художников не имеют никакого подлинного прикосновения к их сердцу и воображению, а продиктованы они соображениями ума. Например, вот... Чей это этюд?

— Мой,— робко говорит Шагал.

— Так и думал. Господа, давайте сравним этюд Шагала с этюдом Нижинского. Движения, присущие рисунку ребенка, не правда ли? Лошадка бежит, девочка качается на качелях, медведь рычит, дом дымит, аэроплан реет в воздухе. У Нижинского все мечется, живет, дышит. У Шагала позы мертвеют, деревенеют. Хоть пропорции вернее, но суше, все вяло, холодно и прилично.— Марк молчит, лишь углы рта его нервно вздрагивают. Все смотрят на него сочувственно.— Или краска,— говорит Бакст.— Известна любовь детей к яркому чистому цвету. Такого грязного, тусклого цвета, как у Шагала, на детских рисунках не встретишь. Обратите внимание на эту лиловую краску.

— Л-Л-ев Самойлович,— заикаясь, говорит Марк,— отчего вы считаете мою лиловую краску грязной? Я люблю рисовать лиловой краской.

— Потому что лиловая краска,— говорит Бакст,— это краска неврастения. Ваши краски, Шагал, могут довести человека с неустойчивой нервной системой до припадка. Ибо сами эти краски принадлежат малокровным нытикам, изнервничавшимся ипохондрикам. Вот отчего они так туманны, тусклы, расплывчаты.

— Лев Самойлович,— говорит Марк,— я знаю, что художники из «Мира искусства», к которым вы принадлежите, считают Сезанна, Мане, Моне, Матисса лишь зачинателями кратковременной моды.

— Дело не в моде, Шагал, мода везде, где есть искусство. Мода — царица. Важно понять, господа, что есть в моде временное и что действительно новый тон. Вам, Шагал, нравится лиловая краска, она волнует ваше воображение. Вы считаете это новаторством, но проходит время, и, к изумлению своему, вы обнаруживаете множество дам в лиловых платьях и множество картин в лиловых тонах. Только простота и ясность форм не боится моды. Наш вкус, наша мода, господа, медленно, но упрямо, с каждым годом все сильнее и сильнее, возвращают нас на путь античного творчества.

— Но можно ли, Лев Самойлович,— говорит Шагал,— в нынешнем мире вернуться к искусству Фидия и к формам Праксителя? Нет ли здесь эстетизма и светской манерности? Национально-этнографических подделок, которые проповедует критик Стасов?

— Конечно же, возвращаться к искусству Фидия не следует,— говорит Бакст.— Вообще возвращение к старине означает в первую очередь отбор. Никто меня не заставит поверить, что нужно, например, сохранить грязный деревянный Дворцовый мост потому только, что на гравюрах прошловекового Петербурга всегда фигурировала эта докультурная постройка и что жаль отнимать от этого места Петербурга его исторический курьез. Достаточно уже с нас новосозданного архитектурного курьеза в Москве, храма Христа Спасителя, сооружения грубого, аляповатого, совершенно не соответствующего первоначальному архитектурному замыслу, испорченного Александром Третьим. Грубость в искусстве не есть простота и в живописи, и в скульптуре, и в архитектуре. Не ищите в современной пошловато-ремесленной стряпне соответствий прошлому. Не ищите художественных утешений в острых миниатюрах Брейгеля, в полновесности Родена. Большинству современных картин не удастся убедить зрителя в законности вымысла, изображенного негодными средствами, с небывальными огромными глазами, яйцевидными овалами героев и героинь, бескостными туловищами вплоть до анатомически недопустимых чудовищ. Все это создано не глазами, а мозгом и часто циркулем художника, и самый характер такого вымысла в живописи, скульптуре и архитектуре враждебен пластическому воплощению.

— Лев Самойлович, — сказал Марк, — я так понял, что должен вычеркнуть все свое прошлое. На это я не способен. Если я не могу научиться у вас, то, наверно, вообще не способен научиться. В школу Штиглица меня не приняли как еврея, в другой школе мне попросту было скучно. Лев Самойлович, я так надеялся на вас, я надеялся, что вы поймете меня. Поймете, почему я бледен, почему я заикаюсь и даже почему я рисую лиловой краской...

— Вам не кажется, Шагал, что аудитория — не совсем подходящее место для подобного разговора?

— Может быть, Лев Самойлович, — говорил Шагал, нервно сворачивая свои эскизы, — но я не уверен, увидимся ли мы когда-нибудь еще. После такого разговора я должен уйти из училища. И это не случайно. Не случайно я и в гимназии был плохим учеником. Наверно, я не понимаю того, чему меня учат. Разве что инстинкт меня иногда выручает.

— Инстинкт важен для художника, — сказал Бакст, — но инстинкт может вести и в сторону неуклюжести, резкой вульгарности и фатальной неискренности. Вот как на этом вашем этюде, например. Я знаю, вы не любите старые формы, но ведь нельзя считать основой искренности в искусстве одну ненависть к старым формам. У вас, Шагал, почти полная победа пейзажа над человеком... Вы отравлены ядом отрицания... Вот здесь и здесь... — Он взял третий эскиз, посмотрел и вдруг замолчал. — Мда, — сказал он наконец после длительной паузы, — здесь, признаюсь, неплохо. Ну да, ну да, тут есть талант. Но вас испортили, вас поставили на ложный путь... Испортили... Человек у вас всегонавсего эпизодическая фигура. Один из элементов, и он у вас третируется. У вас все усилия уходят на предметы.

— Все мои усилия уходят на завоевание света и солнца, — сказал Марк.

— Ваши свет и солнце освещают безлюдье. Это у вас от импрессионистов. Вы слишком доверились импрессионистам. Моне, Писсарро, Сезанн совершенно обезлюднили свои холсты. Посетитель гуляет по салону среди садов и бульваров, полян и рек, овощей и плодов, кастрюль и чашек, лишь кое-где встречая эпизодическую фигуру, приютившуюся под деревом, залитую пятнами солнца. — Он взял еще один этюд и опять долго смотрел. — Видите, стоит вам проявить самостоятельность, отказать импрессионистам в доверии — и становится совсем хорошо. Этот ваш этюд можно даже повесить на стену ателье. Вы, Шагал, испорчены, но не бесповоротно. У вас есть талант, но нет вкуса. Вкус подсказал бы вам, что будущее искусство повернет к культу тела, к его наготы. Но к какой наготы? Совершенно целомудренной из английских прописей, где тщательно обойдено все, что имеет отдаленный намек на чувственность. Посмотрите на эту модель, господи. Вообразите, что вместе с вами эту модель рисуют художники разных направлений: Веласкес, Халс, Рембрандт из идеалистической школы и Матисс, Гоген, Морис Дени, стремившиеся искать в мифах дикарей, в бесстыдной чистоте первобытной наготы новые условные формы. Вообразите, господи, что это тело, — он указал на натурщицу, — есть античная статуя в музее, которая тем не менее может принимать разные пластические позы, приковывать внимание красотой линий художественно-изогнутой человеческой наготы... Графиня Толстая, покажите свой этюд... Так, недурно, есть намек на чувства. Но в чем разница меж вашим изображением и живым телом? — Он подошел к натурщице и ткнул в нее указкой. — Робость, графиня, вот что мешает вам ощутить красоту тела. Робость как отблеск стыдливого эстетизма...

— Палкой в меня тыкать не надо, — сказала вдруг натурщица.

— Что такое? — удивился Бакст.

— Что такое?! — нервно произнесла натурщица. — Не для того я подрядилась, чтоб в меня палкой тыкали... Я, может, и сама б артисткой или художницей была, если б повсюду в русском искусстве жиды свои гнезда не свили бы.

— Ты что, — крикнул служитель, — выпила?

— Обидно, — нервно дрожа, произнесла натурщица, — брат у меня русский художник, надеялся получить премию академии... Так ведь всюду пархатые... В художественном совете сидят... Бомбы бросают... Государя нашего убить хотят.

— Выведите ее, у нее истерика! — испуганно крикнул Бакст.

— Проклятые жиды! — сквозь истеричные рыдания кричала натурщица, которую выводили два служителя.

— Господи, — растерянно сказал Бакст, — по причинам... По ясным вам причинам дальнейшая проверка отменяется... Урок на сегодня закончен. Тем более, — он глянул на карманные часы, — мне пора в театральный зал.

В театральном зале шла репетиция. Над сценой висел плакат: «История Аполлония, царя Тирского».

— Жил некогда в государстве Антиохейском царь Антиох,— произносил ведущий в костюме древнегреческого оракула.— У этого царя была единственная дочь, девушка необыкновенной красоты. Природа создала ее совершенной во всем, кроме того, что сделала смертной. Пока царь размышлял, кому из женихов отдать предпочтение, он под влиянием нечестивого вождения воспылил к собственной дочери страстью и полюбил ее иначе, чем надлежало отцу.

— С этого места,— говорит Бакст режиссеру,— будем постепенно вводить желтый цвет. С желтым цветом будут сплетаться и другие, главным образом красный...

На сцене балет под монолог оракула в музыкальном сопровождении.

— Не в силах долее терпеть сердечную рану, царь Антиох однажды на расвете проникает в покои дочери, забывает, что он отец девы, и хочет стать ее супругом...

— Нужны свободные движения, театральная условность,— говорил Бакст.— Движения, заимствованные у вазовой живописи. Движения, соответствующие босой обнаженной ноге.— Он отвернулся, перебирая эскизы.— Вот так,— сказал он режиссеру,— свободно ниспадающие складки одежды, надетой на голое тело.— Бакст поднял глаза и увидел стоящего в нерешительной позе Марка.— Шагал, у вас какое-то дело ко мне?

— Л-Л-Лев Са-Самойлович,— заикаясь от волнения, сказал Марк,— могли бы вы меня... Видите ли, Л-Лев Са-Самойлович, я очень хочу в Париж.

— О, в Париж? А что вы там будете делать?

— Л-Лев Са-Са-Самойлович, здесь, в России, в Петербурге, мне уже нечему учиться.

— Даже так? Нечему учиться?

— Тем более, Лев Самойлович, вы ведь расстаетесь со школой живописи в связи с новыми гастролями русского балета.

— Не только со школой, но и с Петербургом,— сказал Бакст,— расстаюсь навсегда.

— Лев Самойлович, я тоже хочу... Не знаю, навсегда ли, но хочу в Париж.

— Значит, вас устраивает перспектива погибнуть среди тридцати тысяч художников, слетающих из всех стран света в Париж? — И, повернувшись к режиссеру, закричал: — Свободного тела поболее! Античности поболее. На первое место греки ставили прекрасное нагое человеческое тело... Для греков герои, боги, богини лишь предлог для воспевания обнаженного тела.

— Буря, поднявшись вокруг, озаряет все красным сиянием,— доносилось со сцены,— дождь, приносящий Эол берегов, размывает уж землю, ветром сметенную ранее...

Вдруг Марк заметил, что натурщица, с которой случился в ателье нервный антисемитский припадок, в костюме греческой жрицы, подкрашенная и подпудренная, присоединилась к веренице подобных себе жриц и совершенно слилась с ними. Одинаковые жрицы одна за другой поднялись на сцену.

— Море под натиском ветра обычный предел претупает. Все смешалось, и волны небесных светил достигают...

— Вы в Париже пропадете,— раздраженно сказал Бакст.

— По-вашему, лучше остаться бы мне в Витебске и стать там фотографом,— тоже сердито сказал Шагал.

— Насчет Витебска утверждать ничего не буду, но, насколько я знаю Париж, ваши картины там покупать не будут. А богатых евреев-меценатов, таких, как адвокат Гольдберг или барон Герценштейн, в Париже нет.

— Барона Герценштейна нет уже и в Петербурге,— сказал Марк.

— Да,— задумчиво сказал Бакст,— а что вы умеете делать? Вы хотите ехать в Париж, ничего не умея?

— Лев Самойлович,— сказал Марк,— я знаю, вы человек нервный, я тоже. Но в чем дело? Разве я обязан оставаться в России? Я еще очень молодой, но уже устал от того, что здесь мне на каждом шагу дают понять, что я еврей. Когда я участвовал с молодыми художниками в выставке, мои картины непременно оказывались в самых темных углах, даже когда о них отзывались с похвалой. По вашему совету, Лев Самойлович, я как-то послал пару картин на выставку «Мир искусства». Картины мои мирно отлеживались на чьей-то квартире, а в выставке участвовали все без исключения русские художники, независи-

мо от того, хорошие они или не слишком хорошие. Все потому, что я еврей. У меня нет родины.

— Скажите, умеете ли вы малевать декорации? — спросил Бакст.

— Конечно,— сказал Марк.

— Вы так уверенно говорите «конечно», что у меня складывается впечатление — вы об этом даже представления не имеете. Да ладно... Вот вам сто франков,— он вынул деньги и подал их Марку,— освоитесь с новой работой, заберу вас с собой. Не освоитесь — пеняйте на себя.

— Спасибо за доверие,— обрадованно сказал Марк.

— Впрочем, я вам советую истратить эти сто франков здесь, в Петербурге,— сказал Бакст.

— Я поеду в Париж, Лев Самойлович,— сказал Марк.— Я хочу побывать в Лувре, особенно в тех залах, где Мане, Делакруа, Курбе, Веронезе. Я, витебский провинциал, все-таки поеду в Париж.

Отец и рабочий Степан провожали Марка на вокзал.

— Следи за собой,— сказал отец,— если уж захотел в Париж, пусть тебе будет удача.

— Мне поможет пророк Илья,— сказал Марк, обнимая отца.

— Скучно мне будет без тебя, Марк,— сказал рабочий Степан,— ты при случае скажи в Париже, как мы здесь живем. Много людей гибнет от глупости своей. Ленился народ да привыкает к бродячей жизни.

Ударил вокзальный колокол, засвистел оберкондуктор. В вагоне уже была Европа: проводник-поляк в форменном кителе говорил по-французски с какой-то пожилой четой.

Парижский вокзал был оклеен рекламами французских вин и колониальных товаров. Резко пахло бензином и кофе. Мягко подкатил к перрону поезд «Петербург — Варшава — Берлин — Париж». Из светло-желтого вагона с деревянной обивкой вышел Аминодав с тростью и скрипучим чемоданом. Его встречали серб Симич и еще один господин восточного типа.

— Марко Принцип,— представился господин,— член правления кредитного банка в Сараево.

— Очень приятно,— усмехнулся Аминодав,— у меня в Витебске был друг детства, тоже Марк. Такой, знаете, не про вас сказано, ветреный молодой человек. Сплошные фантазии.

Взяли извозчика, поехали.

— Ах, господин Шустер,— вздохнул Марко Принцип,— опасные фантазии не такая уж редкость для молодых людей в наше нервное время. За эти фантазии мой младший брат Гаврила уже и в тюрьме успел посидеть, да все не может угомониться. Требует священной войны против Австрии, против Турции, за освобождение Балкан, за сербскую свободу. Путается с какими-то подозрительными людьми, а недавно я нашел у него в ящике письменного стола заряженный револьвер. Уж не знаю, что с ним делать.

— Господин Принцип,— сказал Аминодав,— при случае познакомьте меня с вашим братом. Я попробую ему кое-что объяснить и постараюсь, чтоб он меня понял. Всякий человек может раззадориться. Я, например, человек не боевой, а случается, тоже разойдусь, остановить трудно. Тут, конечно, важно иметь собственный кофп, но разумный совет никогда не лишний. Главное — понять, что война — занятие глупое и дорогое. Огромный расход на пули. Сотни пуль истрачено, а людей убито с десяток, остальные разбежались.

— Ну, господин Шустер, вы несколько отстали от военного дела. Слышали ли вы про пулемет «максим»? Он работает очень рационально.

— Может, я не понимаю в военном деле, но в кредите я понимаю... Кредит — это более выгодное занятие при хороших процентных ставках. Нет, только банковский кредит освободит Балканы... Куда мы едем?

— Вы остановитесь в отеле за Пале Рояль,— сказал Симич,— очень приятный отель. Очень хорошие комнаты. Вам нравится Париж?

— Приятный город... Но улицы слишком узкие и дома высокие, неприветливые, заслоняют солнце. У нас в Витебске больше солнца.

— Зато вечерами бывает весело,— сказал Симич,— много барышень, рулетка. Наконец, французская кухня.

— Ах, французская кухня,— поморщился Принцип,— уже с раннего утра неумытые повара начинают свою стряпню, и, стоит только понаблюдать, как

они это делают, можно потерять аппетит на неделю. Нет ничего лучше сербской кухни. Да, в нашей Сербии все хорошо, кроме иноземного ига. Сербия, когда разорвешь ты цепи рабства?

— Господин Принцип, — сказал Аминодав, — вы, я вижу, тоже раззадорились, как ваш младший брат Гаврила. Как говорил мой отец, портной Шустер: злой узел завяжется, не развязать его будет никому. Только кредит, только банковский кредит поможет Сербии.

В узком коридоре дома под названием «Улей», где располагались ателье бедных художников, доносилась разноязычная речь.

— Возмутительно! — кричал кто-то по-русски из одного ателье. — Глупая девчонка, сентиментальная кислятина! Почему ты не уважила просьбу уважаемого мосье, без которого рухнул бы этот деревянный сарай?

— Он, Ваня, старик, — плакала женщина, — у него крошки на бороде.

— На бороде крошки, — сердито сказал Ваня, — так стряхнула бы их... Дура, он ведь обещал чек на двести франков.

— Он противный, — плакала женщина, — он капиталист, эксплуататор.

— Что? Кто тебя научил таким словам?

— Анатолий Васильевич.

— Какой Анатолий Васильевич?

— Луначарский.

— Луначарский?! Этот толстозадый марксистский репортер? Я отучу его агитировать моих натурщиц... Он к тебе приставал во время ваших занятий по марксизму?

— Он... он... — плакала женщина.

— Что он? Ты с ним, Сонька, спала? Безнравственная девка. Черт тебя возьми! Порядочный человек предлагает ей двести франков, а она связывается с каким-то нищим марксистским болтуном. Что ты в нем, Соня, нашла?

— Он, Ваня, красиво говорит. Ласково говорит. А ты, Ваня, все ругаешься. — Она заплакала совсем громко.

— Ладно, ладно, Соня, — заморгал глазами высокий детина с растрепанной копной волос. — С тобой уж и поговорить нельзя. Сразу нюни. Ты ведь знаешь, что у меня кончаются краски, надо покупать холст... Мне позарез надо двести франков... Я ведь не какой-нибудь Шагал, который за отсутствием холста пишет на своих разрезанных скатертях, простынях и рубахах. Я Иван Петухович, я получил академическую премию Куинджи. Я не привык, черт возьми, жить в таких условиях! Грязь, холод... В собачьей конуре не холодной. — Он взял за подрамником бутылку, налил в грязный стакан и выпил. — Разве это коньяк? Моя творческая индивидуальность требует другого коньяка. Такой коньяк и Жанетта пить не будет... Я привык к хорошему коньяку и не привык к грязи... Отчего ты, Соня, не подметешь?

— Веника не найду... И вообще я уйду от тебя, Ваня.

— К кому? К Луначарскому? К этому нищему марксисту?

— У него, Ваня, хоть гамак есть. Я на полу, Ваня, спать не могу.

— Бис, бис, браво... Променять меня, русского художника Ивана Петуховича, на гамак. Ты, Соня, стерва. Подожди, Соня, вот получу академическую премию, уберусь из этого нищего улья в хорошее ателье на Монпарнас. Разве здесь можно жить порядочному человеку? Крик, шум. Слышишь, у итальянцев опять кричат?

— Это у евреев кричат. Это Паша кричит, испанец... Очень темпераментный мужчина. — Соня хихикает.

— Какой Паша? — настораживается Петухович. — Этот сумасшедший испанский мазила Пикассо? У тебя, Сонька, вкуса нет. Луначарский, Пикассо, Шагал... Мне стыдно за тебя, Сонька.

— С Шагалом, Ваня, у меня ничего не было. Только зайдешь прибрать его ателье, он сразу прячется в свою постель за перегородкой.

— А ты хотела бы, чтоб он тащил тебя с собой?

— Он очень робкий, — сказала Соня, — но у него красивые кудрявые волосы. И он лиричный. Он мне сказал: «У вас, Соня, прелестный подбородок». А ты, Ваня, говоришь, что у меня плохие ноги. Я, Ваня, уйду от тебя.

— Клевета, Соня, клевета, все они завидуют нашей любви, нашему счастью. Все эти Луначарские, Пикассо, Шагалы... Шагал, кстати, мне должен пять франков.

— Шагал посылку получил из России,— сказала Соня,— я видела, он с почты нес.

— Посылку? — спросил Петухович.— Это интересная новость. Надо с него потребовать: если нет пяти франков, пусть отдаст продуктами.

В дверь застучали.

— Кого это черт несет? — сказала Соня.

— Завтра придешь! — крикнул Петухович. В дверь просунулась ослиная морда.— А, моя прелесть Жанетточка, за коньяком пришла, умница.— Выкрашенная в красный цвет с седыми пропалинами ослица вошла в ателье.— Жанетточка, разреши поцеловать тебя в шею и поднести тарелочку коньяка.

Ослица жадно выпила.

— А теперь пойдем со мной и стребуем долг с Шагала. Пошли с нами, Соня, свидетельницей будешь.

Вышли в коридор. Коридор был полон звуков. Плакали, смеялись, играли на гитаре. Из крайней комнаты по-прежнему доносились темпераментные крики Пикассо, которому возражали по-английски с сильным еврейским акцентом.

— Господин Шагал,— сказал Петухович, постучав в одну из дверей,— вы дома?

Жанетта, протиснувшись вперед, распахнула головой дверь. В крошечном ателье Шагала повсюду были развешаны картины, написанные на разрезанных рубашках и скатертях. В беспорядке валялись подрамники, пустые банки из-под дешевого бульона, яичная скорлупа. На стеллажах, среди репродукций Эль Греко и Сезанна, лежали остатки селедки и несколько кусков хлеба. Но на столе аппетитной горкой — домашняя маца и банка клубничного варенья. За столом сидели Марк Шагал и Луначарский, пили слабозаваренный чай, заедая вареньем прямо из банки.

— Ах, господин Луначарский,— сказал Петухович,— очень приятно, что застал вас здесь. Господин Луначарский, я требую, чтоб вы прекратили использовать мою натурщицу как подопытного кролика в вашей марксистской агитации. Зачем вы ее учите всяким глупым словам: социализм, капитализм, эксплуатация,— и прочей дребедени?

— Господин Петухович,— сказал Луначарский,— эта женщина — свободный человек, вы же склоняете ее к проституции, используя ее как товар, и присваиваете себе прибавочную стоимость.

— Значит, по-вашему, господин Луначарский, соблазнять женщину бесплатно, как это делаете вы, приличнее? Вы гнусный социалистический мошенник!

— Люмпен-интеллигент! — затрясся Луначарский.— Придет время, мы очистим землю от таких, как вы.

— Ах, придет время! — саркастически заметил Петухович.— Когда придет? Через три года? Через десять лет? Может, вы воображаете себя депутатом, или оберпрокурором, или министром просвещения? Лучше бы вы перестали красть у этого животного из стойла куски хлеба, господин министр.

— Господа,— сказал Шагал,— можно ли наносить взаимно друг другу такие оскорбления? Морально ли это?

— А вы, господин Шагал, весьма кстати вспомнили о морали. Верните мне пять франков, которые задолжали уже две недели.

— Видите ли,— пробормотал Шагал,— у меня сейчас денежные проблемы. Но в ближайшее время обещали купить одну мою картину за двадцать пять франков.

— Я вас поздравляю с большим достижением, но пока я забираю у вас в счет долга эту банку варенья, за три франка. Два франка вы остаетесь мне еще должны... Пойдем, Жанетта, пойдем, Соня.

— Ваня, я останусь у Шагала,— сказала Соня,— прибраться надо.

— Ну и черт с тобой! Только больше не приходи, не просись. Больше не впуссу. Пойдем, Жанетта.

— Ах, она съела всю мацу,— сказал Шагал.

Пока люди спорили, ослица подмела на столе и стеллажах все съестное.

— Ну хорошо,— сказал Петухович,— этот ужин Жанетточки за мой счет. Я списываю ваш долг.— И он с ослицей вышел.

— Я хотела бы прибраться ваше ателье,— сказала Соня.

— Мадам, это необязательно,— ответил Шагал.— Мадам, не трогайте мой стол. Ах, жаль варенья и мацы, придется ложиться голодным.

— Господин Шагал,— сказала Соня,— у меня есть кредит в булочной, я сейчас принесу теплые булочки.

— Не надо, Соня,— сказал Шагал,— как же вы расплатитесь с булочником?

— Уж мое дело, как я расплачусь! — Соня вышла.

— И это Париж,— печально вздохнул Шагал.— Париж, куда я так стремился. Пустыри, грязь, запах крысиного яда и этот дом с фанерными пристройками. То холод, так что приходится надевать на себя все тряпье, то духота, так что приходится работать голым.

— А мне здесь нравится,— сказал Луначарский,— настоящая пролетарская окраина без всякого буржуазного мешанства, все просто и ясно.

— Анатолий Васильевич,— сказал Шагал,— я тоже привык к простой жизни, надо признаться, я страшный провинциал. Любя перемену мест, я в глубине души мечтаю об уединенной клетушке. Мольберт и краски — вот мое имущество. Мне на всю жизнь хватило бы маленького чулана с дыркой, через которую бы мне подавали еду. Но ведь, Анатолий Васильевич, никто еды здесь не подает. Даже куска хлеба. И у меня такое чувство: если я умру среди бродяг под мостом, этого не заметят. Моих картин в Париже не покупают, я уже перестал об этом мечтать. Только один раз обещали купить мою картину за двадцать пять франков, но, думаю, обещания своего они не сдержат. Я уже задолжал всем: Конюдо, Аполлинеру, даже Ивану Петуховичу. Если мне удастся купить селедку, я дело ее пополам — голову на первый день, хвост на второй. А на рынке я по бедности покупаю только кусок длинного огурца. И, извините меня, Анатолий Васильевич, у меня совершенно протерлись штаны. Я не франт, я вообще не люблю одежду, она меня мало интересует, и одеваюсь-то я безвкусно. Но у меня нет даже приличного пиджака, чтобы пойти на дягилевский балет, куда меня пригласили.

— Пиджак я вам дам,— сказал Луначарский,— у меня есть замечательный пиджак, который мне подарил в Лондоне один русский адвокат. Один эмигрант, ужасно ненавидящий буржуазные порядки в России и мечтающий о пролетарской справедливости.

— Да,— сказал Шагал,— я сам сын простого пролетария, и приходит иногда желание залапать грязью сверкающий паркет какого-нибудь светского салона.

— Ваше время, Марк Захарович,— сказал Луначарский,— наступит только тогда, когда пролетариат свергнет мрачного молоха капитализма. Это время уже близко. Так же, как вождь пролетариата Галилеи Иисус Христос накормил народ хлебами, мы, революционеры, досыта накормим народ России.

— Я уже забыл, когда ел досыта,— сказал Шагал.— Можно ли работать, если мысли мои постоянно заняты мечтой о хлебе и колбасе? В воскресенье французский художник Конюдо пригласил меня позавтракать в кафе, и я жду воскресенья. Конюдо сильнее, чем набожный христианин воскресенья Христова. Конюдо собирает меня рисовать, он вообразил, что моя голова похожа на голову Христа.

— А знаете,— приглядываясь, сказал Луначарский,— в этом что-то есть... Я, кстати, пишу сейчас небольшую вещицу приблизительно на ту же тему. Этакая мистерия. Участвуют Иисус Христос, Иегова, ангелы, архангелы и русский рабочий Иван... Может быть, когда-нибудь эта мистерия будет поставлена в свободной России в вашем художественном оформлении... Вы меня премногим обяжете, если согласитесь послушать небольшие куски.

— Я с удовольствием,— пробормотал Шагал,— но сейчас хотел бы заняться своими эскизами. Тут в Париже мой учитель, художник Бакст, я хотел бы ему кое-что показать.

— Вы меня премногим обяжете,— сказал Луначарский,— очень недолго, небольшие куски... Хочется, знаете, написать такую вещь, от которой должна побледнеть от ужаса прозаическая и мешанская Европа.— Он сел на единственный стул и достал объемистую рукопись.— Только небольшие куски.— И торжественно произнес: — Картина первая. Тенистый парк, как на земле. Под большим деревом стоит величественный ангел в пурпурном плаще — золотые волосы, сияют крылья лебединые. Перед ним лежит рабочий Иван на мху нагой. Вдруг поднимается, как Адам на картине «Сотворение» Микеланджело. Иван: «Помер я или жив?» Ангел: «Ты умер и ты жив. И отец твой Егорий, и мать твоя Филицата ждут тебя здесь. Приклони ухо. Слышишь музыку сфер?» — Луначарский вдохновенно поет: — А-а-а-э-а Э-эла... Вечное. Преображение. Всепрозрачное. Сверхбытие... Чистое. Превознесенной мира вино... Эла-а-а...

— А-а-о... Оля-ля! — послышались крики с улицы.

— По-моему, мистерия уже началась, — сказал Шагал. — Похоже, что рабочие с боен Вожижара опять пришли бить художников.

По коридору кто-то пробежал с криком:

— Наших бьют! Петуховичу разбили голову! Пикассо порвали пиджак.

В саду, примыкающем к «Улью», шумела драка.

— Пойдемте, я обращусь к французскому пролетарию, — сказал Луначарский. — Все это хитрости буржуазного дьявола, чтобы отвлечь рабочий класс от его социальных нужд.

Возле дома слышались сопение и крики, мелькали палки и кулаки.

— Рабочие, — произнес Луначарский, появляясь в самой гуще драки, — Карл Маркс сказал: у пролетариата нет отечества! Все мы, пролетарии умственного и физического труда, принадлежим к классу, эксплуатируемому буржуазией! — Сильный удар палкой по спине прервал монолог.

Одновременно ударили в глаз и Шагалу. Посыпались искры, поплыли радужные пятна.

— Что вы наделали, Шагал? — сказал Конюдо, увидав синяк под глазом. — Как же я буду вас рисовать? По Евангелию у Христа сломано ребро, но не подбит глаз. Впрочем, повернитесь в профиль. Может, это и есть художественная находка? Христа всегда рисуют анфас, а я нарисую в профиль. Что вы будете есть?

В освещенном утренним солнцем кафе от свежего ветра пузырились занавески, шелестели за окном каштаны.

— Настоящая импрессионистская атмосфера, — сказал Шагал, — хочется чего-то необычного, я хочу есть все, что начинается на букву «с».

— Тогда возьмите котлету «Софи», а я, пожалуй, возьму антрекот по-бретонски или зайца в чесночном соусе.

— Какие названия! — сказал Шагал, глотая слюну. — От этих названий веет романтическим реализмом старых мастеров. Веласкесом, Халсом, Рембрандтом. Все просто, ясно и величественно. Это вам не кубизм с его треугольными грушами. Это блуждание вслепую между Сезанном и негритянской скульптурой в поисках объема и перспективы.

— Блуждание вслепую, — усмехнулся Конюдо. — Посмотрите в окно. Видите того старика, переходящего улицу?

— Вижу, обычный нахмуренный, мрачный старик, который широко шагает, опираясь на палку. Похож на бальзаковского персонажа.

— Это Дега, — сказал Конюдо, — он совсем слепой.

Наступила пауза. Шагал и Конюдо смотрели, как Дега переходит улицу.

— Трудно себе представить, — сказал Шагал, — что так тяжело движется человек, который на холстах лучше всех сумел передать гибкое, напряженное движение. В передаче мгновенного и напряженного движения, в умении запечатлеть в красках тончайшие переливы света и отражений ему нет равных.

— Это у него от японцев, — сказал Конюдо, — но нельзя отрицать и импрессионистской условности в красоте его линий и цветов.

— Я с этим не согласен, — сказал Шагал, — импрессионизм держится на техническом совершенстве, а мне искусство Дега да и вообще искусство представляется как состояние души... Сверкание ртути, голубой дух волшебства... Во всяком случае, я к этому стремлюсь.

— Но к чему конкретно? — спросил Конюдо.

— Не знаю, — ответил Шагал, — но к другому. Все это жонглирование, вся эта стилизация, весь формализм нынешнего искусства можно сравнить с папой римским, восседающим в роскошных облачениях рядом с нагим Христом. Лично я молитве в богато украшенном храме предпочитаю молитву в открытом поле. Таково мое кредо в искусстве.

Он замолчал. Дега достиг наконец противоположной стороны, свернул за угол и исчез.

— Дега живет уединенной жизнью и весь погружен в искусство, — сказал Конюдо. — Он не интересуется ни выставками, ни публикой, ни критикой.

— Счастливцев, — сказал Шагал, — я себе, к сожалению, такое удовольствие позволить не могу.

— Да, вам нужна поддержка, — сказал Конюдо, — нужен шум. Я говорил о вас с Леже, Райналем, Сагоньяком, профессором академии «Палитра». Однако знаете, Шагал, мы, французы, слишком консервативны, когда речь идет о необычном и раздражающем. Вам нужна персональная выставка, но выставки от-

дельных художников в Париже редки, если это только не Матисс или Боннар, и, кроме того, ваши идеи, Шагал, все эти ваши разговоры об иллюзиях в искусстве мешают мне помочь вам еще больше, чем ваши картины.

— Мосье Конюдо,— сказал Шагал,— я всегда буду благодарен вам за вашу сердечность, за то, что вы написали обо мне статью в вашем журнале «Монжуа», за то, что вы всюду таскаете меня за собой и даже устроили выставку моих рисунков. Но ведь на выставку никто не пришел. Несколько случайных людей. Ни один серьезный критик, ни один владелец приличной галереи. Наверно, это закономерно. Я просто не вписываюсь в эпоху. Что это за эпоха, мосье Конюдо, которая воспекает технику и обожествляет формализм?

Принесли котлету «Софи» и зайца в чесночном соусе.

— Какие краски! — любуясь едой, сказал Шагал.— Это действительно настоящее искусство.— Он с жаром набросился на еду.

— Не будьте слишком разборчивы в контактах,— говорил Конюдо, аккуратно отрезая кусочки мяса,— без излишних фантазий, Шагал.

— Не считайте меня фантазером, мосье Конюдо,— сказал Шагал,— напротив, я реалист. Я люблю землю.

Принесли газеты. Конюдо за едой начал их просматривать.

— Каких только глупостей не пишут в газетах! — сказал Конюдо.— Турция объявила бойкот австрийским товарам, вышел новый роман Поля Адана «Le serpent noir», направленный против учения Ницше. Этот аморальный натуралист Адан осмеливается спорить с Ницше. Или вот: австрийский эрцгерцог Фердинанд в ближайшее время намерен посетить Боснию и Герцеговину. А обо мне ни слова.— Он бросил газеты на землю.

— Даже вас, мосье Конюдо, известного художника, во Франции не замечают, а что уж говорить обо мне. Конечно, французам мои устремления кажутся несколько странными. Уж не говорю про высокомерных кубистов, в чьих глазах я полный ноль. Momentами я становлюсь совсем грустным и замкнутым. Мне всего лишь двадцать лет, а я уже начинаю опасаться людей.

— Не надо бросаться в крайности. Людей так много, что всегда можно отыскать несколько приличных. Видите того маленького человека, который дремлет за дальним столом в углу? Это берлинский художник, издатель газеты «Штурм» Вальден. Почему бы не поговорить с ним о вас? Мне кажется, среди немецкого экспрессионизма ваши картины лучше прозвучат, чем в Париже.

Он подошел к Вальдену и поздоровался.

— Мосье Конюдо,— улыбаясь, сказал Вальден,— рад вас видеть. Я только приехал и еще не привык к воздуху Парижа. Воздух Парижа меня всегда усыпляет.

— Вместе с французским коньяком,— улыбнулся его спутник.

— Это поэт Людвиг Рубинер.— Вальден указал на него.

— Знаете, мосье Вальден, что надо сделать? — сказал Конюдо.— Надо организовать в Берлине выставку работ этого молодого человека. Вы не знакомы? Мосье Шагал.

Было выпито несколько бутылок. Плыл над столом табачный дым. Рубинер читал нараспев:

— Ночи разбрасывали пламенеющие пальмовые листья над Берлином.

Вечера, как желтые звери, плыли над Фридрихштрассе.

Берлин из колочих площадей, из серых переулков извергал синюю лаву вулкана.

Женщины прогуливали сами себя, мужчины лупили глаза.

Ноги пробегали по Берлину, волосы пылко раздувались.

Солнце опускалось все ниже, жар заката пылал в мужчинах...

— В последнее время в Берлине я чувствую себя, точно лошадь, запряженная в тяжелый воз,— сказал Вальден.— Берлинский воздух все тяжелеет.

— Будущее всегда тяжело,— сказал Рубинер.— Тяжесть Берлина — это тяжесть будущего. Мы, социалисты, вызвали к жизни это будущее ради миллионов обездоленных.

— А ты задумывался, Людвиг, над тем, что случится, если чиновно-пруссский дух, если пруссачество соединится с социализмом?

— Но возможна ли такая химера? — спросил Шагал.— Насколько я знаю, прусский кайзер преследует социалистов.

— О, господин Шагал,— улыбнулся Вальден,— до сих пор были известны химеры греков, химеры индусов и китайцев, соединение козы со львом, человека с лошадей, человека с козлом, но если появится немецкая химера, если пруссачество соединится с социализмом, мы получим анатомически неразличимое сочетание в одном туловище человека со свиньей.

— Лишь только собираются за столом два немца — сразу начинаются разговоры о дьявольщине и уродстве, — сказал Конюдо. — Мы, французы, любим совсем другие формы фантастики. Наше веселье таит в себе отвагу. Только чудовищная катастрофа, вызванная безумием небес, воды, земли, огня, могла бы поколебать веселье Парижа.

— Мне кажется, — сказал Вальден, — что над крышами Берлина такая чудовищная катастрофа уже нависает, но в Париже она еще не чувствуется, и ради этого я приезжаю сюда, чтобы передохнуть. У нас, немцев, есть поговорка, относящаяся к хорошей жизни: живу, как Бог во Франции.

— Французы о хорошей жизни говорят: как петух в тесте, — сказал Конюдо.

— А русские говорят: как сыр в масле, — сказал Шагал.

— Скучаете по России? — спросил Вальден.

— По Витебску, — сказал Шагал. — Здесь, в Париже, мне очень не хватает витебского сыра и масла... Впрочем, французского сыра и масла мне тоже не хватает...

Шагал сидел в прихожей огромной квартиры. Вокруг были запахи и звуки богатой жизни. Из кухни доносился стук поварских ножей, очевидно, рубивших мясо, из салона до головокружения пахло свежими булочками и кофе, и, очевидно, из детской, доносились играемые на фортепиано гаммы. Потом детский голосок начал петь французскую песенку. Вышел толстомордый лакей и, не обращая внимания на Шагала, начал чистить штиблеты.

— Мосье, — нерешительно, робко обратился Шагал к лакею, — я сижу в прихожей уже полчаса. Не могли бы вы напомнить обо мне мосье Дусэ? Ему писал обо мне рекомендательное письмо мосье Конюдо.

Лакей отставил хозяйские штиблеты и пошел в столовую. Позвонили в дверь. Опять появился толстомордый лакей.

— Мосье, — обратился к нему Шагал, — вы сказали обо мне?

— Один момент, — сказал лакей и открыл дверь.

— Пьер, это зеленщик? — спросил женский голос.

— Нет, мадам, — сказал лакей. — Мадам, вы заказывали цветы из Ниццы?

— Заказывала. — Появилась пахнущая духами дама, взяла у лакея огромный свежий букет и протянула разносчику хрустящую банкноту не менее пятидесяти франков.

— Мадам, — сказал Шагал, — я сижу уже полчаса... Мосье Конюдо написал мосье Дусэ рекомендательное письмо по поводу пятидесяти моих акварелей.

— Как ваша фамилия?

— Шагал... Я русский художник.

— Сейчас. — Она ушла вместе с лакеем, нюхая букет.

Очень скоро лакей вернулся, неся в руках папку и конверт.

— Мосье Дусэ поручил мне вернуть вам эту папку и письмо мосье Конюдо и сказать, что мы не нуждаемся в лучшем колоритисте нашего времени. — Лакей засмеялся и принялся опять чистить штиблеты.

На бульваре Сен-Жермен ярко светило солнце. Пахло политой зеленью, вода струилась из шлангов поливальщиков. Торговцы овощами и фруктами предлагали со своих тележек большие помидоры, яблоки, груши, какие-то неведомые экзотические фрукты.

Шагал вынул из конверта рекомендательное письмо Конюдо, прочел: «Мосье Дусэ. Рекомендую вам как опытному коллекционеру приобрести акварели русского художника мосье Шагала, который является, на мой взгляд, лучшим колоритистом нашего времени. Культура в сочетании с вдохновением, свежесть цвета, безыскусность композиции, движения свойственны акварелям Шагала, который умеет, не утрачивая темперамента, сохранить чистыми тона и обозначивать...»

Шагал разорвал письмо на мелкие клочки и зашагал по бульвару.

— Если б этот бульвар Сен-Жермен прямо перешел в витебскую Вокзальную улицу... — сказал он вслух. — Отче, почему ты отвернулся от меня?

(Окончание следует.)

НОВЫЕ СТИХИ

Прощание с Ригой

Памяти живописца Яна Паулюка

1

Уже четвертый год,
Как будто карантинный,
Когда порой мелькнет
Очередной картиной
Знакомая страна
В телеэкранной раме,
Гортань раздражена
Беззвучными словами.
А в следующий миг
На опустевшей сцене —
Судьбы моей двойник,
Причуда светотени.
Всегдашняя, верней —
Вчерашняя забота,
Она опять ко мне
Сидит вполоборота
И манит наугад,
Как будто в светлой цели,
Куда глаза глядят,
Верней — куда глядели,
Где некогда легка
Подтаявшие годы
Дарили вкус глотка

Ворованной свободы,
Где странный вернисаж
В дощатом павильоне —
Дерзейшая из краж
Художника в законе.
Лишь дюжина холстов,
Лишь знак, что он на свете
В эпоху междометий
Побыл — и был таков,
Докучных рыбаков
Ни с чем оставив сети...
А прямо из окна,
Пейзажам как бы вторя,
Была тропа видна,
Змеящаяся к морю,
Где бился плеск белил
В лазурь и зелень мая,
И я в него входил,
Еще не различая
На влумине волны
Расплывчатые строфы,
Которые полны
Дыханьем катастрофы.

2

Сплошь завешенные стены мастерской,
Где соседствуют тревога и покой,

Удивленье пребывать среди живых
И павлиний хвост фантазий световых,

Где хранил, как видно, Бог его, пока
Не ослабла и не дрогнула рука.

А под вечер возникал внезапный миг
Закипающей беседы на троих,

Где уже никому не подвластна
 Желтизна фотографии той,
 Где художник — такой молодой!
 И с любимой — такую прекрасной!
 И распались они, хотя
 Затаились друг в друге следом,
 Тем, который и мне был введом
 Два десятилетия спустя...
 Но, внушая, что все едино,
 Превращает остуду в озноб,
 Предвкушает конец картины,
 Ускоряется калейдоскоп.
 Острый ветер бьет в перепонки.
 А пейзаж и безлист, и мглист.

1994—1996

И застрелен на Бастионке
 Оператор-документалист...
 Долгожданный виток истории —
 Не велик, но банально двулик.
 Сик транзует мундовая gloria —
 В переводе на русский язык.
 И в кругу приволий острожных
 И вестей упоительно-ложных,
 В этом городе на берегу
 У меня остался заложник.
 Рад бы вызволить. Да не могу.
 И земле оставяя земное,
 Где судьба наследила моя,
 Остается пройти стороною
 Помутненные эти края.

Неологизмы

ИЗ «СТИХОВ НА ПОЛЯХ»

Слова, слова, слова...

Гамлет, Принц Датский

Лицедействующий гений,
 Гениальный лицедей
 Знает, что полярных мнений
 Много больше, чем людей,
 Что процеженный сквозь сито
 Всех турусов и колес
 Неологос неофита
 Совершенно безголос —
 В мире творческой свободы
 Между крахом и бедой,
 Где становится природа
 Окружающей средой,
 Где мастак печатных критик,
 Всепостигший полубог,
 Прогрессивный моралитик
 Нецензурно занемог,
 Где неумолимо-верно,
 На манер кариатид,
 Инкубатор-люциферма
 Молодь плотную плодит,
 А вопросы: кто? и где я? —
 Оставляет на потом

1996

Дикая архиидея
 С неопознанным хвостом,
 Ибо только так и надо,
 Ибо всюду и всегда:
 Если стыдно — нету стада.
 Если стадно — нет стыда.
 Но веселье каруселью
 Завихряет кутерьму,
 Где справляют новоселье
 В нарисованном доме,
 Где, от порчи и от сглаза
 Исцеляя в миг один,
 Посреди стола у вазы
 Кошка жадно жрет жасмин,
 Где, не думая нисколько
 Ни про смысл и ни про цель,
 На четырехспальной койке
 Дрыхнет койкер-спаниэль,
 И поспешно до одышки
 Входят в царствие свое
 Нувориши, нуворишки,
 Одним словом, нуворье.

Перспектива

ИЗ «СТИХОВ БЕЗ ДАТ»

Протяжна и несуетлива
 Не перекрытая листвою
 Пространственная перспектива,
 Вмещающая все живое,
 Где обозначился весенний

Набор примет немноголиких —
 Однообразье потрясений,
 Колесный перестук на стыках,
 Нелепый паводок свободы,
 Не смывший ни следа распада,
 И несуразная досада
 На ускользящие годы,
 И катакомбы городские,
 Где возникает из тумана
 Мерцательная аритмия
 Вялотекущего романа...

Календарные стансы

В мировой, так сказать, панораме
 Расточаясь невольно и зря,
 Мы как будто становимся сами
 Отлетающими листьями
 Отрывного календаря.

Ускользают от глаза примет —
 То ли дымки, то ли дымы —
 Стороны, то ли части света,
 Где всегда не хватает лета
 И всегда в избытке зимы.

В неподвижных парковых кронах,
 То ли монотонно зеленых,
 То ли чуть обгоревших уже, —
 Ни гнезда, ни грая вороньих.
 Много чести для посторонних —
 Ведать, что у них на душе...

Ветер времени мало-помалу
 Множит скуку по идеалу —
 То ли в мысли, то ли в дела.
 Не щедра на посулы сначала,

1994

Много больше, чем обещала, —
 Даже слишком — судьба дала.

Например, вот эту дорогу,
 По которой еще иду.
 Не умею подвести итога.
 Не могу сочинить некролога —
 С некрологикой не в ладу.

Может быть,
 расхожденья во взглядах —
 Лишь попытки пройти наугад
 В непостижный вечный порядок:
 От свободы на баррикадах
 До свободы без баррикад.

Напоследок неторопливо
 Оглянуться на зыбь залива,
 Где, покачиваясь, плывет,
 Тектоническим сдвигом расколот,
 Крысоловный граненый город.
 Август. Блок.

Двадцать первый год.

Postscriptum

Меж двух миров — погибшим и воскресшим...

Мильтон

Неровен случай — забрести
 В судьбы крошечный лес,
 Где на Пицунду льют дожди
 С простреленных небес,
 Где тянутся день ото дня
 Напрасные труды —
 Размыть следы всего огня
 Путем всея воды,
 Где туго стягивает всех
 Кольцом одной петли

1995—1996

Неотмолимый этот грех,
 Разор всея земли,
 Который мне на миг затмил
 Блистающую ложь,
 Где мир не по-хорошу мил,
 Но по-милу хорош,
 Откуда снова полечу
 К побережью тому,
 Где жизнь уходит по лучу
 Прожектора — во тьму...

Чистилище

*...Себя не спрашивал с тоской
О смысле жизни и работы...*

Дон Аминадо

В конце концов и ты поселишься на том,
На самом светлом из возможных побережий...
Предание старо. И движется с трудом.
И раздражается медлительностью пешей.
И монотонней, чем зудение осы,
Естественней и безнадежней год от году
Привычка подводить отставшие часы.
Столетия неуют. Особенно к исходу.

Осталось уповать, что будет суд не крут,
Оценит и учтет саднящий в каждой жиле
Нетеатральный страх, что вдруг тебя поймут
До одури не те, доподлинно чужие.
Оправдывайся тем, что, угодив сюда
И с прочими дела бесцельные заботы,
Сподобился дожить до той поры, когда
Гром грянул. И тотчас перекрестился кто-то.

А за окном твоим мгновение спустя
Несущаяя вкось свихнувшаяся влага
Означила единство снега и дождя
Отныне и навек. Для твоего же блага.
Счастлив, кто посетил нетленный этот плен
В приятном обществе своей нескучной тени,
Не созерцая сцен, не сотрясая стен...
Когда б не Менелай — на кой Парис Елене!

Блажен, кому дана возможность не спеша
И никого пророчествами не тревожа,
Пришпиливать к листу иглой карандаша
Искусство размышлять про то, что будет позже.
Про то, что, может быть, потомкам предстоит
Послепотопные не растравлять обиды,
Признав за образец невозмутимый вид
Pingvino veritas на стогах антарктиды.

1996



Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ

Сентиментальное путешествие

- Ой, что это, маркиз?
- Да неужто сами не видите, маркиза?
- В том-то и дело, что вижу!

Переписка маркиза де Кюстина с женой

ИЗ ЗАПИСОК ИНГРЕДИЕНТА СУББОТИЯ

ИСТИННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

ОТ АВТОРА

История этой книги так на удивление проста, что я сам порою даюсь диву. Однажды, два года минуло (а за точность я ручаюсь, ибо она определена в моей памяти чередой трудно забываемых обстоятельств), я взял в руки так называемую «общую» тетрадь, тетрадь в удручающе коричневом пахучем переплете, с хрустом раскрыл, будто разломил пополам от неожиданно вспыхнувшей злости, глубоко вздохнул, еще, еще раз, пораженный свежестью скрываемых ею листов, вдохнул во всю грудь их запах и, едва, не решаясь, обозначил на чистой странице число и месяц в углу, а ниже — начертил полтора десятка фраз, обрывочных, повисающих почти без связи над бумажной белизной, фраз о прожитом мною сегодня дне.

И далее, несмотря на всяческие неблагоприятные условия (а их находилось да и находится всегда огромное множество, и можно жизнь положить на одну борьбу с контроверзами, гонящими от работы или, мягко говоря, не склоняющими к усидчивости), я тем не менее в походе ли, на стоянке ли, тем более абы где и абы как старался все же вести этот дневник день за днем, день за днем, день за днем и так далее, в течение целого года. Тетрадка моя постепенно истрепалась, свободные листы в ней кончились, исписанные разлезлись и топорщились из-под затертой теперь, беззащитной обложки, а прилежность моя при том, как я ни боролся с собою, иссякла. Многое изменилось, а тетрадка исчезла куда-то, запропастилась.

Но вот лишь несколько месяцев тому я нашел сей самый оный дневник в одном из дальних ящиков письменного стола, раскрыл — и зачитался им. Да не примите сказанное мною (то бишь бедных моих слов) как свидетельство нескромности и гордыни. Дело не столько в литературных достоинствах робких записей, даже не «на долгую память», сколько в той живости для меня событий, здесь отразившихся, важности, которую я им придаю. Впрочем, товарищи мои, прочитав несколько малых беглых отрывков, посоветовали сообщить пунктиру живого свидетельства плавность художества. Я попытался достигнуть того и надеюсь глубоко, что хоть отчасти это удалось.

Месяцы работы да и множество сил ушли, чтобы, сохраняя (суровую порой) документальность, придать заметкам просветленность, свойственную искусству, при сем пришлось многое и добавить из ускользнувшего некогда от рассеянного внимания очевидца. Я старался сперва вспомнить, а потом и вопло-

тить в слово мысли, поступки, поводы для них, которые владели и правили нами тогда, во время прошедших дней.

Разумеется, вплетенные в густую фактическую ткань пейзажи, характеристики или портреты лиц чуть отличаются, не сливаясь с фоном, но тем не менее я оставляю все, как получилось, видимо, такова-то и есть естественная судьба мемуаров. Хочу утвердить особо, что события, имеющие здесь место, а также лишь упомянутые, равно и персонажи моего повествования, не названные героями только по скромности, ни в коем случае не изменены, не подретушированы даже: даты подлинны, имена и фамилии списаны с натуры.

Скажу одно: это правдивая книга. Единственное, что вымышлено, — псевдоним автора (да и то не столь вымышлен, сколь создан). Я не сделал бы ничего такого из желания загородиться прозрачной этой ширмой от публики, а единственно из воспитанного с детства уважения к традициям русской литературы, которая вся взошла на ономастике и (смею утверждать наверное) без псевдонимов не выжила бы! Вспомним их поименно, благоговей: Лесков-Стебницкий, Гоголь-Яновский, Салтыков-Щедрин, Каверин-Зильбер, Мамин-Сибиряк, Исаак-Бабель, Эдуард Шим-Георгий Марков (сколько их еще?), — все, все, вплоть до полного анонима, автора бессмертного «Слова о...».

Итак, взяв имя деда по материнской линии — Ингредиент, а также имя деда по отцу — Субботий, я свел их вместе и получил псевдоним, который целиком удовлетворяет моим притязаниям.

Вступление затянулось, причиной этому: во-первых, естественная неловкость человека, представляющего свое творение на суд людской, что затесалась в мои слова, — чего уж тут нового! Щемит, ноет, а вдруг не будет так интересно читать о том, что тебе важно и нужно? А (?)... И, во-вторых, как говорил (несколькими строками выше), о, сильнейшее влияние на меня классической русской музыки, и здесь ты отразилось, и в этом, столь неглубоком, штрихе, почти царапине.

Вот и все, что я хотел бы сказать в предварение, то бишь вводя неизвестно кого в пределы невыдуманного мною ни за какие посулы мира.

Ингредиент Субботий.

Вынужденная мера. — Три вокзала

«Вынужденная мера, — говорю я. — Вынужденная мера». И понимаю сам, что мера вынужденная, убежденный правотой собственных уговоров, но ничего и не изменить, мною предпринята последняя попытка, выход по собственному желанию из состояния, обретенного по собственному желанию, частной прихоти и личной необходимости. Если же попытка по каким-то причинам не удастся, не заладится, то... То — все. Я приговорил себя к изгнанию, памятуя о таком же добровольном отъезде двух сынов мировой культуры: Овидия в Румынию и Курбского куда глаза глядят. Изгнание обостряет чувства и укрепляет память, изгнание взрослит сердце, в изгнании ветшает душа. Но душа у меня и без того ветшает в ссорах с самим собою мною, изгнание не усилит ветшания ее.

Случай обычный. Полгода назад я окончил Институт чистописания и беллетристики, институт, каковой душа моя окончила минимум на два года прежде, экстерном. Ей-то не было нужды в дипломе, ни в чем ином, она была свободна (тогда!), она была любима (тогда!), она была (тогда!) счастлива и жестоко разрешила телу доучиваться самостоятельно, себя объявив на творческой работе. Оды и пасторали, рождаемые ею, действительно, имели высокую степень свободы, но душа, отлучившая тело и лишённая тем самым рассудка, утратила мудрость. И — чем виновато тело? Тем ли, что более ее уязвимо для мира?

Покуда происходили перечисленные в предыдущем абзаце события, тело между тем довершало формальности, вкалывало за двоих. И когда они, тело и душа, наконец воссоединились, картина предстала страшная. Царил разор во мне самом, не внутри и не снаружи, везде.

И я вынужден был уехать, бросить единственное прибежище (что мы без дома? изгнанники, не мы сами), телу, питающую меня. Исконно столичный, ис-

конно домашний, я оставлял за спиной Москву и родителей, оставлял, чтобы найти весь мир или попрощаться с последним.

— Пусть посмотрит, как люди живут! — одобрительно говорил отец.

— Да где ты видел, чтобы люди жили? — неодобрительно говорила мать.

Кошка шипела, прося на добавку рыбы или грозя утащить что-нибудь в отместку со стола. Вот у кого самостоятельности и самоуверенности было выше меры (теперь-то она постарела, стала степенна, постепенна и странно грустна, будто что-то поняла сверх положенного ей).

А что мне? Я по-юношески легко простил их несвободу доброты. Всякому кажется, будто отъезд все спешит, затушает, почему и прощают перед отъездом, прощаясь.

«Вынужденная мера, — говорю я. — Вынужденная мера», — говорю, спускаясь в переход на площади Трех вокзалов, поворачивая на подземной разветвке, поднимаясь и ныряя под гулкие своды. С ненавистью вижу: прозрачный лак на взметнувшихся ввысь дверях не лег ровно, однако — застыл коричневыми наплывами, лишь бы течь, не ведая угомону.

Бессонница и полудрема.— Нечто о влиянии Симеона Полоцкого

Моя бессонница томила меня. Дрема то наваливалась, то уходила, то возвращалась, и полудрема мешалась с явью.

За окошком полная темнота, лишь светились одинокие, разбросанные далеко друг от друга окна домов. Огни дрожащие были печальны, будто и не прошло целого века с тех пор, как их воспел некто, хотя огоньки могли бы исчезнуть, ибо, как ни красивы они в натуре, все равно навсегда они хуже тех, воспетых давным-давно.

Неизвестно чья рука, которую закрывали светлые слюдяные тучи, несла впереди поезда оплывшую свечку луны, огоньки теплели пятнышками свежего воска. Зарева станций пролетали вихрем, за окном высверкивала круговерть, хоровод блеска (порой), или желтый фонарик над дверью какого-нито маленького и бесприютного вокзальчика, полустаночка, полуполустаночка.

Я начал задремывать, но где-то часа этак в два, что ли, радио вдруг задышало, забормотало, заговорило, будто оно намолчалось за долгие годы безмолвия. По-ночному уже, задушевным голосом, дикторша объявила: «...ашим многочисленным заявкам повторяем «Песню о России», авторы те же, а я спать пойду...» Грохнул очень большой, большой-большой, самый большой на свете, укрупненный симфонический оркестр.

Потом наступила тишина. Потом мужской голос объявил, что концерт по нашим (он сказал, соответственно, «вашим») заявкам окончен окончательно, но радио, как ни странно, не выключилось. Кто-то, слыше, ведающий нашими душами, нашими заявками, но — главное — и нашими телами, начал транслировать дискуссию между молодыми механизаторами колхоза «Пашущий молот» и молодыми физиками НИИ «Иксмонтаж» на тему: «Влияние Симеона Полоцкого на развитие тенденций русской литературы».

Я возбужденно прислушивался. О многом приходилось догадываться: дискуссию транслировали не сначала, ни тема, ни противоборствующие силы не были сперва понятны.

Механизаторы явно брали верх. Особенно кричал, неистовствуя, один, каковой, вероятно по всему, видел и физиков и Симеона Полоцкого насквозь, в их лимфатических узлах и спайках, и ненавидел до скрежета зубового (в динамике скрипело, когда он тирадствовал). Голос его витал, выбиваясь из нестройного гула молодых голосов механизаторов. Голос властвовал и — нет, не старался доказать или внушить само собой разумеющееся, — а наставлял, учительствовал и негодовал о том, что значение Симеона Полоцкого для вышеозначенных тенденций несколько преувеличено, за криком я и не расслышал, во сколько раз преувеличено это значение.

Голос, ставший самостоятельно субстанцией, все рассказывал, вдохновенно сплевывая, как он пытался читать стихи Полоцкого вслух, но колхозники, однако же, не одобрили мятежного Симеона и его школьную лиру.

Я лежал, слушал и представлял самого, не Полоцкого, но парня: почему-то я представил его рыжим, веснушчатым, со значком ГТО второй степени на лацкане клетчатого пиджака и с верным баяном за спиной.

— Ну чего тебе не спится? — шептал я ему. — Успокойся. Усни, как все почти спят этой ночью. Все люди спят, все звери. Спят собаки и воробьи. Дорога не пылит. Даже кусты придорожные заснули, не дрожат. Помолчи немного, заткнись, и ты отдохнешь. Нет никакого влияния Полоцкого на тенденции русской литературы. Нет, не было, и никогда не могло быть. И не будет никогда. Мы этого не допустим. В крайнем случае обратимся в ООН, чтобы прислали силы быстрого реагирования. Только не кричи так. Не кричи. Прошу тебя. Ради всего святого. Ради всего святого, что есть у тебя, ради твоей матери, ради твоего трактора или комбайна. Ради всех тенденций великой русской литературы, не испакощенной пресловутым влиянием адепта силлабического виршесложения С. Полоцкого.

Он, может быть, и замолчал бы, однако молодые физики мужественным хрипом не согласались, и парень кричал, кричал, кричал.

Пытаясь выключить радиоточку, я обнаружил: регулятор громкости на нее не воздействовал, в стенку динамик вмонтирован наглухо. Я устал еще более. Глаза мои сами закрылись. Я заснул под мерный, мирный, марный перестук колес.

Тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук.

Кошмарное пробуждение. — Семиотика и искусствоведрия

Проснулся я часу в двенадцатом дня, когда светлые дали ломались в оконное стекло, а солнце, щекоча мне глаза сквозь неплотно сомкнутые ресницы, прыгало в дверном зеркале.

Я проснулся от громкого крика.

Спросонья не было возможности разобрать смысла слов, вникнуть в них, а когда я понял, то — ужаснулся. Из радиоточки раздавался торжествующий вседержительский глас:

— Ну, теперь-то вы согласны, что влияние Полоцкого минимально?

Физики безмолвствовали.

Голос взмыл еще круче:

— Ах, они говорить не хотят!.. Игнорируют?.. Ну, ничего, сейчас вы у меня залопочете!.. А ну-ка,— обратился голос к кому-то, дышавшему одобрительно и, по напряженному сопению судя, ждавшему только сигнала,— а ну-ка, вяжи их, ребята!

Послышалось гиканье, пыхтенье, шум борьбы, недолгой, ожесточенной, свист и крики.

— Руки, руки им вяжи! Да не так, раззява, так вот надо... За крюк, за крюк цепляй, а ноги в кольцо продень. А теперича с Божьей помощью подымай...

И откуда-то издали, не вем откуда, из студии, из чистого поля, из темного леса, из «откуда-то», донеслись звуки, которых я доселе никогда не слышал, и оборони Бог услышать еще когда-нибудь. Раздался дикий вопль, затрещали сухожилия и стали лопаться кости, раздробляемые в труху...

— Ну, теперь-то вы согласны? — взмывал голос угрозой и опадал почти ласковостью, готовый чуть что — уступить и смилостивиться.— Теперь-то вы согласны???

В ответ сквозь стон и предсмертную икоту, вырывающуюся изо рта, просочилось:

— Е... равно... эм... це... квадрат...

— Скоки-скоки? — поинтересовался рыжий.

Безмолвие явилось ответом.

— Эйнштейн,— прошептал кто-то,— прими грешную душу раба твоего...

«Неужели?» — подумал я и упал в обморок, перешедший в сон, полный кошмаров. Очнулся я, лишь когда начался концерт по заявкам, и с радостью, как встречаются после долгой разлуки и перенесенного горя со старым верным другом, что утешит и защитит, я прослушал «Песню о России», по временам пытаясь даже мурлыкать в такт.

Я, разумеется, никому не рассказывал о том, чему был невольным свидетелем,— я не смог бы пересказать. Молчание, молчание, как говаривал Гамлет в аналогичном случае. И я молчал. Только к вечеру ко мне потихоньку вернулся дар внешней речи.

Видя мое состояние и пытаясь его развеять, Леопольдовна, добрая моя проводница в выцветшей синей форменке, подошла ко мне. Как ввечеру, она протянула залистанную до двойной толщины книжку «Семиотика и искусствометрия».

— Почитай,— просит она.— А то у меня глаза от работы тяжелые.— И сует книжку в руки.— Все-то подряд не надо, там заложено, где... больше всего... люблю...

— «Инвариантные родовые квалификаторы являются...»

— Погоди,— прерывает она меня,— там еще подальше... Там такое место есть: «В качестве примера квалифицирования жанровых форм нам может служить баллада со своими индикаторами...» и потом. Почитай, пожалуйста, будь ласков, но не части очень, не быстро, а как у нас в школе говорили, с чувством, с толком, с расстановкой, прости господи. Почитай, это мне моего мужика напоминает. Сам понимаешь, долго не видимся...

Я читаю:

— «А. минимальная аффирмация: развитая прямая коммуникативная стратегия...»

Ничего не спрашиваю, считая подобные вопросы бестактными, но она, будто услышав мой затаенный интерес или задумавшись, говорит вполголоса, не прерывая меня:

— Пьет он...

После этих слов воцаряется полная тишина, и я продолжаю.

Лечебная гимнастика.— Путь посреди домов

Вагонные будни были так блаженны, длинны, сонливы и похожи на праздники, что слились воедино. И когда поутру какого-то дня поезд притормозил возле низенького здания вокзала, будто и не притормозил, а присел на корточки, сейчас же собираясь дальше, я и не помнил, сколько дней находился в пути, когда успел привязаться к этим людям: к бригадиру проводников Юре, к Леопольдовне, к другим.

Я выкинул чемодан и выпрыгнул на асфальт платформы, где через глубокие трещины пробивалась еще по-летнему зелененькая, крепкая травка, когда поезд снова пошел, весело запыхтев. Юра высунулся из тамбура и закричал, отдаляясь, отдаляясь: «Не забудь! В случае чего давай к нам!» И долго маячила Юрина голова, пока состав уходил. Издалека движение казалось медленным, его скрадывало пространство.

Я проводил глазами темное пятнышко хвостового вагона, пока и то изгладилось на фоне лесополосы, и повернулся к вокзалу. Под крышей крупными буквами громоздилась надпись «Пустовск». Та же надпись, белой масляной краской, но свежая, жирная, опоясывала вокзальные урны, к тому же каждая имела собственный (порядковый?) номер, и надпись усугублялась, варьировалась, выгляда, например, так: «Пустовск-1» или «Пустовск-3». (Я все помню ярко, словно было сейчас. Сколько времени утекло с тех пор. Жизнь прошла. Но об этом в другой раз.)

Я осмотрелся. На пустой — почти вровень с рельсами — платформе стоял одинокий старичок в тяжелом брезентовом плаще с капюшоном, громыхавшем под ветром, будто жестяной. А немного подальше — тоненькая, молоденькая блондинка, распущенные золотистые волосы ее вились, не по холодной погоде платье высоко открывало ноги, а в руке девушка держала скромный букетик каких-то отвратительных, мерзких, гадких желтых цветов, нет им названия.

Я решительно направился к ней.

— Простите,— интонация моего голоса даже мне показалась возвышенной и восторженной,— вы не подскажете, как пройти в редакцию газеты? Видите ли, я приезжий.— Я мотнул головой назад, в сторону утихших и пустых рельсов.— Я не знаю вашего чудесного города...

Незнакомка не отвечала мне, но широко раскрытые глаза — влажные, в которых отражалось чистое небо и белые облака, — устремлялись навстречу. Сомкнутые ее уста, пухлые и детски розовые, сдерживали то ли взглас, то ли улыбку.

— Не сочтите мои слова за нескромность либо назойливость, — начал я опять, — мне совершенно не хотелось бы выглядеть в ваших («Голубых», — подумал я) глазах нахалом, однако мне в этом превосходном, но чужом покамест городе не к кому обратиться. Я здесь еще так одинок, так одинок. Не могли бы вы взять на себя труд объяснить мне дорогу или хотя бы направление ходьбы к редакции местной газеты, куда я командирован на работу из столицы нашей с вами родины?

При словах «взять на себя труд» девушка улыбнулась, а при словах «или хотя бы» — серебрено засмеялась, но — не единого междометия! Прелестная, она улыбнулась и с легким смешком бросила мне в лицо букетик, растрепавшийся на лету. С таким же серебряным смехом она исчезла в деревянном здании вокзала. Дверь громко хлопнула, и долго ржавая пружина передергивала телом, распрямляясь и скрипя.

Девушка моей мечты: ее улыбка, ее фигура отпечатались в сердце, чтобы снова и снова возникать перед глазами. И я поклялся, что, как только более или менее обустроюсь на новом месте, приложу все силы, чтобы отыскать ее, познакомиться и, может быть...

А старичок стоял, не обращая внимания на лирическую интермедию за спиной. Он напряженно и вождельно вглядывался в даль, откуда катился железный грохот. По гулу и тяжести, сотрясавшей шпалы, было ясно, что шел товарный. Состав приближался, гремя платформами с песком, рефрижераторами и цистернами. Ему не виделось конца.

Остановившись рядом, я крикнул в ухо старичку:

— Простите... как пройти... в редакцию газеты...

Старичок молчал, он был сосредоточен, собран, решительность сквозила в его фигуре, мелкой от макушки до кожаных подошв. Старичок заглянул в записную книжку, будто сверился с чем-то, закрыл книжку удовлетворенно и сунул за отворот «пыльника», оправил, покрепче запахнул плащ. Вдруг старичок подпрыгнул, распрямился в воздухе и плюхнулся на рельсы перед надвигающимся, яростно хрипящим локомотивом.

Поздно! Отпрянув в сторону, сметенный тяжелым воздушным потоком — подальше от гибели, — я не мог закрыть глаза. Не отрываясь, смотрел под колеса, где...

Состав ехал прямо по старичку. Впрочем, тормози или не тормози, все едино! От жаркого мазутного ветра брезентовые полы плаща развевались. Воздушной волной несло песчинки и травяное крошево. Раздался устрашающий хруст — так трещат кости (о, как запомнился этот хруст, слышанный совсем, совсем недавно. Но там люди страдали как-никак за идею!). Стариковские ножки задрались кверху, несерьезно болтались в воздухе, тело вздрагивало, пульсировало под каждой новой колесной парой. Все. Я закрыл глаза. «Станный способ самоуправления. Глубоко продуманный и размеренный. Он смотрел в записную книжку, сверяясь с расписанием...»

Покашливание, звонкое в тишине, как будильник.

Старичок стоял передо мной, щуря коричневенькие изюмные глазки, разминая руками поясницу.

— Ридикюлит измордовал, нацист проклятый... Хорош машшаж. — Старичок осклабился, вспоминая. Он благоденствовал. — Табе в газету?.. Дуй к площади, оттедова направо...

Старичок повернулся ко мне спиной, поднял, не без труда согнувшись, корзину, стоявшую возле, и стал удаляться, еще более уменьшаясь по мере ухода. А я стоял, глядя ему вслед, стоял еще минут пятнадцать, или пятьдесят, или сто четыре и лишь потом обогнул вокзал, направился сперва по зелено-желтой осенней улочке, свернул вместе с ней, еще свернул. И, поблуждав среди домов, увидел центральную площадь.

Я памятник себе воздвиг.— Треснет ли грузовик, на фиг?

Посередине, въехав передними колесами на декоративную лужайку с травой, уже желтеющей, и цветами, уже запоздалыми, ждал грузовик, а два человека в квадратных робах, кепках и пыльных кирзачах сидели на бесформенной гряде чего-то.

Проходя мимо, я услышал оклик. Подошедши, уставился выжидательно на краснолицего мужика в расплывшейся от долгого ношения кепке, краснолицый мужик из-под рваного козырька уставился на меня.

— Спичек нет?.. Братишка...— Он взял коробок, чиркнул спичкой, прикурнул, протянул бережно огонек, затерянный в огромных грязных ладонях, соседу, а когда и тот прикурнул, уже небрежно задул спичку мощным выдохом. Если бы не крепость воздушной струи, сорвавшей пламя со спички, вмиг отброшенной далеко вперед, непременно произошел бы взрыв — так сильно микроскоп его был проспиртован.

Мужик блаженно затянулся дымом. Второй затянулся столь же блаженно, располагаясь поудобнее, вытягивая ноги. Левая штанина его вся переливалась, блестя на солнце пылью.

— Вы штаны испачкали!

— А чего ты хочешь? — философски растягивая слова, интонируя, возразил первый мужик. — Хреновина-то бронзовая...— И он крепко пнул грудь, на которой сидел. Раздался плывущий, растекающийся, многотональный звон громадной металлической массы.

Естественное любопытство качнуло вперед.

— Что это? — указывал я пальцем.

— Да вот, статуй. — Мужик, вероятно, хотел прибавить нечто к своим словам, но передумал.

— «Статуй»? Это что?

— Статуй — значит изображение кого-либо в виде статуя из по возможности твердого материала. — Мужик был назидателен, но добродушен, он был весел перекурком. — Сей лежащий статуй, снятый нашенскими трудовыми руками, как ты говоришь, Васек? — обратился он за добавкой к напарнику.

— Поверженный бестрепетно и бесповоротно, суть, его взад не поставишь...— винтил Васек.

— ...сей бестрепетный статуй стоял тут и символизировал какому-то писателю. Немец, говорят. То ли Вальтер, то ли Браунинг. В общем, пистолет-мужик, а мы его опрокинули навзничь.

Вероятно, я скоро уже ничему не буду удивляться: в жизни столько удивительного, что удивляться надо скорее на то, что не вызывает никакого удивления.

— А чего вы его повалили?

— Да, — он махнул рукой в никуда, символизируя жестом кого-то, кого здесь нет, — начальство сказала, на переплавку пойдет. Международное-то положение-то меняется, как думаешь, или нет? Будут, значит, другой статуй отливать. Групповой, прости за выражение. Символизирующий группой. Писателям братьевым Толстым. Представляешь, — крутанул он кистью правой руки, — цельных три брата, и оба-трое бумагу чиркали, всей кодлой, чем вкалывать почем зря. Но, правда, хорошо чиркали, что им хотят статуй лить.

— ?..

— Братьевым Толстым... Тебя вот как зовут?

— Ингредиент...

— Вот. Ингредиент. А у них самый старшой был Алексей. Средний — Лев, звериное имя, видать, еврей были, Лев. Младшенький — Сашок.

— Как это — Сашок? Его ведь Алексеем звали, как старшего, — сказал я, памятуя, что двое Толстых звались равно.

— Ты не хрюкай, если не знаешь. Слушай, когда отвечают, если спрашивашь... Сказано тебе — Александр. Вишь, и на ноге у него, у Вальтера, написано — Александр. Прораб писал, значит, верно. Как ты говоришь, Васек?

— Бестрепетно и бесповоротно, — сказанул Васек и выплюнул заодно со словами погасшую влажную «беломорину».

— Из одной ноги мы Сашка выльем, из второй — Тигра-зверя. А из головы сделаем старшого, раз старшой, то из головы, кто во всяком деле голова?.. А?.. Вот, старшой — во всяком деле голова. Все, вишь, у нас расписано.

— А остальное куда же? — Я хозяйски посмотрел на груду металла, которой хватило бы для всех близких и дальних родственников писательской плеяды Толстых.

— Во, вишь, не знашь, а лезешь! Куда-куда? Остальное на подставмент! Самое важное. По периметру надпись встанет. Выгравировует Васек по одной книжке из каждого из братьев, чтоб народ помнил, значит, про то они писали рук не покладаячи. А четвертая сторона подставмента на отзывы современников. Это я не знаю зачем, но пускай будет, прораб велел. Сделаю все и в отпуск на море махнем.— Он блаженно завел глаза.— Эх, хорош, мля, подставмент намечается...

Я представил.

— Что же это вы, «Войну и мир» будете гравировать?

— Нет.— самосильно включился в разговор Васек, — мы будем один только мир гравировать, мы такой народ, бестрепетно и бесповоротно!.. Фашистов разбили. А ты не лезь! А сами воевать ни-ни!

— Тяжелая, стерва.— Краснолицый мечтатель снова стукнул ногой по груде металла, и снова поплыл тягучий звон.— Кран, вишь, не дали, грят, сломаётся он. А здесь металлу!.. Ладно, наша работа привычная, мы сизмальства металлисты, да, Васек? Ща перекурим, ща и погрузим. Вот токо боюсь — грузчик треснет на фиг. Как мнение: треснет, нет?

Я пожал плечами.

— Ничего ты не знашь. Ну, не знашь, так отойди от греха, а то зашибем ненароком.

Они взялись с напарником за фигуру таинственного писателя-пистолета и, рунувшись пару раз, раскачали, забросили доселе неверно символизировавшую фигуру в кузов. Машина, заскрипев, осела, но выдержала, только колеса немного выгнулись наружу и раздуло железный кузов изнутри. Мужики вскочили с обеих сторон на подножки:

— Сергуня, с ветерком!

— С триперком,— парировал изнутри невидимый Сергуня.

Он выжал газ. Завилась пыль. Машина укатила, кругло урча.

Вредное влияние на организм холодного воздуха

Дерматиновая дверь поддалась, пахнуло теплом, настоящим на свинцовой краске. Коридор был длинен. Я потыркался в несколько дверей, также обитых коричневым дерматином, из-под которого клоками свисала вата, однако не в пример царившему здесь разору (поломанные стулья, бумажки, рассыпанный по полу набор) двери были заперты аккуратно и крепко. И только в конце коридора дверь была распахнута настезь.

Я постучал в деревянный косяк и на призыв «войдите!» — вошел. Мужчина, что сидел перед пишущей машинкой, кричал сердитым голосом:

— Написано же русскими буквами: «Просьба двери не закрывать!» Устраивают здесь сквозняк кто ни попадя, простудить хотят работника пера.

Я не заметил объяснения, но раз сказано — сказано, а все-таки странное содержалось в его словах.

— Сквозняк бывает скорее при открытой двери,— попробовал я возразить смущенно.

Он обиделся. Он разозлился того пуще.

— Слушайте, раз вы такой... сложный,— подыскал слово,— и надо объяснять каждую мелочь, я объясню, ибо кто, как не представитель печатного органа, обязан объяснять людям правду-матку! В форточку, уважаемый читатель,— он говорил медленно, раздельно, внятно, с чувством, с толком, с расстановкой, чтобы до меня дошло,— как вам известно,— глянул подозрительно,— из курса школьной физики, заходит холодный воздух, являющийся принадлежностью некоторых отдельных сезонов года. Ветер, скажем. Если дверь открыта, воздух проходит дальше, в нежилые помещения, а закрыта, так остается в комнате и вредно влияет на организм обитателей. И, собственно, по какому вы делу?

— Да, в общем, так.— Я протянул документы.

— А, молодой специалист! — сказал он, прочитав, и отмяк.— Ну-ка, помоги! — указал на педаль под столом.— Дави.— Я начал давить.— Дави-дави! Не стесняйся.

— Зачем давить? — Вопрос возник сам собой после сотого или стопятидесятого качка.

— Машинка, понимаешь, электрическая. Ток ей нужен.— Я взглянул недоуменно.— Ток,— уточнил он.

— А электростанция?

Вот с этим пока временные неурядицы: признак живого дела. Тут опечатака, понимаешь, вкралась. При ремонте перетянули проводку, но диаметр маловат оказался. Тонкий провод пошел — ток застревает. Но мы пытаемся регулярно воздействовать посредством печатного органа.

Будучи искренним, я не совсем понял, на кого они пытаются воздействовать — на проводку, вероятно? — однако переспрашивать не хотел. И не мог. Я задыхался. Я давил педаль. Он оживленно бил по клавишам. Только раз прервал работу.

— Слушай, а что такое — механизм из семи букв? — Я пожал плечами.— А, сам догадался! Маховик. Дави! — И снова застучал как оголтелый. В каретку был запроваден кроссворд из московской «Вечерки».— Профессиональная привычка: сразу на машинку — и в номер. Чтоб я помер,— добавил он,— и потом трудились, покуда не разгадал подчистую.

— Молодец. Хорошо педаль давишь.— Кивнул головой удовлетворенно.— Думаю, мы сработаемся.

Введение в специальность.— Ночные грезы

— Штат у нас маленький,— объяснял он вечером, когда я устроился в одной из комнат этого красного кирпича домика, обжитого деревьями и травами.— Штат маленький, только я, а теперь ты. Правда, есть еще внештатники всякие... Познакомишься, сразу поймешь, что к чему. А газета выходить должна шесть раз в неделю, четыре полосы. И многое стоит отразить — и встречающиеся кое-где недостатки, и, куда ни кинь, коренящиеся достоинства, короче, все. С «Вечерним Пустовском» проще, тут одна голая информация, кого где побили, впрочем, это редко. А так... чем народ дышит, где танцы, под какую музыку, что в клубе показывают. Вы чего в институте вашем проходили?

— Я учился на отделении одической поэзии,— ответил я гордо, утаив пасторали, и был мгновенно посрамлен.

— Этого нам не надо, точнее, надо, но — к праздникам. А здесь в основном чаще суровые будни. Ты гражданином являйся, а поэтом станешь на досуге. Вот, бери пример с Владимира Высоцкого: всегда правду пел, даже когда не было надобности... Думаю, научишься. Репортеру ноги нужны в первую голову, а ноги у тебя сильные. Спортом не занимался?

— Нет, спортом не занимался.

— Когда обживешься, займешься. Побежишь на приз «Вечернего Пустовска». Марафон. Эх, когда-то и мы марафоны бегали! — Он потер рука об руку. Помолчал.— Парень ты вроде работающий. Попробуем тебя на выезде. Пойдешь ты... Пойдешь ты... — Он долго рылся в блокноте.— Для начала простенькое тебе дается дело. Типичный, понимаешь ли, случай. Разберись и напиши. Улица Лесная, шесть. Там наш знаменитый грибник живет. Поговори с ним. Вообще побеседуй. Там что-то связано то ли с войной, то ли с грибами. Приблизительно помню. Ты его сам расспроси. Рискуй, но без риска. Дерзай. Но чтобы никакой дерзости. Я строгий! — И громко клацнул зубами.— Спи.

Ушел редактор, по привычке оставив открытой дверь. Я улегся на койку. панцирная сетка звякнула. Надо обдумать впечатления, разложить по полочкам. Надо записать хоть сколько-то строчек в дневник про запас. Но, дыша пылью пожелтевших газет, сваленных всюду, я думал: как-то завтра выполню задание редактора? Смогу ли? Заладится ли? Разговоримся ли со старым грибником? С этих мыслей я перешел на воспоминания, и образ прелестной девушки вытеснил прочее.

Грезы перешли в дремоту, а затем в сон.

Я спал беспробудно, утонув в забвении, безмятежно. Мне ничего не приснилось, кроме рабочих, впрочем, грузивших статую братьев Толстых, старичка, лечащего радикулит под колесами, да еще все казалось, будто ток застывает, застревает, застревает, сбивается в комки и уплотняется, начинает выпираться через хлорвиниловую оплетку, и во избежание катастрофы надо влезть в провода и прочистить их, протолкнуть электрический ток резиновой палкой — как положено по технике безопасности. «А главное,— не касаться земли, а то дерябнет»,— говорит редактор, придерживая меня за щиколотки на весу.

Я столько внимания уделяю своим сновидениям потому, что на долгое время, на... или даже на... сновидения станут для меня главным времяпрепровождением и достоянием, надеждой и опорой без страха и упрека, словом и делом, защитой и нападением, духом и телом, физкультурой и спортом, старшиной-сержантом, сциллой и харибдой, анной и Мариной, альфой и омегой, хрией и синопсисом, слоном и москвой, когда затеяли они сыграть квартет, а все-таки квартет на лад нейдет, и выйдет из него не дело, только мука (когда в товарищах согласия нет), однажды Лебедь, Рак и Щука затеяли сыграть квартет, а все-таки квартет на лад нейдет (когда в товарищах согласия нет), и выйдет (из него) не дело, только мука... Бесконечная песня без слов, передающая мою усталость и мои сомнения — всегдашнее мое тогдашнее состояние...

Лесная улица, шесть, и весь город.— Старый знакомый

Лесная улица лежала на самой окраине. Впрочем, в Пустовске везде, куда ни кинь — окраина без всякого центра. Но это и хорошо: тихо, спокойно, патриархально (или матримониально? не помню). Помню, вела туда серая, утоптанная едва ли не до прочности асфальта, просторная земляная дорога. Я шел на Лесную улицу, 6, а заодно осматривал весь город.

Окончание «ок» очень бы подошло для его характеристики, если бы не то обстоятельство, что Пустовск являлся районным центром (ах, вот где находился центр его!!). Мне пришлось в голову, что когда осенью особенно задождит и ветер вовсю разъярится, облетят деревья, то город можно будет увидеть навозь, так он будет мал и прозрачен.

Районный город, состоящий из двух- или трехэтажных домов, разных, совершенно различных, и своей оригинальностью очень схожих между собой. Таким же затейливым и похожим на прочие был и дом под номером 6: резные наличники и косяки ручной работы, крыша покосившаяся, давненько не крашенная.

Я еще приду к этому дому в своем рассказе, а пока я по дороге решил пообедать и забрел в чайную. Над раздаточным окошком (впрочем, сначала о том, что всюду витал чад, от которого возникала сытость, пресыщение даже), а над окошком, висящим в чаду, прикиплено объявление: «Суп не будем готовить, пока этот не съедите! Администрация!!»

И к чайной тянулись и тянулись люди. Они шли то по одному, то парами, то по несколько человек сразу. Они шли. Они были знакомы. Подходя, здоровались: крепко, за руку.

— Как дела? — спрашивали они. — Как дома? Все здоровы? Почему Марья Павловна не пришла кушать суп? Уж не хворает ли? Нет? Ну, передавайте поклоны, — и становились в очередь к раздаточному окошку.

Они протягивали деньги, получали тарелки с супом. Бережно прижимали их к груди. Брли с подноса повлажневший от пара хлеб. Брли ложки, в желтых жирных каплях по голубоватому алюминию. Рассаживались. — Ну, приятного аппетита! — говорили друг другу. Поднимали ложки. — Хорош супец! — хвалили. — А ну еще тарелочку, что ли?.. — Устремлялись к раздаточному окошку. — Насыпь пощедрей, хозяйка, — улыбались усталой поварихе.

Я не принял участия в общем деле доедания супа. Слаб, да я и не хотел супа. Я съел «плов по-узбекски» и запил его полупрозрачным чаем. Когда я остановился перед домиком на Лесной, меня мутило и подташнивало от экзотического блюда. «Ничего себе представитель прессы», — но против природы не попрешь, я европеец, куда мне плов! Знаю — куда...

Из косяка зеленой двери торчал шнур с деревянной ручкой.

Осторожно, однако и с нетерпением, потянул я ручку. И звона не было. Потянул сильнее. Опять молчание. Тогда я дернул ручку изо всей оставшейся силы, звякнуло и замолкло. Пока я безуспешно — вполне — пытался подать сигнал о своем присутствии здесь, мне казалось, будто кто-то пристально смотрит, изучая меня. Кто смотрел и откуда? Окна закрыты ставнями наглухо, дверь без глазка.

Я еще раз дернул ручку, без особой, правда, надежды на то. Наконец, раздалось крепкое постукивание железного, громко перекатываемое гулким эхом. Дверь открыл старичок, тот самый любитель действенного массажа. Был он теперь без плаща, в защитном френче, в широченных штанах-галифе, тоже защитных, и в хромовых сапогах, начищенных до весеннего блеска.

— Ваши документы! — бодро произнес грибник и после долго разглядывал корреспондентское удостоверение.

Видно, ему показалось мало, я извлек из кармана весь наличный запас бумажек, до чека из чайной включительно. Старичок нехотя крикнул «ишь чего» и пропустил меня в приотворенную дверь. Подтолкнул вперед, в ярко освещенный коридор. Так вот почему звучало эхо! — пол в коридоре и, как оказалось, повсеместно в домике, был наслан из листовой стали, туго выпирали заклепки. Окна забраны решетками изнутри.

Старичок шел позади, постукивал железными свежими подковками и звонко прицокивал языком. Мы шли внутри звона, который крутился, крутился воронкой.

Мы вошли в дальнюю комнатку, сели напротив друг друга.

За спиной старичка висел «маузер» в лакированной деревянной кобуре с монограммой на медной бляшке.

— Так что хотели? — спросил старичок, зажигая настольную лампу, направляя свет мне прямо в глаза.

— Где у вас тут... туалет?

— Встать,— заорал старичок что есть мочи,— кругом!.. Руки за спину, вперед!.. Сдать шнурки и ремень! — заорал старичок у сортира.

Я торопливо вытянул из ботинок шнурки, отдал ремень.

— Вперед, дверь не закрывать. Две минуты. Время пошло!..

Двух минут хватило с лихвой. Мы вернулись.

— Еще вопросы? — обратился ко мне известный грибник, возвращая ремень и один шнурок (второй он куда-то задевал, а попросить я не решился).

Разговаривал он неохотно, резко, но порою будто спохватывался, пытался смягчить выражение лица, изобразить умильную старость. На вопрос же о странном материале для пола ответил туманно, при том заулыбался собственным мыслям, почти счастливый: «Угу». И замолчал.

— Итак,— блокнот извлечен, раскрыт, авторучка занесена,— какой же с вами случай произошел?

Старичок покосился на блокнот, посмотрел со злостью, потом что-то осознал, и елей разлился у него по лицу, закапал с губ.

— А с нами никаких случаев не происходит.

— И все-таки. Ваша грибная вылазка...

— А это не случай, это был... — Он посмотрел на меня пристально, оценивая, стоит ли рассказывать хоть что-нибудь, но продолжил: — Ну, пошел раз, недель пять тому, по грибы. Вот. Гляжу — гриб чуть прениже, значитца, сосны. Его потому и не нашел никто, что он чуть прениже, не выступает ни вверх, ни вниз. Только-только хотел я его срезать, ножик вытащил, оттогода человек шесть мужиков с автоматами и стали по мне крыть-палить, да токо не попали, нацисты. Я кричу: «Ложись, сволоча, скидай оружие! Вы повдоль окружены войсками». Они оружия покидали, сжались, почем зря. Я их взял. В лукошко. Гриб, само-собойно, тоже прихватил, хоть они его изнутри весь испоганили. Загрязнили, испысали да словами любыми исчеркали, лень выходить было наружу да и боязно, захватчика. Вот. Взял и прямиком в отделение. Оказалось, гриб-от немного червак побил и в ем фашисты-супостаты с войны прятались, доедали, чего червак не сгрыз. Зондеркоманда СС. Вот сейчас их за нарушение порядка и оштрафовали. Плюс за ношение оружиев я по пять лет схлопотал каждому — знакомые есть еще,— веско добавил грибник.— И весь случай.

— ...

— От дальнейшей дачи показаний отказываюсь,— твердо заявил грибник.

— И про жизнь?

— А про жизнь нашу болтать нечего.— Он кивнул туда, где висел, поблескивая. «маузер».— Наскрозь чиста.— И улыбнулся.— Ты по удостоверению писатель. Вот и пиши. Тебе деньги плотют. А ежели чего не так напишешь, общественность спросит,— опять кивнул, и глаза потемнели.

Класс репортерской работы.— Глядя в потолок

И началось. Чего бы я ни делал — давил педаль, добываясь тока, разбирался в ящике письменного стола, большими ножницами резал бумагу для текущего тиража или же — вечером — у себя в комнате просматривал прежние номера газет, я обдумывал будущую статью. И так, и эдак — с одного конца брался за тему, с другого — слова не ложились в строку. Редактор, старший товарищ и друг, пытался подсказать, поправить:

— Начни с простого...

Я вышагивал, мысля, из конца в конец редакционной комнаты. О, как я устал! Надо отдохнуть. Я подошел к большому креслу возле стены, повернулся спиной, чтобы сесть...

— Не садись! Ни в коем случае не садись! — крикнул редактор, но было поздно.

Я сел и заснул. Откуда мне было знать, что любой, кто бы ни был, садясь в это кресло, засыпал — конфигурация спинки и сиденья его таковы: тело занимало удобное положение, сон обрушивался мгновенно.

Спал я более суток кряду.

Редактор глядел на мой страдания, потом на мой сон, даже просрочив номер, в который назначалась статья, но все же не выдержал. Насилу растолкав меня для добычи тока, он сел за машинку и в течение пятнадцати с четвертью минут настучал шестистраничную статью с фотографией.

— Как ты работаешь? — спросил редактор.— Покажи-ка, братец, черновики.

Я протянул пять исписанных вкривь и вкось школьных тетрадей. Он пролистал.

— Что ты мучаешься? Пишешь «шел дождь». Разве был дождь? То-то же, ложь в газете порождает обман... И варианты — «дождь шел». И это — «светило солнце». Не надо экскурсов, древнерусских зачинов: «Ой ты, гой еси...» Для начала нужна броская фраза. Смотри, к примеру: «Передо мной сидел наш знатный грибник и партизан Платон Иванович Сидоров с изборожденным морщинами от долгих трудов лицом». Сразу и биографию излагаем, и внешний вид героя даем. В газете места мало, следует писать компактно. Газета — не литература, а много выше. Впрочем... — он задумался грустновато, — ты тоже в чем-то прав, только не могу понять, в чем. Ты не можешь так, как я, а я, как ты. Каждому — свое, как в народе говорится.— Редактор похлопал меня по плечу: мол, ничего, еще научишься! И отпустил «на сегодня» спать.

Я был посрамлен, я был раздавлен. Я упал на панцирную сетку (так гимнаст падает из-под купола цирка). И думал, уставившись в потолок, оклеенный газетами былых столетий.

Раздумья.— Сон

Всего и времени-то прошло, что я выехал из Москвы: на календаре суббота, значит... Всего и времени-то, а сколь многое изменилось. Я столкнулся с жизнью, какой не видел. И — еще — я разучился (нет, честнее, пытаюсь) удивляться.

Надо радоваться всему. Есть трава, и она зеленая. Это столь необычно — быть счастливым: небо голубое, птицы поют, спрятавшись в хитросплетениях, зарослей темных ветвей чего-нибудь, завитком вписавшись в картинку-ребус «Найди-ка птичку». И если ты тихо, тихонечко, неслышно подойдешь, подкравишься поближе, то возможно увидеть маленький, теплый, пульсирующий комо-

чек перьев, комочек, поющий столь ненатурально, столь громко, столь очаровывающе, что... Будто песня — принадлежность высшей механики, огромного оркестриона природы, запутавшегося в собственных крючках и трубках.

...От размыслений, спасаясь, боясь огромности и новизны мира, я нырнул в сон. Спал-спал-спал, ничего не слыша, не будимый даже телефонными звонками (телефоны в эти дни непрерывно звонили, мы не снимали трубок. «Конец месяца, — объяснил редактор, — остатки звона утилизируют»).

Вторая попытка. — Славное начинание

Редактор сказал назавтра:

— Хотя ты пока не спортсмен, привыкай — за тобой вторая попытка. Сходи в Пустовет и разузнай получше. Что-то они там задумали. Новое. Напишешь что.

Бреду по улицам городка, которые под стать перу Антона Чехова, но не моему перу. Выхожу на центральную площадь, где уже воздвигнут памятник братьевым Толстым. Они стоят оба-трое, все, как один, крепкие, единого роста. Стоят в обнимку, положив руки на плечи друг другу. Смотрю и вспоминаю, что говорил на этом самом месте краснолицый грузчик. Я недооценил, конечно, его слова, но теперь...

Он говорил тогда: «Все в жизни — дело семейное. Кто от семейственности отстанет, тот — отрезанный ломоть, тому — не дорога. Вот, глянь, писателя, а — тоже дело семейное. Другу дружке они поддержку оказывают, когда кто заболел или запил, скажем... А что — и запил, обстоятельство житейское. Вот. И работа легче спорится. Или вот я, например, возьми: я грузчик, и отец у меня грузчик, и мать — грузчик, и все братьевья — грузчики. Ну, там, сеструхи, деверя — это как водится... Что они мне не помогут, что ль, когда надо, а? Помогут. Что я им не помогу, что ль, когда надо? Помогут. Главное — чтобы все вместе, — и философически длинно сплунул.

Я думаю: а кто же поможет мне? Зачем я оторвался, отложился от своей семьи? Почему? Неужели я отрезанный ломоть?.. Неужели мне не дорога?.. Жил бы сейчас тихонько в Москве, исполнял редакторскую работу, бумажную, пыльную, но привычную, милую, и знал бы, что мне всегда помогут мать и отец. А вместо этого... Ах, да чего говорить!

Одинокий, я пришел в Пустовет, долго двигался по коридорам, плутая, разглядывал таблички. Комната номер два, комната номер четыре. Инициатор оказался разговорчивым человечком из комнаты номер десять, который предупредительно и любовно усадил меня в глубокое кресло:

— Задумали мы вот какое дело. Вы подробней, подробней записывайте, товарищ корреспондент. Хотим мы, это... от столицы не отрываться. Потрясти, можно сказать, всю страну, а особенно зарубеж. Хотим мы построить в нашем городе собственное, понимаете ли, метро.

— ...?

— Да-да, не удивляйтесь, а точнее, удивляйтесь. Представляю, как выкачают zenки на Западе, если на Востоке глаза на лоб лезут! У нас даже в самом, можно сказать, районном, можно сказать, городке — и — собственное метро! Вы записывайте, записывайте. Дело для нас, конечно, новое, но на энтузиазме мы и его освоим. Подключим молодежь, не все же им музыку железную слушать. А пионеры металлолomu наберут откуда ни попадя. Пенсионеры могут ямы копать на субботниках. Для себя же копаем, не для дяди Сэма.

— А какие цифры?

Он сразу сник. Нервно оправил пиджак, блеснул на лацкане значок с надписью «Цатый съезд ГТО».

— Хм... — Он замаялся, заканючил: — Цифры покамест не слишком впечатляющие, ежели их брать напрямую, но в процентном отношении, — гордо вскинул голову, — кое-что выражают. Наш городок, который в 18 437 раз меньше Осаки, будет иметь метро всего в 87 раз меньше парижского! Одна станция у вокзала, другая здесь, на Площади имени писателей Толстых. Но ничего, ничего! — возвысил радостный голос. — Пусть для начала всего две, как две руки у рабочего класса в отличие от заgreбущих деятелей капитала. Это даже символично — всего две станции: как рабочий и колхозница, мужчина и женщина,

восток и запад, север и юг. Зато в следующем году мы планируем сделать малое кольцо из трех станций... Мда... — Он понурился. — Только, однако же, упрямая вещь — цифры. Если мы одну станцию прибавим, а город все такой же будет оставаться, очень поколеблется наше относительное сопоставление с Парижем. И ни в какую... — Немного воспрял. — Но есть надежда на трудящихся парижан, на их сознательность. В наших интересах, как ни покажется парадоксальным, чтобы французский Париж развивался интенсивней.

Я решил как-то помочь ему:

— Значит, и обратно, чтобы Пустовск развивался медленнее или вовсе не развивался?

— Что? Что?? Это интересно, интересно... Совершенно неожиданный поворот. — Он задумался творчески. — А если нам Пустовск сокращать? Не резко, нет, а так, постепенно? А Париж в это время будет развиваться? Так сказать, нарастит темпы? Свести, понимаете ли, наш город к периметру трех станций? А потом и вообще... Впрочем, тут дело будущего. А пока — весь город станет метрофицирован. Можно так выразиться? Как филологически правильно? — И, не дожидаясь ответа, размышлял: — Вот куда лишних горожан деть? Многие по окраинам да по частному сектору живут... разбросаны...

— А стоит ли?

— Что — стоит? — не понял собеседник. — Что — стоит?

— Вообще...

Гражданин оживился:

— Что же вы сомневаетесь, голубчик? А еще представитель нашей славной прессы, лучшие сыны которой и дочери никогда не сомневались, не сомневаются и, не сомневаюсь, сомневаться не будут. Да и другим не дадут. Ведь с нашими детьми, с нашей славной молодежью, с их беззаветной преданностью и преданной беззаветностью... — Он ликовал от собственных слов. — У нас и композитор складывает кантату в честь открытия метрополитена. Он пока работает на рояле, но пусть только создаст, мы уже заказали синтезатор. Скоро привезут. А школьники? Вы недооцениваете силу нашего призыва, достаточно свистнуть боевой сигнал!.. Вы скептик, пессимист, наверняка последователь буржуазного философа Марка Аврелия. То-то, чувствую, душок-то не наш. — Он принялся ко мне.

— Это импортный одеколон пахнет, — возразил я ему.

— То-то и есть, то-то и есть, что импортный. Вы низкопоклонник, вы уподобчик, а еще так молоды, — пошел он на понижение голоса. — Ничего-то ты не знаешь, ничего не видел... Дерево ты посадил хоть одно?

— Нет.

— А дом построил? А сына родил?

Я отрицательно покачал головой.

— Вот, вот! — сказал он, торжествуяще негодуя. — Еще ничего не сделал, а тоже туда же! — Встал в позу, поднявшись со стула. — Ведь ты не знаешь самое простое, ведь ты не знаешь, что такое жизнь, не знаешь ты, что жить на свете стоит. И я позвоню, поз-зво-ню вам в редакцию, — закончил он достаточно неожиданно (неожиданно в смысле, что закончил, а не то, что закончил неожиданно, но по крайней мере вполне достаточно).

Прощаясь, на всякий случай я попросил адрес композитора (не напишу статью, так напечатаем текст с нотами под рубрикой «Разучи песню, товарищ»).

Человек задумался.

— Зачем тебе? Хочешь, чтобы композитор с вашего голоса пел? Или на шу песню надеетесь испортить? — Но адрес дал.

Я шел и думал, шел и думал (точнее, шел мало, а думал много), что весело станет жить в городке, где даже автобусом ездить некуда, зато скоро здесь проляжет метро. Впрочем, когда оно здесь проляжет, надеюсь, меня не будет в этом славном, лучшем районном городе лучшего из миров.

Ничего

Нет, не был я подготовлен в нашем институте для славной газетной работы. Надо начать жить заново. Заняться бегом, учиться слову.

По дороге обратно забрел я в универмаг, чтобы купить спортивную форму. Тихо в универмаге. Осень. Пусты прилавки. Вешалки облетели. Только в углу секция полна. «Трусы для третьеразрядников» — значится на ярлыках. Рано покупать такие трусы. Рано еще. Не по чину...

Редактор накричал в первый раз за все время.

— Нельзя искать легких путей в искусстве! — кричал он, размахивая руками. — Нельзя! Тем более в таком сложном, как текущая газетная работа! — Преисполненный волнения, он бросился в кресло.

Телефон трезвонил без умолку, редактор похрапывал. Поздняя муха кружила-кружила и села на подлокотник. Скатилась редактору на колени, приклонила зеленую голову.

На дне папиросной реки

Я лежал, не ища легких путей, окруженный кипами старых газет. И грустил.

Все правильно, думал, вдыхая запах застоявшейся (залежавшейся? завалявшейся?) пыли. Что я сделал за это время? Погубил два задания, подвел редактора. Это в плане общественном. А в плане личном? Тетрадь для од не тронута в глубине чемодана под чистыми сорочками, чиста. Что еще? Полюбил, но не знаю, где живет любимая, встречу ли ее вновь.

Колечки дыма поднимались, сизые и, чем выше, тем более истончаясь, расходились в никуда, как круги по воде. А я лежал на дне этой медлительной речки отчаянья, и курил, и смотрел, как колечки дыма поднимались все выше, на поверхность. Лежал, сглатывая горькие слезы.

Под шелест газетных страниц

Редактор вошел неслышно, присел в ногах, словно возле больного.

— Ничего. Найдем тебе дело без выезда. И правда, чего шляться? Сиди тут, пиши да вычеркивай. Можно прямо литературную страничку делать. Правда ведь?..

Правда ведь?

— А пока почитай прошлые номера, почувствуй уровень. Нужно было и начать-то с этого, а я, дурак, вовремя не подсказал. Ты уровень не почувствовал, плохо и получается. Здесь ведь тоже не Гомеры и не Джамбулы работали!

...С развернутых страниц поднялись мутное облако пыли и выводок моли. Листы шершаво касались пальцев. Я просматривал заголовки.

Жизнь и судьба

И заснул. И проснулся, услышав зов: «Помогите!» Как помогу? — сам я сир, мал и устал очень, спать хочу. Я заснул вновь. И проснулся: под ухом звучал похоронный марш.

Оделся и вышел на улицу. Был полдень. И возле соседнего домика стояла толпа людей. Венки, венки, шелестят цветы. Старушки в черных поношенных платьях, траурные ленты. Оркестр. Всхлипывания и рыдания.

Встал позади и я. Слушал, как тихо рассказывает старушка старушке, не позабывая креститься и плакать:

— Положили его, родимого, в воду. А он полежал-полежал да и стал тонуть. Помогите! — кричит, да пока добегут! Дети услышали, позвали. Прибежали. А уж поздно. Вытащили, искусственное дыхание делали-делали, рот в рот, с машшажом. Все едино преставился. Живое-то искусственным не заменишь.

— Кого хоронят-то? — спросил кто-то из подошедших.

— Да нешто не знаешь? Чайный гриб из двадцатого дома...

— А!.. Хороший был парень. И молодой еще.

— Молодой, молодой, — радостно закивали старушки. — Только с флота пришел. Вот и будут хоронить по-флотски. Грят, как матросов хоронют. При-

вжуют к родимому колосники да в банку снов. Поверху венки пустуют, из свежих цветов. Хорошо!.. Всем бы так... А на поминки — макароны сделают и компот. Из сухофруктов!

Вынесли самого — в круглом дубовом гробу, изукрашенном бязью, кружавчиками и тафтой. Широкая грудь страдальца была открыта и синела наколками: по вантам неспешных парусников карабкались молоденькие красотики, темнея распахнутым чревом, морские черти тыкали пальцем повсюду, а по периметру виднелась здравица родному Пустовску — порту земли и небес.

Заиграл оркестр, зарыдали пуще. Я заснул. И очнулся у себя — кто перенес? Весь день листал газеты.

Предупреждение редактора сбывается.— Личности и типы

Теперь я занимался литературной страничкой, а редактор бегал на выезде, собирая материал по городку и всяем. На собственной шкуре я почувствовал то, что горек даровой хлеб и как круты чужие лестницы. И еще одно, о чем предупреждал редактор: добровольных помощников у любой, мало-мальски захудалой, газетки — много. И среди них — не к ночи будь помянуто! чур меня, чур! — встречаются всякие типы и личности.

Первым появился человек с лихорадочным блеском зрачков, произнесший скороговоркой, что принес заметку, не требующую отлагательств, ее сейчас же надо заслать в набор.

Шесть пятнадцать утра по местному времени. Светло, но солнце не встало, и этот свет был светом без солнечных лучей, одним лишь светом, как в те дни, когда сотворение мира не состоялось и только свет отделен от мрака.

Сам я оказался в редакционной комнате отнюдь не по работе, а решив проверить — закрыта форточка или нет. Ночь напролет дуло, я долго крепился, но, дрожа от утреннего озноба, был потрясен, увидев его, посетителя, одетого, выспавшегося, ожидающего со сдержанным нетерпением.

Он увидел меня, воспрял, заговорил убежденно. И запнулся вдруг на полуслове, когда я сказал: завтрашний номер сверстан. Ужас во мгновение ока передернул его лицо.

— Это точно?

Вопрос показался мне излишним и, вытягиваясь плечом в темный коридор, ширина которого (всего три шага) отделяла меня от невыставленной постели, зло буркнул:

— Приблизительно.

Он не обиделся, он заглянул мне в лицо, придерживая при том за локоть, он спросил:

— Вы уверены?..

— В чем? — чувствуя, что с каждым произнесенным словом ускользает накопленное тепло. — В чем уверен?

— Что завтрашний номер сверстан?

— Еще позавчера. — Злость поднимала мне плечи, вздувала шею.

Он не внял. Он с надеждой смотрел в мои глаза, пока я смотрел в его — с ненавистью.

— Может, что-нибудь еще можно сделать? — заискивающе зашептал он, и перед моим лицом всплыла огромная ладонь, на которой краснел червонец. — Может быть, вы ошиблись и еще можно что-нибудь сделать?

Услышав отрицательные слова, он, держа левую руку с червонцем, правую сунул за борт пиджака и вынул сжавшую револьвер системы «наган». Курок был взведен, человек приставил дуло к своей груди и печально спросил:

— Так вы уверены?

Я поспешил ответить «да». Раздался выстрел. Револьвер вывалился из его руки, тяжело рухнул на пол, в доске образовалась глубокая выбоина. Переступая на ватных ногах, посетитель медленно накренился, кровь из раны оставила на сером полу по-школьному беззащитные кляксы. Оседая, человек смотрел мне в лицо, снизу вверх, а в стекленеющих глазах его стыл вопрос. Тело упало с шумом, распласталось. Через пену на губах я расслышал глухое:

— Может, что-нибудь можно сделать?.. Переверстать?..

— Только в послезавтрашний номер.

Он встал, подхватил револьвер, заткнул рану пальцем, вышел, пошатываясь, из кармана торчала рукопись. За человеком тянулась пунктирная алая линия.

Другой одержимый являлся полной противоположностью первому: никакого надрыва, печали, заискивания. Улыбка, шутки, энергия, выдержка. Он был фотографом.

— Я с местным начальством не в ладах.— Фотограф раскинулся вольготное на стуле.— Ни черта не понимают. Ни черта! Это все рутина — газета и прочее. Время диктует новые формы. Остановленное мгновение, «ню» повседневности. Слова давно проходят мимо... Резкость, диафрагма, броский ракурс, тема без ханжества — вот новое искусство. Ведь вместо сводки погоды можно дать изображение солнца, ветра... Не тягомотный отчет о надоях молока, которое еще надоили ли. Триста литров, четыреста литров... Кого это сейчас впечатлит? А ты опубликуй фотографию коровы в окружении трехсот литровых бидонов. Пусть читатель станет зрителем, пусть сам считает. На что ему пальцы даны? Чего разжевывать? Люди понимают жизнь глубже, чем привыкли думать бонзы от культуры...

Фотограф устал сидеть, вскочил, прошелся туда-сюда и сел, перевернув стул спинкой к себе, положил руки и утвердил сверху подбородок. Фотоаппарат, соскользнув в пространство между сиденьем и спинкой стула, закачался мерно, сокращая амплитуду колебаний.

— Есть у меня на примете одна темка... Местные читатели, конечно, до нее не доросли, но мы их подыдем. Таково назначение искусства — болванов за шиворот тащить... Открыли новую баню, слышал?

— Ну.

— Пойдем! Сейчас же.

— Куда?

— В баню! И не отнекивайся. Ты что, ретроград, рутинер?

Слабы мои отнекивания, слабы упорство и отговоры... Не знаю, как, но приволок меня-таки к бане, переведя через пустырь, заваленный строительным сором — всеми этими кадушками с окаменевшим цементом, кирпичами, обломками бетонных панелей. И подтолкнул к дыре в стенке кирпичного здания. Я сопротивлялся, но он заставил.

Когда пар чуть спал, а глаза мои притерпелись к непривычной среде, я увидел... как из хаоса, смуты, постепенно обретая очертания, возникла та, которую я... Та, которая мне... Та, которая... Незнакомка, встреченная мной на вокзале.

— Ну что,— закричал за спиной фотограф,— любопытные кадры? Может, возьмем интервью?

Не разбирая дороги, я ринулся вперед, желая быстрее оказаться рядом. Фотограф, удивленный острой реакцией, но и обрадованный ею, еле поспевал. Мы проскочили предбанник, кассу и ворвались в женское отделение.

Пространщица закрыла распахнутой грудью вход в мыльный зал.

— Куда в одеже? Не пушу!

Фотограф отодвинул ее вежливо в сторону:

— Не видишь, бабуся, пресса!

Погрузившись в клубы пара, я искал Незнакомку, всех встречавшихся на пути оглядывая внимательно и разочарованно. Мой спутник понял, что я кого-то ищу, и стал помогать. Он отыскивал женщин в этом пару, предъявлял мне и спрашивал: «Эта?»

Я отрицательно качал головой. Мы обшаривали скамейки в мыльном зале, скользя по полу, натываясь на тапки и — потому — гремя. Пар в одном углу распахнулся, на скамейке страстно лежала женщина, а ее обнимал мужчина. Биясь в соитии.

Фотограф придержал меня за рукав:

— Погоди, я тебе сейчас по Фрейду все объясню...

Но я пошел дальше, и пар сомкнулся.

И двадцать, и двадцать пять минут блуждали мы: я — чтобы встретить, как мне казалось, предназначенное судьбой, фотограф — за компанию. Нет. Ее не было, не было...

Пространщица стояла возле дверей, говоря укоризненно:

— Мокрые, а еще пресса!

Фотограф был зол и раздражен:

— Пресса, пресса... Безобразие! Снимать трудно. Жарко. И пар везде!

— Посетители довольные...

— Ах, довольные? — Фотограф решил сразить пространщицу и рассказал об увиденном.

— Мужик в халате был?

— А черт его знает... Не помню.

— Если в халате, то — банщик.

— А если без халата? — полюбопытствовал фотограф.

— Без халата, может быть, тоже банщик...

— А как не банщик?

— Тогда не порядок, — забеспокоилась старуха. — На какой лавке? — И стала подтягивать резиновые сапоги. — Ревматизм замучил. Почитай, всюю жизнь в воде, будто русалка... Хотя бы хвост быстрее отрос. — Пока она готовилась, из дверей, из клубящегося смутного облака, появился мужик, застегивая на животе халат.

— Да вот он, — указал фотограф.

— А... Это — банщик.

Поникнув головой, я двинулся к выходу.

— Подожди, — крикнул фотограф, — пару снимков в вечерний выпуск! Трудовые будни работников банно-прачечного цеха...

Третий тип, или третья личность, с которой пришлось столкнуться в редакции... Хотя ни типом, ни личностью его — или их? — назвать нельзя, дело в том, что...

...Однажды скромно постучали, на отклик «войдите» дверь распахнулась и вошел человек, который имел на плечах не одну и даже не две, а три головы. Несмотря на теплые погоды, стоявшие над Пустовском, одна голова была в синем потертом берете, вторая — в строгой шляпе, третья — в широковерхой габардиновой кепке.

Он (они) зашел (зашли) в комнату и смущенно закашлял(и). Также произошло короткое замешательство, путаница с руками гражданина — обе руки взметнулись, чтобы стянуть головные уборы, но рук было только две, а головы — три, и руки в беспомощности порхали, то стягивая один убор, то вновь надевая его на голову, чтобы стянуть другой.

Шляпа, кепка и беретик летали, и жонгльж продолжался бы долго, но беретик наконец был уронен, приземлился у ног посетителя. Тогда кепка и шляпа благополучно были стянуты, кепку засунули в карман пиджака, шляпа осталась в руке. Посетитель нагнулся быстро, чтобы поднять беретик, и все три головы стукнулись с глухим неприятным треском. Беретик был поднят, зажат в кулаке по-сиротски, и во время нашего разговора от смущения посетитель все мял его, мял, сминая в такт словесным отрезкам, соразмерно. Три лица улыбались.

— Это самое... — сказала одна голова, которая, как я успел заметить (не ошибся ли?), носила кепку, — это самое...

— Подождите, Владимир Николаевич, — оборвала его другая (высказывание, впрочем, и без того не закончилось) голова, которая пришла в шляпе. — Вечно вы лезете поперед батьки!

— Ну, зачем вы так строго, Владимир Петрович? — спросила третья, соответственно носившая берет.

— А вот хочу и говорю! — ответил Владимир Петрович и обратился ко мне: — Нам бы, товарищ, проконсультироваться по вопросам личного творчества. Мы стихи принесли...

— Это самое, вот, — усугубил Владимир Николаевич.

Итак, человек этот, сыгравший важную роль в дальнейших событиях, звался Петухов. Из-за разных отчеств Петухов имел три паспорта. Характеры голов, или паспортноносителей, тоже были вполне различны (в том читатели не раз и не два убедятся), но мне придется обозначать его тем именем, которое дали ему боевые товарищи, какие и каким — пока умолчу. Скажу только, что Петухов принес стихи и любезно согласился вернуться за ответом через недельку-другую, когда его сочинения прочитают и смогут дать квалифицированную консультацию.

Петухов ушел, предварительно долго мявшись, словно бы не решаясь не только потревожить приходом, но и уходом. На письменном столе осталось три тетрадки. Одна, аккуратно подписанная «Петухов Владимир Петрович. Избранные стихотворения», содержала стихи вроде следующих:

Солнце! Встало! Вверх!
 Что! За! Фей! — Ер! — Вер! — К!
 Я! Кричу! С! Утра!
 Всем! Ура! Ура!
 Троекратное! Ура!

Не без экспрессии, но слишком мажорные для этого неоднозначного мира.

Вторая тетрадка, столь же аккуратно подписанная, однако совершенно иным почерком, «Владимир Иванович Петухов. Вопросы миру и себе», с первой страницы и до последней занята была стихами-сомнениями, стихами-раздумьями.

Что? Где? Когда? Зачем? И почему?
 Пойму я этот мир иль не пойму?
 А может, мир, загадочность храня,
 Живет затем, чтобы понять меня?

На третьей тетрадке кривым почерком неотличника накарябано: «Стихи Володи П.». Создания Володи П. отличались лиричностью, чуть тронутой пессимизмом:

Шелестят березки под окном,
 Зеленью света и серебром.
 Серебром и зеленью река
 Отражает их и облака.
 Я уйду, не завершив добра,
 Туда, где нет ни зелени, ни серебра.

...Три (или пять?) разных типа, три (или пять?) различные судьбы, а сколько других людей появлялось в редакции (и исчезало потом)! Но нет возможности помнить о всех, иначе мы так и не сможем приблизиться к концу нашего повествования, а мы еще не пересекли и его середину. Так, вперед?

Блуждания по ночам.— Ночная встреча

Впрочем, нет, читатель, нет, нет и нет,— надо придерживаться последовательности рассказа о последовательных событиях, уготованных нам самой жизнью. А последовательность такова. Как вы, вероятно, помните, редактор поручил мне составлять литературную страничку, выход которой намечался на ближайшее воскресенье. Да вот странность — литература, столь мною любимая, не лезла в голову.

Но это еще не все. Прости меня, читатель, прости мне мою печальную слабость. Я начал пить. Разумеется, не запоями, разумеется, в малых количествах, но — с непривычки и того хватало. Днем я как-то держался — за работой, за разговорами с редактором, набегавшим из командировок, но вечерами, вечерами (боги, боги мои, как грустна вечерняя земля! ох, как грустна!) наваливалась тоска, такая, что я выпивал чего-то вязкого, сладкого, пытаюсь одолеть промежуток между работой и сном. Что спросить с мальчишки?

Так и в тот раз: стакан, бутылка, глоток, еще, еще: вот бутылка стоит пу-ста: а вокруг нее на клеенке: липкие красные кружки — отпечатки бутылочно-го дна.

...И словно провалился. И то ли плакал, то ли шел куда-то. Нельзя даже назвать этот путь хождением куда глаза глядят, ибо перед глазами стояла густейшая темнота, лишь изредка прорывались сгустки света и голоса. Но что за свет

и чьи голоса? Я и знать не знал. Ночной воздух не трезвил, но, холодея оболочку, больше оттенял жжение изнутри.

И я очутился на окраине, где — ...уж очень знакомое место. С трудом, разорвав штаны, я перелез через забор в сад, нависший тяжестью над землей, и пошел сквозь него, плутая. Низкие ветви мешали пройти, я вырывался из их объятий. Налетая лицом на тяжелые, холодные яблоки, парящие в воздухе. Сквозь паутину, висевшую на ветвях, липнущую к бровям, ресницам. А листья шуршали, словно бумажные, вдруг — в едином трепете — подхваченные ветром.

Внезапно блеснул огонек, и я почувствовал неимоверную тягу туда, к свету, к теплу, к людям, которые, может быть, и не поймут меня, так ведь не прогонят же, утешат, по-доброму промолчат. Огонек пробивался меж бревен. Огонек был теплый и живой, я припал к этой щелке, припал и заглянул внутрь.

Дальняя стенка помещения изнутри ярко освещена автомобильными фарами, как я догадался позднее. Автомобиль стоял тут же, мотор работал на холостых оборотах, но — форсированно, то взрываясь, то жадно урча. Тень человеческая скользила по стене, взвиваясь, не опадая, и была столь велика, что, делая прямой угол, загибалась на потолке, там теряя четкость, растворяясь. Какой-то внечеловеческий голос витал в недрах домика, прорываясь даже сквозь шум мотора.

Не поворачиваясь, человек отступил чуть назад и в сторону, и я увидел на освещенной стене — зажатая в хитром приспособлении — висела довольно крупная кошка, подвешена так крепко и умело, что не могла и пошевелиться.

Человек разогнулся, подпрыгнул и с отяжкой, с резким придыхом ударил кошку ногой.

— Будешь говорить?

Кошка орала истошно.

И вдруг человек будто почувствовал, что за ним наблюдают, сгорбился, втянул голову в плечи и резко повернулся, в руке его, появившись неведь откуда, тускло блеснул «маузер».

Резкий свет, павший прямо ему в лицо, исказил черты, морщины перебрались выше, глаза сверкали, сузившись, но я узнал его. Пригнувшись, тихо ступая, крадучись, старый грибник двинулся к двери. Вот дверь распахнулась, вот грибник застыл на пороге, тень его, громадная и непроглядная, легла на освещенный прямоугольник сада.

— Грабят! Караул! Убивают! Люди хорошие! — Выстрелив в воздух, он прислушался и, не услышав ни звука в ответ, замолчал. Резко повернувшись, ушел обратно, плотно затворив дверь, наложил засов.

Мгновенно стало темно. Через мгновение посветлело. Луна появилась из-за туч, высветив округлости яблок. Мир уплощился и стал состоять из двух планов: картонные декорации деревьев и — второй план — вдали — небо, и между ними — не занятая ничем пустота.

В тенетах алкоголя

Питие одному — занятие худое и уж вовсе лишнее снисхождения. Пьют по великому множеству от одиночества, от безысходности, от тоски, но сам друг с бутылкой одиночество усугубляется, не исчезая ни капли. При этом-таки великое действие алкоголя состоит в том, что, хотя он и не убивает одиночества сам, на пары его слетается всякий народ.

Появился собеседник и у меня. Я не знал, как его зовут, вероятно, и он не знал того же обо мне. Но вместе мы были почти что счастливы. Как приятно сидеть и вести разговор, всяк о своем, зная — ты не один. Примешиваются, как в любом живом деле, маленькие неудачи и маленькие удачи: то удастся достать «бормоту», то, напротив, в продаже марочный портвейн, то и его не бывает и приходят на помощь настойки: «Осенняя», «Лесная», «Грушевая», «Сливовая», «Мичуринская», «Имбирная», «Полевая», «Затравевшая», «Проселочная», «Посевная», «Вязовая» ли, «Кипарисная», «Лазурная», «Сандаловая», «Буковая», «Грабовая».

И восторг, и недоумение, и недовольство пронзают порой наши души:

— Так их так, — негодует мой собеседник. — Только марочный, с медалями, мя!.. Но — осьмнадцатилетний оборотов...

Мы рассматриваем бутылки: одинокая медаль «За победу над Японией» украшает этикетку портвейна.

Пьем. Беседуем. Тепло наполняет тела.

— Портвейн, чтобы распробовать, — учит он, — нужно взять в рот полстакана, подержать под языком, потом покатавать во рту, проглотить. Выпустишь воздух через нос, не закусывая. Берешь еще полстакана. И сидишь на солнышке, дегустируя до конца.

Я соглашаюсь. Пьем.

А бывает, и вовсе нет ничего, благо что есть столяры знакомые, запасаемся мебельным лаком, берем растворитель. Ну, и закуски, само собой. Как же пить без закуски, ведь не ханьги. Сидим.

— Не люблю Кафку, — признаюсь я.

— А за что ее любить? — соглашается мой собеседник. — И без того бардачно, — и в согласии он кивает. — Ну-ка, плесни, — указывает на растворитель.

Я накаत्याю ему сто граммов. Больше не требуется. Он начинает плакать, захлебываться, судорожно стирая рукавом слезы.

— Кореша я проводил... Сегодня... Вдруг не вернется, а?

— Не навсегда же, — успокаиваю, — оттащит свой срок!

— А как нет? Ведь в дом отдыха-то поехал... Мы просили, так уж просили, поллитру распить на память. Кондуктор, козел, ни в какую... Едем!.. едем!.. Так поезд и не остановил! — Он успокаивается немного. — Мы же мужики! Прав? Прав? Что нюни распускать! — И широким жестом наливает себе из другой банки. — Стоп. — Умолкает. Уже сурово смотрит перед собой. В пространство. Вытирает рукавом нос и глаза. Слезы застыли, он оцарапывает лицо, рукава гремят железно. Товарищ мой строг и неколебим. Он тверд теперь.

Я придвигаю к себе банку, наливаю светлую жидкость. Выпиваю. «Сейчас приду», — говорю и выхожу в коридор. Возвращаюсь близкий к рыданиям, но пью из другой банки, закусываю скоро огурцом. Стоп. Мы же мужчины. Мы же...

Хватит рыданий, хватит крепкого на сегодня. Мы переходим к более легкому, пьем сухое.

— Может, еще?

— А сколько времени-то?

— Семь без трех с половиной минут...

— Еще посидим. Погоди. Успеем.

Он снимает с руки часы, разбивает об угол стола. И мы чувствуем, как время сгущается, начинает течь медленнее, но пока недостаточно медленно.

— Подай будильник!..

Он швыряет будильник в стену. Мы уже никуда не торопимся. Время становится видимым, начинает нас обтекать, обволакивать чем-то теплым.

— А то к Гальке ходим? — предлагает он мне. — Возьмем еще и ходим. Она всех принимает. Добрая... Прямо сейчас и пойдём?..

Я отнекиваюсь. Мычу. Я не хочу говорить впрямую, но намекаю ему, что люблю уже одну бабу и что любовь к ней важнее бескорыстной любви всяких галек-валек-шмалек...

— Хорошая женщина-то?

— Понимаешь, она такая!.. Такая... — объясняю я.

— Ну и Галька такая. Все они такие... Но не хочешь — не надо, ежели как Тристан с Изольдой. Не ходи, а то после тошно станет... После почти всегда тошно...

Что? может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов?

Когда человеку серьезно говорят, что он дурак, все обижаются и никто не верит, когда говорят, что умный, не обижается никто, кроме дураков. Я реагирую точно так же, но наедине с собой могу сказать честно: я дурак. И хотя признание чистосердечно, оно не снимает вины: на дураке ее нет, никто, и он в том числе, не виновен, что дурак — дурак. И ложь, будто бы дурак, осознающий,

что он дурак, — уже не дурак. Нет, дурак, осознающий, что он дурак, — это дурак, осознающий, что он дурак. Это я.

Сидел я, кипятил чайник, ворочал в дурацкой голове дурацкие свои мысли. Будь плита газовая, я бы смотрел на огонь, забывшись, уставившись тупым взглядом. Нет, плитка электрическая, даже дурацкий взгляд не упереть (не во что).

Внутри чайника, просясь на волю, стучал кулачками в стенки и дно кипятка, отдуваясь тяжело, приподнимал крышку, выбраться не хватало силенок, слабенький, в сущности, кипятка, еще мальчишка. И так мне вдруг стало плохо, так захотелось протянуть руку помощи, ускорить моральное становление, человека из него сделать! Я выдернул провод из розетки, снял крышку чайника, опустил ладонь туда, внутрь. Он сначала даже испугался, сжался весь на дне, но потом вдруг уразумел, ухватился. Я его вытащил, поставил на пол, поправил одежду, потрепал по голове. А он размял руки-ноги, и ни спасибо тебе, ни до свидания — выскочил в дверь и был таков.

«Вот и дурак ты теперь», — думал я теперь. Сидел, установившись на пустой ныне чайник, и чувствовал, начинаю окаменевать, но из грядущей вечности вырвал телефонный звонок. Начало месяца — может быть, что-то и скажут значащее.

— Ингредиент, — сипело тоскливо, — я (слышишь?) прихворнул, — сипело отчаянно. — А материал, каких на счет. Ехать надо. Необходимо попросту. Поезжай, а?.. Шофер знакомый подбросит. Он приедет, ты сразу и поезжай...

— Конечно-конечно, — ответил я. — И, — я замаялся, — вы превратно не поймите, может, лучше мне с вами посидеть? Подать чего, поесть приготовить? Газета — не волк.

— И думать забудь обо мне! — засипело испуганно. — Если материал привезешь — лучшее лекарство...

Под окном засигналила-загудела машина. Мотор весело работал.

— Ладно, побегу... А после — к вам!

— Спасибо, — засипело растроганно.

Ехать оказалось далеко: я успел и поспать, и посмотреть на дорогу, и поболтать с шофером. А мы ехали, ехали.

— Интереснейший человек, — говорил шофер. — Самоучка, философ, так сказать, от земли. — Я кивал головой, кляня носом под журчащий его говорок. — Все лежит. Размышляет. А потом сказанет — хоть стой, хоть падай. Но редко говорит, все больше думает. А уж интервью дать... Твой редактор его лет пятнадцать уламывал.

Машина свернула с разбитой проселочной дороги на полевую, тормознув возле указателя «Малые Стихари. Лугань. Большие Стихари». Остановились. Уже начинало смеркаться, только узкая линейка зари была приложена к небесам, деления черных верхушек деревьев там, вдалеке, отмеряли что-то, неподвластное уму. Пыль, тонкая, легчайшая, покрывала ближние деревья и траву, колеса газика утопали в ней, а впереди и сзади, не сворачивая, прямая лежала дорога.

— Пойдем, — окликнул шофер, стараясь прыгнуть как можно дальше на обочину.

Ровное поле под ногами, трава начала желтеть, но после пороховой серости пыли трава казалась первозданно зеленой. Я шагал за шофером и недоумевал: куда мы? Куда идем?

— Да где он?

Шофер внезапно встал.

— Тише, он здесь. Он везде тут, — произнес чуть слышно. И закричал вдруг: — Здравствуйте! Мы из газеты!

И поле зашевелилось, и рошица зашевелилась. Зашевелилось все до самого горизонта. Нечто, разрывая землю и траву, стало подниматься, распахиваться: пальцы появились из-под земли, на фоне светлого закатного неба раскрылись ладони. И лицо показалось, громадное. Сверкающие глаза. Волосы были спутаны, лицо заросло бородою, которая мешалась с молодым леском; на волосах, на руках земля висела клоками, осыпалась, рушилась громадными глыбами. В земле белели личинки, ползали черви, в бровях и на ресницах застряли мелкие веточки, по ним прыгали разбуженные птицы. Некоторые спросонья запели приветственную рассвету, величальную.

Нужды не было, но шофер наклонился близко к моему уху и прошептал осторожно, будто он, человек, мог услышать:

— Говорят, по нему даже медведь бродит. Но, думаю, рассказы,— и осекся, оглянувшись.

Мне пришлось задавать вопросы в полное горло, а в ответ неслось громовое молчание.

— Почему вы живете вдалеке от людей? Одиночество помогает сосредоточиться на главном?!

—...

— Над чем вы сейчас работаете?

—...

— Как вы оцениваете ближайшее будущее?

Тут повеял мощный ветер, гроза перечеркнула небо молнией, и град застучал, усеивая поле белой крупкой. Громатный голос загрохотал со всех сторон: — Что-то будет... Что-то обязательно будет... Непременнейшим образом...

Поле, и лес, и горизонт заколыхались, а потом стали укладываться, успокаиваться. Мы быстро возвратились к дороге, где ожидал наш газик, занесенный по ступицы колес въедливой пылью. Даже вихревой ветер и град не прибили эту пыль, а ведь, покуда мы ехали обратно, дождь накрапывал, «дворники» смахивали его с ветрового стекла.

В город мы въехали сонные, даже не заметили сразу, что фары не нужны. Утренние улицы, свежие от дождя, молчали. Безлюдно еще. Сон еще. Сон.

Одинокая фигурка переходила пустую Площадь имени братьев Толстых. Я еще не понял, кто это, а сердце екнуло, сжалось в комок и упало, рухнуло. Падало бесконечно. «Тормозни»,— и выскочил в дверцу, не дожидаясь, покуда машина затормозит.

Она...

Волга впадает в Каспийское море

Это было как солнечный удар. Я подошел вплотную. Наши взгляды встретились. Ее глаза остановились, застыли, так же, как и мои глаза. Я притянул ее к себе и поцеловал, вливая теплое ее дыхание, запах ее тела и волос.

— Это вы,— сказал я, наконец оторвавшись.

— А это ты! — сказала она и внезапно икнула.— Не лезь целоваться,— сказала она.— Не люблю я этого.

Запах вина и табака летели от ее уст. Я не заметил их сразу, ведь сам накануне пил и курил в дороге.

Ее глаза смотрели на меня, затуманенные.

— Пойдем...— И, пошатываясь, она пошла впереди, указывая путь.

Не в силах противостоять, я следовал за ней на подгибающихся от ее близости ногах. Ну и что? Что? Она сбросит это все напускное с себя, я помогу ей, я сброшу с себя все напускное, мне поможет она. Мы заживем счастливо и радостно, у нас будет хорошая семья, красивые ребятишки.

Любимая закинула подол юбки и легла на скамейку. Розовые гладкие колени ее блестели в лучах восходящего солнца.

— Иди ко мне, миленький,— позвала она, протягивая руки,— Быстрееavorачивайся, скоро утренняя смена.

Я ухнул в ее объятия, опьяненный дыханием любимых уст.

! ! ! !

Она жила на окраине, в Слободке. Сколько дней провел я в домике, состоявшем из одной лишь горенки, заставленной наполовину русской печью! Не знаю.

Мы любили друг друга без перерыва и отдыхали, пия. А из-за печки, из закутка раздавался детский голос, записанный на магнитофон. «Дочка уроки изучает»,— сказала любимая.

— Волга впадает в Каспийское море... Волга впадает в Каспийское море... Волга впадает в Каспийское море...— учила девочка, которой я так никогда и не увидел, но знал, что зовут ее Катя, потому что от географии девочка переходила к английскому языку: — Май нейм из Катя, ай воз борн ин Пустовск... Май нейм из Катя, ай воз борн ин Пустовск... Май нейм из Катя...

Мы слушали, затаив дыхание.

— Какая умница! — умилился я.

— Переводчицей станет или стюардессой пойдет, — мечтала любимая, а Катя обращалась к литературе.

— Онегин — лишний человек... Онегин — лишний человек... — лепетал детский голосок. — Онегин — лишний...

И я заплакал! Как я плакал над Онегиным, таким лишним, таким одиноким. Нас вот двое с любимой. И Катя третья. А он лишний, лишний, совсем... на весь высший свет, на всю Россию. Чем ему помочь? Как согреть? Как скрасить его лишность?

— Давай, — попросил я любимую, плача, — когда поженимся, мы его усыновим.

— Кого?

— Да Онегина, не все же ему одному век вековать!

— Давай, только не плачь.

— Нет-нет, я не плачу, я так... над Онегиным... пусть подождет чуть-чуть.

Мы скоро...

— Иди сюда!

Объятия наши разорвал крепкий стук в дверь. На пороге возник редактор, о существовании которого, как о существовании прочего мира, я, признаться, забыл: близость любимой и вино нашей любви — портвейн — делали свое дело.

— Собирайся. Хорошего понемножку. А ты, — обратился он к любимой, — Галька, амуры крути, но человека на работу отпускаяй. Сколько раз с тобой разговоры вели!

— Но откуда, откуда, помилуйте, — взмолился я заплетающимся, — помилуйте, откуда, — языком, — вы узнали? Ведь любовь закрыта, она интимна, для двоих?..

— Ах, — сказал редактор, делая паузу. — Ах, — сказал он, делая еще большую паузу, — тоже секрет! Весь город давно говорит, с твоего приезда. Ты еще и не знал ничего, даже как ее зовут не знал!

— Я и сейчас не знаю... В том ли дело?.. Она — Любимая!

— Для молвы нет святого, саму любовь она готова пограть. Ах, — сказал редактор, делая паузу, — ах, злые языки — страшнее пистолета (А. С. Грибоедов)!.. И задача прессы — бороться не на жизнь, а на смерть со слухами, печатным словом отвечая на шушуканье за спиной. И даже печатным словом на слова непечатные!.. Вставай, пойдем бороться...

— Иду.

Всеобщий праздник и благоденствие.— Перед тем, как

— Я в твою личную жизнь не лезу и лезть не хочу. Но как старший товарищ посоветовать и предупредить должен. Можешь ты во всякие истории с этой любовью вляпаться. Уточнять, уподобляясь молве, не стану, однако связи у твоей любимой самые разнообразные и как есть — неразборчивые. Выводы делай сам... А пока — за работу. Где интервью с философом?

— Где?..

— Хм... Понятненько. Тогда — единственный выход: письмо Наташи Потаповой из Урюпинска. Что-то она давно не писала.

— Что за Наташа? Что за Урюпинск?

— Урюпинск — побратим Пустовска, а Наташа... Наташа и есть Наташа. Полистай подшивки, может, поймешь.

Так вот она какая, Потапова! Первое упоминание о ней попало в газете трехсотсемилетней давности (возможно, были и более ранние — о том судить историкам). Наташа писала, что ей пятнадцать лет и она хочет выбрать путь в жизни.

Шли годы, сменялись столетия. Наташа спрашивала о том, как ей найти призвание. Катаклизмы потрясали страну, а Наташа советовалась, куда ей пойти учиться, как построить будущее. И никак не могла решить, все сидела в своем Урюпинске и посылала письма. Очередное письмо Наташи сочинил я под руководством редактора. Это было моим лучшим произведением!

...Я внял дружеским советам, бросил пить, хотя в домик на окраине приходил ежевечерне. Сердцу разве прикажешь? Любовь есть любовь, и наплевать ей (то бишь мне) на сплетни. А пересуды были: кто-то ночами бил стекла в нашем домике (и хихикал глумливо и тихо).

Любимая моя пила-таки, но была нежна и покладиста, умна легко, отприродно, и я никак не мог понять, каким образом, обладая чудесными душевными качествами, будучи внешне прекрасной, она не то что несчастна, жизнь ее идет странно, наперекосьяк, недостойна ее.

Однажды, когда любимая уже выпила и расположение ее духа стало совсем веселым, я спросил об этом. Она ответила:

— А мы, роденький мой, разговоров не боимся. Без мужа жили, слов хватало. А с меня, как с гусыни вода.— И почему-то она погрустнела.

Ее томило нечто, о чем любимая молчала.

Целыми днями я пропадал в редакции, а затемно возвращался в уют и тепло домика на окраине, и равномерная жизнь, моя ответственность, пусть за маленькую, все же семью, сделали доброе дело — работа будто наладилась, строки соединялись при малейшей натуге, слабо топорщились на странице.

Как-то вечером я шел знакомым путем в Слободку, представляя, как скоро приду и увижу ее. В груди теплело, ноги шагали быстрее и быстрее. Вдруг от темноты отделились три темных фигуры, очертания которых были расплывчаты. Повелею перегаром спиртного. Разгоравшиеся и притухающие чинарики равномерно подсвечивали их лица снизу, создавая впечатление необычности и тревоги.

— Стоп-машина,— сказал один, развязно цедя слова, и загородил мне дорогу.— Экий шустряк попался... Я было хотел обойти его, но неизвестный толкнул плечом.— Стоять!.. У нас все строго. Сейчас, живчик, произойдет товарищеский суд. Вот я председатель,— он ткнул себя в грудь.— А это,— он кивнул на фигуры, стоящие сзади,— мои товарищи. Это, ты что ж себе думаешь? Можно, значит, чужую бабу себе увести и все ништяк? Это тебе не у Шолохова во втором томе!.. А где социалистическая законность? Где — эта самая — единственность прав и обязанностей? Ежели ты, взял, пала, права, то и отвечать, пала, обязан по всей строгости мирного времени!.. Ша мы с товарищами вынесем тебе приговор, а потом — решительно приведем в исполнение. И это будет законно... Стоять! — еще раз прикрикнул он и поковылял, переваливаясь, к черным силуэтам чуть поодаль.

Он обернулся ко мне и через плечо добавил:

— Мы тебя будем судить за единоличность. Галька, как искусство и балет, принадлежит народу, а ты схапал и один пользуешь! — отвернулся.

Громко заговорили, но через присловья, сплевыванья и перемат нить разговора терялась, вырывались отдельные выражения, а спор ожесточался.

— Глаз натянуть и моргать заставить!

— Дать по ушам, чтобы нос отвалился!

— Поуродовать, пусть все будет, как у людей!

Они кривлялись, подпрыгивали, ударяя себя руками по задницам, огонечки папиросок то вспыхивали, то гасли, то вспыхивали, то гасли. И тут я понял — кто это. Глухая слава Гуся со товарищи, самого известного здешнего хулигана, докатилась отдаленными грозowymi раскатами и до меня. Но, собственно, мне от прозрения разве легче? Следует сосредоточиться и честно погибнуть. Их трое или четверо — в темноте не разберешь. А что если оказать достойный отпор, а там как ноги вынесут? Я крепче сжал в руке чемоданчик, называемый иногда «кейсом», и двинулся размеренно вперед.

— Куда ты? Куда? — заорал Гусь, рванувшись наперерез.— Заседание не кончилось. Каждый шаг будет рассматриваться побегом.

— Отвал! — заорал я, убыстряя шаги.

— А, ты так! — Гусь подскочил близко, оттолкнулся одной лапой от земли, а вторую нацелил в мою сторону, взмахнул крыльями.— Кряаа!! — заорал он по-каратистски во всю глотку, но не достал.

За свою жизнь я дрался только однажды, во втором классе, и то не до крови даже: ударил бойкого однокашника портфелем и убежал, пока тот очухивался.

— Кряаа!! — напомнил Гусь в прыжке.

Примерившись, я двинул в направлении него чемоданчиком. Чемоданчик, называемый иногда «дипломатом», натолкнулся на какую-то преграду, следовательно, удар пришелся по цели. Гусь всплеснул крыльями и хлопнулся на дорогу, не шевелясь. Кто-то еще рванулся ко мне, однако встретился с чемоданчиком, называемым иногда «несессером», и решил ретироваться.

А я побежал. Ночная прохлада сладко втекала в легкие, бежать оказалось удивительно легко и приятно. В домик на окраине я влетел, возбужденный победой и бегом. Отбросил чемоданчик, обнял любимую, принял ее в объятия. Какое счастье, когда тебя ждут, не смыкая глаз!

На следующее утро, воспламененный справедливым (и, подчеркиваю! — *Прим. автора.*) общественным негодованием, едва переступив порог редакции, я ринулся к письменному столу, в десять минут создал заметку о выходе распоясавшихся хулиганов и поступке скрывшегося в ночи инкогнито. Под материалом стояла подпись: «Наш специальный корреспондент».

Редактор отнесся к заметке сдержанно.

— Понимаю, негодую, согласен. Но газета — орган правды! Он, орган, и она, правда, не могут служить сведению личных счетов. Однако рукописям гореть вредно. Давай сюда.

Он вскоре вернулся, неся стенгазету-«молнию». Возле моей заметки с заголовком «Позор!» красовалась фотография Гуся. Теперь я мог как следует разглядеть обидчика и соперника: узенькие глазки блестели из-под надвинутого кепарика, клюв похабно ухмылялся, в углу его торчала обмусоленная прикушенная папироска. Отвратительное зрелище.

— Я предупреждал. Они этого так не оставят. Покуда советую ночевать в редакции. Если за Гальку беспокоишься, я ей лично передам, чтобы она сюда приходила. А пока — за работу. Какой сегодня день?

— Суббота. Выходной.

— У газетчика любой день рабочий. Так вот, сегодня народные гуляния и состоится публичное испытание самолета. Умойся и приготовься, через час выходить... Да! — остановил он меня у двери. — Ты с какого места бежал? Почти от Площади братьев Толстых? И соответственно до Слободки, дом шестнадцать. Как раз трасса марафона, только ты бежал в обратном направлении. А говоришь — не спортсмен!

Я умылся. Верно, и думать забыл, что сегодня пройдут испытания и соберется много людей, к которым я чувствую симпатию. Вот хотя бы изобретатель Паша.

Паша — талантливейший, скромнейший и одержимейший человек нашей эпохи. Еще он бескорыстен, но я уже видел таких, впрочем, как и скромных, и одержимых, редактора, например. Паша из той же формации россиян, для которых главное — Родина, и все остальное не имеет значения.

Впервые услышал о нем в соседнем колхозе, где производился опыт по выращиванию помидоров (тоже Пашино изобретение). Дедок, специально приспособленный для того, деревенский заводила, балагур и насмешник (из тех, что и козу не пропустят, чтоб не подначить и не разыграть), рассказывал помидорам похабные анекдоты, а когда они краснели, процесс, так сказать, был налицо, их и брали с кустов с поличным.

— Какие же анекдоты, дед?

— Да каки? Всяки. Один пестик полез в тычинку...

— И помогает?

— Грех жаловаться.

— Ну а есть которые не краснеют?

— А как же, бесстыжих много... На засолку идут.

— Я видал — в бочках и зеленые, и красные вперемешку плавают...

— Это как в жизни, милоч... А, помню, в гражданскую — еще и белые, и махновцы. Очень запутанные времена.

Паша изобрел много, но — самоучка — не имел должной поддержки и был напрочь лишен технической базы. Паша не унывал. И еще он — мечтатель — хотел переделать мир, чтобы тот стал удобным для человечества. Мы познакомились в его сарайчике, названном громко «лаборатория», где тогда разрабатывалась модель наручных часов.

— Это все мелочи, — сказал Паша, — вот лучше послушай идею. Как думаешь, что будет, если корову кормить более питательной пищей?

— Наверное, станет давать молока больше...

— Точно. А что, по-твоему, калорийней — молоко или трава?

— Молоко.— К чему он клонит?

— Берем корову... Слушай, берем корову, кормим ее — ее молоком. Коровы дадут молока еще больше. Опять кормим ее молоком. В конце концов она станет давать столько молока, что уже не будет сама его смочь съесть. Чистый остаток растет в геометрической прогрессии. Мало того, не надо корм заготавливать.— Опечалился.— Одно плохо: разве ее накормишь? Изглодались очень.

— А если накормим? — убеждал я.

— Тогда еще труднее — разве сытый — работник? Сытый тебе с места не двинется. Зачем ему вкалывать?

— Погоди отчаиваться... вдруг... как-нибудь...

— Э, как-нибудь, как-нибудь! Так и работаешь всю жизнь ради будущего.

А как теперь?

И вот теперь самолет.

Мы издалека услышали гул толпы и тягучую музыку. За вокзалом, за железнодорожным полотном, под насыпью, где некошенный ров, собралось почти все народонаселение Пустовска с семьями и детьми разных возрастов.

Чуть вдалеке справа играл, играл духовой оркестр пожарников. Серые брезентовые робы хлопали на ветру. Блестели надраенные трубы, лысиной лоснился от долгой работы барабан, словно пенсионер мирового значения. А в центре зеленого поля стоял самолет. Метра два в длину, он трепетал бумажными крыльями, вилял бумажным фюзеляжем, шуршал и был похож на птицу, желаящую взлететь, но не имеющую пока морального права.

Да, самолет бумажный — на другой материал у Паши не хватило денег, и тут он ухлопал больше половины зарплаты, но стоило пострадать и потерпеть. А что если в самолетостроении новый материал окажется практичнее старых? Экономия: нет нужды ни в ангарах, ни в бензине. Только появись враги, всей страной встанем мы на защиту. Нам достаточно плотной бумаги и острых ножниц, чтобы эскадрилья бомбардировщиков и, чем черт не шутит, бригады танков дали врагам по мозгам совсем не в рифму!..

Я разглядел в толпе любимую и устремился к ней, обнял, мы встали возле трибуны, где устроители отчеркнули квадрат и забили в землю колышек с табличкой «Пресса».

Стоит ли подробно описывать приготовления и произнесенные с высокой трибуны речи? А потом аплодисменты? А потом тишину?

Оркестранты отложили в сторону инструменты, сводный хор школы-интерната и ветеранов картофелеводства также приготовился и затих, каждый по-своему. Дирижер взмахнул руками. Оркестранты надулись, расширили щеки, глаза их выпучились. И по команде они стали планомерно, методично дуть в хвост самолета. Солисты и хор помогали оркестру чем могли. Солисты по очереди вступали с разных сторон, показывая направление усилия, а хор подхватывал. Получалось очень красиво, торжественно.

Вдруг раздался в неимоверной тишине громкий возглас:

— Убереите ребенка! Откуда ребенок? Унесет!..

Какой-то младший школьник держал самолет за крыло, которое светло колыхалось.

— От винта! — в ужасе крикнул летчик, прячась в кабину.

Бросились и ребенка убрали. Самолет все стоял. Еще стоял. Стоял. Потом приподнялся. Неожиданно, в одно мгновение, он взлетел, выше, еще выше, еще выше. И застыл там, поддерживаемый бережно воздушным потолком. Летчик жизнерадостно замахал рукой в кожаной перчатке с раструбом.

Оркестр подобрал инструменты, заиграл веселую мелодийку, то ли «Егерский марш», то ли «Мой блаженный Августин», что — было не разобрать в такой синеве.

Паши ликовали. Ликовали все. Танцевали, смеялись, пели песни. А потом мы с любимой убежали в город, потому что нам неожиданно остро захотелось побыть только вдвоем.

В нетерпении мы топтались на крыльце, пока я никак не попадал ключом в замочную скважину. Ворвались в комнату, веселые, но, посмотрев друг другу

в глаза, вдруг затихли. Я взял ее за плечи, притянул к себе. Головы наши закружились, мы упали на панцирную сетку, которая плавно закачалась, приняв тела.

Кулаком в дверь.— Быстрое прощание

За окном стемнело, а мы и не заметили того. Потом за окном рассвело, а мы и того не заметили. Что нам до мира, если мы вместе?

Кто-то забарабанил кулаком в дверь и вошел быстро, не дожидаясь ответа, застав нас в слишком крепких для третьего лишнего объятиях.

Любимая моя достаточно смело лежала навзничь, закинув руки за голову, разглядывая прищельца, а я заметался: то ли накрыть простынкой ее, то ли задрапироваться той же простынкой самому, то ли укрыть ею вошедшего, — от чего случайность положения усиливалась.

Человек в серой шинели, не обращая на нас внимания, сурово обратился лично ко мне:

— Товарищ Ингредиент Субботний?

— Да! — ответил я.

— Распишитесь! — сказал посыльный, протягивая желтый листок.

«Повестка» — напечатано. «Вам надлежит» — написано.

— Военнообязанный?

— Не знаю... — От внезапности я растерялся.

— Тогда распишись два раза, — придвинул книжку-разноску. — Прощайся с Галей и через два часа с вещами. — Откозыряв, он вышел, стуча каблуками сапог.

Любимая рыдала в голос, не скрывая. Голая, она упала мне на грудь. Я стоял посреди комнаты, гладил ее осторожно и видел белый кусочек кожи на затылке, где будто бьет родничок.

— На кого же ты меня покидаешь? — кричала любимая. — Что же такое деется, люди?... Люди!

Никто не откликнулся, и она все плакала, плакала.

Два часа, отпущенные на свободу, пролетели. Я поцеловал любимую на прощанье. Она поцеловала меня и сказала: «Я буду ждать тебя... Очень буду стараться ждать».

В военкомат явился я ровно к сроку.

— Куда здесь с повестками?

— Во, еще один! — удивился дежурный. — Иди в актовЫй зал, — указал он. — Там объяснят. Война, в общем...

Первые знакомства.— Старшина

Возле длинного, крытого зеленой скатертью стола отобрали повестку и паспорт.

— Садись и жди, когда выпишут военный билет.

— А зачем он нужен? — поинтересовался я с журналистской сноровкой.

— Чтоб в полutorке без билета ездить, — растолковали мне.

Я сел на одно в длинном ряду откидных полукресел. Зал мало-помалу наполнялся такими же ожидающими. Что-то будет?

Мы слышали крики и возню, доносившиеся из длинного скучного коридора, но не знали тогда, что там происходит: возле двери стоял сержант с повязкой на рукаве и штыком, подвешенным на ремень, запрещаая выйти.

Кричал Гусь. Он и ведать не ведал про мобилизацию, он провожал дружка из кодлы на действительную военную. Патруль подхватил его и вместо милиции препроводил к дежурному. Гусь хотел закосить, но винный угар мешал изворотливости ума.

— Так, — спросил дежурный, — фамилия, имя, отчество, — собираясь записывать.

— Не имеете права! — заорал Гусь в ответ. — Я не военнообязанный. Я по убеждениям не могу идти!

— Чего-чего? — переспросил дежурный. — Чего?..

— По убеждениям, — загоготал Гусь. — Толстовец я, непротивленец злу насилием, хиппи я!

ла в руки оружие, дала профессию, дала сапоги, обмундирование, как-то: опять-таки сапоги, фуражка, китель, галифе дала две пары, диагональные и те, вот такие... потом погоны, ре...

Все почтительно слушали.

Ожидая начала чего-то или конца всего этого, мы разговаривали, постепенно знакомясь, объединялись в группки по интересам, острили. Впрочем, было не до шуток.

Ожидание томительно и страшно.

— Слушай! — подошел ко мне один, в шерстяной фуфайке, с большой, вызванной буквой Б на груди.— Как ты думаешь, отмотаться можно? Ну, не то чтоб совсем, а частично? А? Как считаешь, реально здесь в самодеятельность попасть, в клуб какой-нибудь?

— Не знаю,— ответил я.— В клуб! А ты чего делать умеешь?

— Я вентролог.

— Чего?

— Ну, это, когда человек утробой разговаривает. Вот так.— И, внезапно изменив голос, он пропищал несколько бранных слов, не разжимая рта.— Так примерно.

— Да-а...— Он удивил и потряс меня своим талантом, я не сомневался в его судьбе.— Да... Тебя сразу, без разговоров, возьмут! Здорово!.. Еще чего-нибудь скажи...

— Подожди ты... потом. Понимаешь, репутация у меня двусмысленная какая-то... Жертва я культа личности, вот что!

— Тебе сколько лет-то?

— Двадцать шесть... Это в порядке... Да вот зачали меня в тридцать шестом, следовательно, родиться должен был в тридцать седьмом. Самый тот год, понимаешь? В этом и дело...

Я отвернулся.

— Погоди, не обижайся. Правда ведь... Я так с тридцать седьмого у матери в пузе и просидел, все выйти боялся, думал, вдруг заберут!

— Ну!..— снова повернулся к нему.

— Вот и ну!.. Думаешь, где я чрево вещать научился? Там, от нечего делать. Чужим голосом разговаривать-то сподручнее: губами не двигаешь, кто докажет...

— Дело и вправду серьезное...

Зал наполнился, люди стояли и в проходах, и вдоль стен. Наконец военный чин вышел на сцену, над которой тянулся большой транспарант «Сов. секретно. Разведчик! Учись бить врага молча!». Чин обвел глазами зал, пожевал губами и начал:

— Вышестоящее начальство поручило мне уведомить вас, дорогие товарищи. Наступила война, дорогие друзья, и вам, вероятно... отставить... так точно, предстоит защищать наше достоинство!

— Как так? — переспросили из зала.— Как так?

— Да вот так вот,— возразил военный.— Придется. Война, знаете ли.

— А мы здесь при чем? — переспросили опять.— Крайних, что ли, нашли? Вам за это бабки бешеные платят, вы и защищайте. А то все на халяву норовите: и проезд бесплатный, и шмотки с обувкой, а вы еще и воевать не желаете!

— Как фамилия? — поинтересовался военный строго.

— Иван Бесфамильный! — ответили нагло, но испуганно.

— Так вот, товарищ Бесфамильный,— сказал военный веско,— крайние вы или не крайние, потом разберемся. А воевать будете все-таки вы, ничего не поделаешь.

— Да почему, хоть ответьте,— любопытствовали из зала.— Причины то на это есть?

— А ты что же, по повестке приходил? — в свою очередь заинтересовался военный.

— Ну, как...

— А вот так. Прямо. Без альтернативностей. Так и скажи: испугался, струсил... Вот в армии из тебя и будут смелого делать. Чтоб ты свой долг исполнял, чтоб бумажек всяких не боялся.

— Да некоторые, это...

— Чего-чего?

— ...не испугались. Кто по желанию. Кто читать просто не может, а там мало ли чего написано...

— Вот это — плохо. Это — плохо, — покачал военный фуражкой. — Вдруг тебя на ответственное место поставят? Это я к примеру, вообще. Вдруг тебе из ракеты стрелять придется? А? А ты и кнопку прочесть не умеешь, где «Пуск», где «Обратный ход»... А?.. Вот видишь, грамотность-то чего. Видишь, чего вас, оболтусов, в школе учили... Ладно. Не отчаивайся. В армии на то старший начальник есть, чтобы читать, если надо. Разберемся, — успокоил он. — Крайние еще есть? — обратился к залу. — Нету? Очень хорошо. Я закончил, а теперь, как сидите, по рядам, так и делитесь на подразделения. Дальнейшее объяснят командиры.

К нашему ряду, покашливая, подошел мрачный здоровый хмырь в усах. Он прокашливался долго, потом неожиданно гаркнул:

— Десятый ряд, встать!

Мы поднялись, хлопая откидными сиденьями.

— Нерезко! — отметил хмырь. — Придется работать. А пока — выходи строиться. Быстрее давай!..

Мы нехотя побрели в коридор. Вытянулись волнистой шеренгой.

— Ровней, ровней, береги место, — приговаривал усатый. — Которые в армии не бывали, по половине пускай равняются.

Мы выровнялись ровнее, человек десять, не более.

— Отставить разговорчики! Тихо. Как вас зовут, я покамест не знаю. Но все вы здесь есть рядовые, а я ваш начальник — старшина Петрушин мое фамилие. В официальной обстановке я вам товарищ старшина, а в быту или в личное время, то по-простому — старшина или Петрушин... Пью чай, садись. Ем борщ, бери запасную ложку...

— Сплю с женой...

— Знайте одно — я ваш старший товарищ и друг!

— Гусь старшине не товарищ, — раздалось с глубокого левого фланга.

— Так. — Старшина посмотрел туда жгучим взглядом. — Кто таков? Два шага вперед!..

Из шеренги, взмахнув крыльями, вышел Гусь и остановился.

— Так, — сказал старшина, — какое фамилие?

— Гусь Лапчатый! — лихо сказанул Гусь и стукнул пятками в пол.

Старшина смерил его взглядом сверху вниз и снизу вверх.

— А ты мне тоже не товарищ. Встань взад, первый раз прощаю...

Гусь задом шагнул на место.

— Проблемы имеются?.. Тогда ты. — Старшина ткнул кого-то в грудь на правом фланге. — Берешь бумагу и составляешь поименный список.

— Это что, чтоб, кого надо и не надо, когда хошь поиметь?

— Список, — старшина обвел глазами шеренгу, — нужен, чтобы зачислить личный состав на довольствие. А также, чтобы кормить и поить бойцов поименно. А которые фамилие не назовут, те жрать не будут!

— Зато работать не будут!

— Верно, — подтвердил старшина Петрушин. — Но по здравом размышлении я склоняюсь, что работать, пожрамши и поимши, лучше, чем, не жрамши и не пимши, не работать! Согласны?..

Я вдруг ощутил чертовский голод, аж слюнки потекли. Когда же в последний раз я ел? Вчера или сегодня утром?

— Чего делать-то будем, старшина? Куда нас кинут? — поинтересовались мы.

— Врать не стану, хрен его знает! — Петрушин был откровенен. — Пожрем, компотцу порубаем, а там начальство, может, и распорядится чего. Зря рыпаться не станем. Мы не агрессоры, да нам и незачем, это подтвердит даже умственно дурак, увидя нашу военную технику, жидущуюся на тонкой грани совершенства. Наше дело — стоять начеку. А пока жрать пойдем. Взво-о-о-о-о-од! Направ-во!.. Шагом, марш!.. Поименный список составим опосля обеда...

Приближение к столовой чувствовалось по все увеличивающемуся густому запаху, а дверь ее украшал плакат, красочный и цветной: «Кто одолеет кашу, тому и враг не страшен!» В помещении, кроме нас и раздатчика, никого, а потому мы поели свои порции и пересели за соседний стол, тоже накрытый, поели там. Как сказал старшина Петрушин: «Все верно. Быстрота плюс натиск.

Особенно в жратве и отношениях к женщинам, что сказывается и на работе, как погрешь — так и погрешь».

После обеда был десятиминутный перекур, во время которого и составили поименный список присутствующих. Затем возвратились в зал.

— Шестой взвод! — гаркнул старшина Петрушин.— Занимай места в одном ряду! А я сейчас приду! — и почему-то осекся.

Расселись.

— Что за намеки? — раздался голос Гуся.— Мы чего, шестерки, что ли, шестой взвод?.. Пускай старшина номер взвода меняет, или мы воевать не будем!

— Ты, гусь, — сказали Гусю, — знаешь, что собачка делает, когда скучно?.. Вот так! Поклевал, не мешай другим пищу переваривать!

Вернулся Петрушин, сел с краю.

Вышел давешний военный.

— Распорядок дня такой: вы, товарищи, добровольцы...

Все замолчали, вслушиваясь.

— Сейчас будут лекции по специальности, — все напряженно молчали, — лекции по международному положению, а после зачеты...

— Е-мое! — присвистнули в тишине.— Совсем уже одурели.

— Один взвод направляется в почетный эскорт...

Мы вскочили, как один, даже Петрушин удивился нашей резкости.

— Шестой взвод, шестой в эскорт! — закричали мы.— У нас и список поименный есть!

— Хорошо, — согласились со сцены, — шестой взвод, встать и выйти строиться!

— Ууу! — загудели за нашими спинами остающиеся.— Живчики...

— А хрен ли! — самодовольно улыбались мы, под руководством Петрушина выходя из зала.

Пока ждали на улице старшину, получавшего указания, мы рассмотрели друг друга и, я бы добавил, остались довольны. Как узок мир, и тем более узок в районном городке. Шестой взвод составляли: Гусь, я, изобретатель Паша, с которым мы сперва разминулись в строю, Алкаш, бывший собутыльник (помните?), трехголовый Петухов, ну, и жертва культа личности, человек с большой Б.

Старшина вернулся:

— Дано боевое задание — изображать мирных граждан на партизанских гуляниях. В две шеренги становись!

— Старшина, а все-таки что случилось-то?

— Видно будет. Шагом марш!

...Когда мы вернулись и поужинали, вдруг зевота одолела нас всех, без изъятия, мы стали укладываться на деревянных топчанах.

— Отбой! — стягивая гимнастерку, приказал старшина Петрушин.— Почему это, когда спать сильно хочется, жить неохота?

Я в душе согласился с правотой старшины, а ведь еще совсем недавно думал иначе: если не хочется жить, надо спать, спасаясь... Как все меняется.

Нравственное противостояние.— Баллада о звездах (Рондо)

— Подъем! — раздался знакомый голос.— Вставай!

Когда мы раскрыли заспанные глаза, над нами склонялось лицо старшины Петрушина.

— Умыться, одеться и выходи на завтрак... А кто будет медленно приказанья исполнять, на зарядку пойдет!

Мы зашевелились быстрее.

— Начальству наша служба понравилась, — объявил старшина после завтрака и обильного перекура.— Складно мирных граждан изображали. Теперь приказ поступить в распоряжение начальнику клуба: концерт готовить.

— ...Гусь? — спросил он почему-то радостно.— Хохол? — спросил он.

Гусь молчал. Но, не дожидаясь отклика, клубник уже веселился.

— Он медлит с ответом, мечтатель хохол. Братишка, братишка, я в книжке нашел. Прочайте, родные, а также семья. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля... — Он задумался. — Слушай, как там дальше? — и сразу позабыл. — Хохол — это хорошо. Хохлы певучи. И танзучи. Не журишь, хлопче, — заговорил вдруг нараспев. — Будешь танцевать?.. Будь, светик, не стыдись. А? Матросский танец «яблочко», имитирует движения при исполнении служебных обязанностей: гребля, плавание, перетягивание каната. Ну, давай попробуем...

Гусь нехотя стучал лапами в пол.

— Огонька мало! Добавь огонька! — посоветовал начальник клуба. — Ну, жги, жги!.. Жги!

— Дрова кончились! — Гусь остановился, тяжело дыша.

— Ну, давай чего другое. Поспокойнее. Может, попробуем умирающего лебеда, а? По мотивам Чайковского?

— Лебеди умирают, но не сдаются.

— Ладно, согласен. Ладно. Сейчас сообразим поактуальнее. — Полистал репертуарный сборник. — Во! Отличная вещь, к политическому моменту. Пантомима «Нравственное противостояние»... Вот ты, воин, — обратился он к Петухову, — будешь символизировать международный империализм. Остальные исполняют силы добра...

— Все на одного, получается? — спросил Володя П. — Это же несправедливо!

— А он — один на всех? Как, справедливо? — воскликнул клубник. — Ты, юрод, — добавил он, — ты на себя-то посмотри... на тебя и всех-то не хватит...

— Да, — подвел черту старшина чуть позднее. — Неловко получилось. В самодеятельность теперь дорога заказана. Будем заниматься по плану — изучением винтовки...

Петрушин принес из каптерки три учебных пособия, а также пяток старых, измочаленных плакатов. Мы засели за оружие.

Попервоначалу осмотреть винтовку, потрогать оставшиеся железные части, поцелиться в небо и друг в друга было нам в охотку, но после полутора часов занятий скука одолела. Одному только Паше и было интересно перебирать на ощупь детали, что-то он такое придумывал, усовершенствовал, а другие перешли к анекдотам.

— Почему не занимаемся? — возмутился Петрушин. — К вам, как по-человечески, и вы должны так же. Положено винтовку изучать, изучай, пособий хватает...

— Старшина! Скучно, — ответил за всех вентролог. — Знаем мы твою винтовку от сих до сих.

Старшина подошел к нему.

— Ну-ка, посмотри на меня визуально. Ты какую винтовку изучал?

— Эту. — Вентролог ткнул пальцем.

— Встань сначала со старшим по званию!

Вентролог лениво поднялся.

— Правильно-правильно, — встрял неожиданно Владимир Петрович Петухов, который весь прошедший день молчал, как рыба об стол, стараясь войти в новую обстановку. — Правильно, товарищ старшина, совсем уж распустились, мерзавцы!

— Что вы, Владимир Петрович, разве можно так? — сказал Петухов Владимир Иванович.

— Только так с наглецами и надо! — отрезал Владимир Петрович. — И мне очень странно иногда становится, что такой человек, как вы, в общем порядочный и серьезный, молчит под напором хамов. А кто, если не мы, интеллигенция, будет защищать дисциплину? Правда, товарищ старшина? — обратился он к Петрушину.

Старшина внимательно поглядел на него, потом спросил:

— Что, помкомвзвода хочешь быть?

Владимир Петрович Петухов был, вероятно, не прочь стать помкомвзвода, но сущность его разыграла, он сделал обиженное лицо:

— А вот и нет. Мне личные блага не нужны. Я стараюсь по справедливости!

— Ну, и дурак! — подытожил старшина Петрушин. — Если тебе блага мешают. Они всем не лишние. А подхалимажу не потерплю, хоть ты и в шляпе. — Петрушин начал раздражаться.

Вдруг вылез Гусь, и кто его дернул лезть в разговор, где и так тесно:

— Ты, шестеро яиц, воду не мути, люди без тебя разберутся... С буквой Б прав, хватит, айда на улку!

— Стоп! — крикнул старшина. — Всем по тридцать семь, — он запнулся, — нарядов вне очереди. Чай, не у тещи в бане, за хвост вас тяни!

— Ты, — обратился он снова к вентрологу, — изучил одну винтовку, перейди к следующей. Эту изучал?.. Это есть винтовка порядковый № 618633, изучил ее, изучай винтовку порядковый № 618634. Разговорились... Смотри, проверю знания по каждой винтовке в отдельности!.. Не можете сидеть одни, так сержант вас обучит... Эй, сержант!

Пришел сержант, сел и забубнил монотонно:

— Врах, эдри эго в корэнь, надысь использовал дохтрыну опаснохо наступательного бэздэйтвыя...

— А теперь?

— Тапэрыча, — бубнит сержант, — воны будут бэздэйтвоваты по друхой дохтрынэ...

Гусь толкает меня плечом:

— Эй, ты, свояк, пойдем покурим, чего здесь высиживать? Сержант, мы выйдем в сортир?

— Сходы-сходы, — разрешил, почему-то улыбаясь, сержант. — По корыдору за ухлом. Кто эщэ хочыт?

— Я.

— Ы ты.

Скоро мы поняли, почему он так улыбался. Лишь подошли мы к сортиру, лишь приговорились, нас оттолкнули.

— Молодой? Подождешь! — Лейтенант расстегнул штаны. Но только пристроился, вошел капитан. Лейтенант вытянулся во фрунт, уступил место. Капитан благожелательно покачал головой и было сам приспособился, как быстрым строевым шагом вошел майор. Капитан...

— Э, — Гусь махнул крылом, приплясывая, — Суворова на них нет!

— А что Суворов?

— Че-че, клюв через плечо! Суворов, он простого солдата уважал, обязательно вперед пропустил бы... И Кутузов...

Старшина вернулся обрадованный.

— Вам, идолы, крупно повезло, занятия отменяются... Свободен, сержант... Переходим к боевым действиям. Складывай инвентарь, сворачивай плакаты, пойдем за обмундированием.

— Узнал что, старшина?

— Узнаем на местности...

Мы вышли строиться. Паша предварительно сунул в карман затвор от винтовки, наверное, хотел подумать над ним на досуге. Кто знал, что досуг далек?

... Ключ смачно повернулся в смазанном черным тавотом замке. На скрипучих петлях разошлись половинки двери, и из темноты, чуть не сбивая с ног, ударил стукот тяжелого, спертого воздуха, который скапливается в давно не проветриваемом помещении.

Толпясь в проходе, мы протиснулись внутрь. Старшина привычно поширил рукой справа от двери, и под потолком зажглась далекая желтая лампочка. Лампочка подсветила плакат с лаконичной надписью: «Солдаты! Сержанты! И мл. сержанты! Патроны — наше социалистическое достояние. Береги его. Используй подручные в бою предметы!»

— Это какие? — любопытствовал Паша, указывая на полотнище.

— Руки, — сказал старшина, — зубы и ноги. В общем, у кого что найдется.

В углу заскреблось громко-громко, и под желтый круг света стали выбегать одна за другой крысы и мыши. Посредине стояли три или четыре вычищенные до блеска алюминиевые миски. Крысы и мыши уселись возле и, подняв кверху мордочки, сладостно облизывались, помахивая жирными розовыми хвостами в воздухе. Крысы были очень упитанные, шерсть лоснилась на здоровых загривках, мышки тоже были толстенькие, чистенькие, серенькие, хвостики их порхали туда-сюда.

Предупреждая разговоры, вышел вперед старшина.

— Кыша, кыша! — зашикал он на грызунов, но как-то невразумительно, без гнева. — Развелись тут!

Пришельцы понятиливо закивали головками и организованным порядком скрылись в том же углу, откуда появились.

— Кхм, — кашлянул старшина, прерывая паузу. — Да вы разбирайте, разбирайте личное-то имущество, — заговорил он смущенным голосом, а сам ногой отпихнул миски подальше к стене, те пусто загрохотали.

Мы расписались каждый в своей графе, после чего старшина уговорил нас почти не брать обмундирования, зачем оно нам? Мы все же взяли, а Гусь заорал: «Ах, нашу одежду не берегешь, а сам крыс казенным харчем пользуешь?», но быстро заткнулся, встретив стальной старшинский взгляд.

Все облачились в огромные застиранные балахоны, пахнущие дезинфекцией и усталостью многочисленных тел, бывших внутри до нас. Потом получили винтовки с боевым запасом, как назвал старшина запасные обоймы. Винтовки старые и тяжелые, лак на прикладах замутился, потрескался.

— Стойте! — неожиданно закричал Владимир Петрович Петухов, заглянув в ведомость. — Это что такое? Сейчас за что расписываемся, а?.. ДСП — это, может, вооружение, но гвоздей-то нет точно!.. «Липу» подписывать не стану!

Старшина замаялся, покраснел.

— Ну чего, ДСП, и дсп, не хочешь расписываться, не надо, чего кричать?

— Нет, нет уж, позвольте. Хотите свои растраты покрыть?.. Что значит дсп, говорите живо!

Нам трижды наплевать было на всякие дсп, но скандал оживлял казенное место.

— Ну что ДСП, что дсп, — старшина говорил обреченно, — древесно-стружечная плита для служебного пользования.

— Какая такая плита? — орал Владимир Петрович Петухов. — Никакой плиты мы не получали. Выдайте нам плиту...

— Нету плиты, на ремонт склада разошлась, — сказал старшина, — вот и надо ее списать как-то. Понятно теперь?

— Непонятно! — орал Владимир Петрович. — Если нет дсп, которое положено по довольствию, дайте хотя бы гвозди...

— Гвоздей тоже нету, — сказал старшина.

— Позвольте!.. Или выдадите положенные нам гвозди, или мне придется подать рапорт по начальству, что царит произвол...

— Ну, где я тебе возьму гвозди, пойми ты меня... — говорил старшина. — Ни гвоздочка не осталось...

— Выдайте нам гвозди! — орал Владимир Петрович Петухов.

— Кончай базар! — завопили мы, надышавшись пылью. — Что ты как неродной. Гвозди ему... Помнишь классика? Никаких гвоздей. Свети потихонечку, а там разберутся...

— А вас, между прочим, не спрашивают, — отвечал Петухов. — Как были солдаты пушечным мясом, так и остались, никакой сознательности. Если нам положены гвозди, мы должны их получить. Вдруг в боевой обстановке жизнь будет зависеть именно от какого-нибудь одного-единственного гвоздика, а?.. Те, кто составляет довольственные ведомости, тоже не дураки сидят. Выдать гвозди — и все тут. Я без гвоздей умирать не намерен. Гвозди на бочку, старшина. Последний гвоздь я приберегу для себя...

— Пойми, нету, нету их, будь человеком...

— Заткнись, шестеро яиц! — орали мы. — Хватит мозги конопатить! Ты и этого не унесешь, столько получил.

— Я отсюда не уйду, пока мне не выдадут хотя бы один гвоздь, — твердо заявил Владимир Петрович Петухов.

— На, на, только заткнись! — Старшина схватил гвоздодер и вытащил первый попавшийся гвоздь. — На, доволен теперь?

— Дело не в «доволен», — заявил торжественно Петухов, — я получил то, что положено, а остальные, — он презрительно оглядел нас, — могут подвергать свою жизнь какой им угодно опасности.

В дальнем углу, светя лампочкой-переноской, мы разобрали сваленные инструменты. Взяли саперные лопатки в защитных чехлах, с деревянными бирками, исписанными чернильным карандашом так, что невозможно прочесть —

одни потеки. Лопатки были легонькие, миниатюрные, и я подумал: как странно, что мы воюем этими недомерками, а строим крупными, настоящими лопатами, и все же не угнаться за такими вот карликами!

Перед выходом со склада старшина проинструктировал кратко: «Беречь оружие пуще глаза! В случае чего...» — «в случае чего» старшина опустил, но было и так почти ясно, потом старшина часто говаривал нам: «Чему учит устав? Никаких случайностей, ибо случайность — хорошо замаскированная закономерность!»

— Это, ребята, понять надо, — наставлял Петрушин. — Оружие, оно дисциплинирует, чтобы руки всегда заняты были...

— Ручонки шаловливые, — подсказывали ему.

— Верно. Не с пустыми же руками шляться, — подчеркивал Петрушин.

Ободренные присутствием оружия и окрыленные словами о случайности чего-либо, мы проследовали через город в указанном старшиной, а ныне боевым начальником направлении.

Мы шагали довольно споро, в полной боевой выкладке. Но Петрушин командовал: «Ходчей, ходчей давай, ребяташки! Родина ждет не дожидется!.. Что вы, как жабы волосатые, ей-бо!» И мы, подтянувшись, шагали быстрее. Пилотки туго стягивали головы некоторым из нас, каски подпрыгивали на спине, били по горбу, ремни винтовок натирали плечи. Но мы шагали, понимая, что Родина не в силах ждать, пока самочувствие наше улучшится, и так заждались, горемычная.

Голосок тоненький летел по-над полями, заливался:

— Антропка! Иди, тебе папанька задницу драть будет!

— Вот, — скомандовал старшина растроганно, сурово сдерживая слезы, — ради их счастливого детства мы и воюем.

Шли мимо пригородных огородов. Мимо фруктовых садов, которыми славился Пустовск. Мимо, мимо, мимо. Наконец Петрушин позволил разоблачиться и сесте.

Вокруг было поле, за ним желтая песчаная дорога.

Тишина! Ах, какая кругом тишина! И голубело небо — такое свежее, бесконечное, пульсирующее — ух, вдохнуть полной грудью эту свежесть и не выдыхать никогда.

Только что это напоминает? Что? О! Да ведь дня три... какой дня три! — позавчера запускали здесь самолет. Вот она, голубизна, вот флажки трепещут под ветром. На кустах обрывки бумаги: желтые, зеленые, синие, красные. Пустые бутылки блестят пыльными стеклами. Все то же самое, только теперь война. А остальное — то же. Зеленое, синее, красное, желтое.

Желтое... А ведь осень. Осень... Еще так горячо дышит земля, еще стоят жара и белесое марево, а ведь осень!..

— Ингредиент! — окликнули.

Я оглянулся. Ко мне бежал редактор, запыхавшись, неся в одной руке тяжелую сумку, а другой утирая пот.

— Здравствуй, — сказал редактор, садясь рядом на траву. — Как ты?

— Нормально.

— Ну и хорошо. У нас тоже нормально. Галя передает привет и напутствует, чтобы ты стал настоящим мужчиной. Она будет ждать. Служи только... Да, — после паузы, — я здесь покушать принес и еще... машинку пишущую, записывай все и мне отсылай. А я сразу в номер... Я машинку веревочкой привязал. Повесишь на шею, даже на ходу печатать можно...

Он обнял меня и поцеловал крепко. Вскочил, заплакал и быстро пошел через поле назад, в город.

Вороны (лингвистический этюд). — Ура-а!

Мы занялись подгонкой обмундирования, перематыванием портянок с ноги на ногу. Еще на складе старшина твердо высказал свое мнение о них: «Я солдату без портянок не доверяю. Он для меня как бы и не солдат вовсе. В разведку с таким не пойду. Портянки — лучшее дело». Уступив его знанию, я тогда разорвал носки и обмотал вокруг ступней (к сожалению, моего размера портянок не было).

— Не знаю, как что, — произнес Петрушин. — Пока приказов не происходило, но, так как война и в порядке разминки опосля перехода — надо нам, ребята, вырыть окопы полного профиля.

— Может, анфас лучше выроем, старшина?

— У? — поинтересовался Петрушин. — М-м, — помотал головой. — Будем рыть, как говорено.

Расчехлили лопатки и, поплевав на ладони, стали окапываться. Тяжело спорилось с непривычки!.. Покуда копали, появился высокий объемистый мужик в разношенной военной форме и представился замполитом.

— Клад ищемте? — пошутил он.

Мы не отреагировали.

— По чьему приказу роете? — обратился он к старшине.

— А по собственной воле! — зло ответил ему старшина. — Хочешь посмотреть, посмотри, а не встревай. Мешать-то все здоровы.

Замполит сел в сторонку и закурил, отпуская изредка замечания: «Кидай веселее!» или «Бруствер, бруствер повыше выводи!».

Сначала думалось, что бессмысленное дело — копать землю саперными лопатками, однако под слоем рного дерна оказался звонкий сышучий песок. И работа пошла легко, но окоп все осыпался, становился шире и шире, осаживаясь.

В золотом песке вились голые красные корни сосен. Они бесконечно пересекались, сплетались причудливей и теснее. Нам было жалко беззащитно голые корни да как-то не верилось: такие красавицы — и это корни их.

— Чего бережете, сачка давите? Срубайте, — посоветовал замполит.

Старшина:

— Пусть живут. Зачем срубать? Если б на дело. А так, зазря, портить не надо. Сказано тебе, сиди в тряпочку!

— Все равно попадет, погубнем. — Замполит не уточнял, что, собственно, попадет.

— Это мы... А они останутся. Хоть одна, да выживет. Много-то и не надо: шишку уронит — и снова... Целый лес вырастет.

— С вами не договоришься, — махнул замполит рукой и ушел куда-то.

И мы копали дальше, только слышалось трудолюбивое сопение.

— Во, червак! — раздался знакомый хулиганский голос. — Разветь червак в песке живет? Непорядок... И вообще цельную жисть пресмыкаться?.. Ни песен о ем не расскажут, ни сказки о ем не споят... Как думаешь, старшина, споят о ем сказки?

— А черт его знает! — ответил Петрушин. Помолчал. — Да иди ты к богу! Кто ж о червяке будет сказку складывать? Работай лучше давай!

— Два солдата из стройбата заменют экскаватор. Мы чего — стройбат, старшина?

— Кончай подначивать, — сказал старшина, — я человек справедливый...

От такого оборота Гусь струхнул и заткнулся, точнее, забормотал себе под клюв, вроде еще выступая для смелости, но ничем уже не рискуя:

— Не должен червак в песке проживать, вот мы его... ыть...

Во все продолжение беседы розовый кольчатый червяк извивался у него на лопатке. Гусь поднес лопатку к морде, потом раздался характерный присвист, будто проглотили макаронину. (Вот и сказке конец.)

Тут вернулся замполит, объяснил обстановку, чего мы так долго ждали.

— Летят ракеты врага, их даже локатором взять невозможно, — важно произнес замполит. — Благо ветер встречный, подзадержал их чуток, а потом колхозники закидали их шапками, но шапки в приграничных сельпо кончаются.

Мы даже охнули.

— Слушай, братцы, — сказал вентролог, — что же у нас, оружия больше нету, что ли, чего это, шапки какие-то?

— Оружие есть, — разъяснил замполит, — самое новейшее есть оружие. Построенное на физических принципах, на теории относительности даже... А ты говоришь — нет... Ты таких гадских разговоров не затевай...

— А если есть, то какого мы здесь делаем? Принципы, принципы... Что мы тут копаемся, если такие на все руки принципиальные?

— Ты не ори. Ты лучше подумай, как ракетам этот принцип объяснить, они его не понимают, летят себе и летят... Да, плохой у нас враг — тупой, угрю-

мый и необразованный,— подмахнул замполит.— Кабы не долг, с таким и воевать-то зазорно. Поэтому мы здесь.

— Ладно, хватит базарить. Думай пока, как их останавливать будем.

— А что мы, хуже других,— вступил в разговор Володя П., — пусть и мы шапками закидаем. И все дела.

— За шапками уже послали в область,— замполит посмотрел в нашу сторону веско,— но надеяться особо нечего: не сезон сейчас. Прошлогодние шапки носили, а новых не пошили еще... Может, шапок и вообще не будет.

Мы сидели, думали.

— Значит, так,— объяснял нам старшина,— как шапками пользоваться, если привезут. Так, в правую руку берешь шапку.левой рукой дергаешь ценник. Считаешь до семи. Хорошенько прицелившись, кинул шапку, ценник положил в нагрудный карман для отчетности...

— Да брось ты,— замполит вздохнул,— не будет шапок. Точно не будет. Это я так сказал, чтобы панику не сеять. Их нигде, аж, может, до самой Москвы, нету...

Мы сидели на кучах вынутаго из окопов песка и курили. Тягостно висело молчание. Тихо шуршал, струясь, песок, затягивая опять окопы. Что делать? Что делать-то? Кто виноват?..

Замполит исподволь:

— А как бы... может, под них как лечь с гранатами?.. Вроде под танки?.. А?.. А мы бы это увековечили и в дивизионной печати, и в песнях изустно.

— Не-а,— наотрез отказался старшина.

— Промазать могут...

— А вдруг попробуете, ребятки?.. Попытка не пытка...

— Ты свои козлиные мысли брось! — произнес кто-то, но кто, неясно, потому что ни у кого из присутствующих такого голоса не было.

Все стали оглядываться друг на друга.

— А чего глазеть, я открыто заявляю: козел и есть козел...

— Кто сказал? Кто сказал? — подскочил замполит.

Но кто сказал, если сидели с закрытыми ртами и курили. Я начал догадываться.

— Не... — продолжал возражать старшина.— По-за тот год пытались ложиться... Дохлое дело!

— А как же?.. Как-то остановили все же?

— Во-первых, это не у нас, а дальше... Во-вторых, зимой происходило. Помнишь, зима какая была, у?.. Шапок навалом. Мороз, холодрыга, они же сами в воздухе замерзли, так и попадали, зазвенев... Мне земляк рассказывал... — Все молча смотрели на старшину.— А может, и не остановили вовсе... — закончил он вдруг, помолчав.

Вот тут Паша и придумал: надо нам вышки строить и отбивать эти самые ракеты шестами. Не отбивать даже, а плавненько развернуть и отправить в обратную сторону, и ветер будет тогда попутный.

— Во, умный человек! — сказал Петрушин.— Другое дело. Эх, жалко, да надо. Придется рубить, ребята...

И закипела работа. Похватили топоры, срубили стоящие поблизости сосны. С треском — сучья в сторону — снимали кору. Нам кору не надо было снимать, но так получилось, что, не договариваясь, решили делать на совесть: и как-то приглядней зачищенное бревно, и, обструганное, меньше тревожит душу — уже не дерево, а стройматериал.

А время идет. Пора бы уже вышки скреплять. Здоровенными, многодюймовыми синими до звонкости костылями пробиваем насквозь бревна, плывет звон. Раскатывается эхо по лесу. Все длиннее, длиннее сбитые бревна, связи выводим что надо — наросты, утолщения, настоящие суставы,— потом объявляем длинными просмоленными, жесткими, как ладони, веревками. Принялись поднимать. И эх — чуть, и эхма — еще чуть. И... Встала вышка, чуть левее — другая. Далековато, правда, но ничего. Все, успели. Теперь ждать. Уфф.

— Ну, спасибо, ребяташки, молодцы! — похвалил Петрушин.

Замполит тоже что-то пробурчал невразумительно.

А старшина говорит:

— Чего, перед атакой — последнюю? — и достал, раскрыл стальной портсигар, начал угощать по кругу. Но у всех оказались полные пачки.

Сидим, дымим. С большой Б и тихого Алкаша отослали на вышки с шестами — они и будут настоящие бойцы, а мы так только, для резерва. Так, только ожидая, еще страшнее.

— Стоп! — прервал замполит. — Кончай перекур. Проведем собрание. До появления вражеских средств назначения — быстрый и точный взгляд на часы — осталось время эн плюс минус около трех минут по Реомюру. Именно в этот напряженный момент...

— Отстань ты! — Петрушин обратился к замполиту: — Пусть ребята отдохнут. — И обратился к нам: — Для солдата очень важна наука психогигиена, чтобы он случаем, например, трепак не подхватил или не сбрендил в ожидании атаки... Самое милое дело, чтобы сосредоточиться... В личное время собачка причиндалы лижет, а солдат?.. Солдат бляху драит. Снимай ремни, начинай бляхи чистить!

Мы расстегнулись. Однако дело вот в чем: мы-то были обеспечены ремнями, Гусь же по странности своей фигуры получил какой-то комбинезон, а ремень ни один не подходил, напроць, пришлось подвязаться веревочкой. И, судя по всему, он тоже струхнул, потому что снял с себя веревочку и сосредоточенно так сидел и чистил ее, надраивал до блеска.

— Серьезного, думаю, не будет, — успокоил нас старшина, — но если найдутся раненые, то не бойсь, врач впрок рецептов навывисывал, при пулевом, значит, либо осколочном ранении, значит, чего?.. — Он достал из подсумка записочку, бережно расправил на колене, долго вглядывался внимательно в буквы. — А! Мазать рану раствором йода три раза в день перед едой. Хранить в темном прохладном месте. В общем, не трухай!.. Начинается...

Мы подпоясались и залезли в окопы. Тишина свалилась внезапно. Только изредка мы перекрикивались в звонком осеннем воздухе: «Ну как?..» «Чтой-то не видно...» И наконец: «Летит!» — возвысив голос, заорал вентролог.

Ракеты шли, подрагивали и гудели, медленно торя дорогу, не развернутым строем, а дугом (видать, колхозники постарались), и потому старшина отозвал вентролога. Действовать надо было одному Алкашу: по любым расчетам ракеты выходили прямехонько на его вышку.

— Во, Сусанин фигов, — шкодливо хихикнул Гусь и кепчонку нахлобучил поглубже (он кепарик так и не сменил на пилотку), — чичас их направит, — и длинно сплюнул, угодив как раз на мушку винтовки.

Ракеты подлетели близко. На передней висела шапка с кожаным верхом, широко болтая развязанными ушами, другие были вовсе простоволосы. Алкаш подпустил их поближе, уперся ногами в пол, поднял шест и стал оборачивать ракеты в противоположную сторону. Одну, другую, третью. Сначала он работал с азартом, постепенно движения его сделались вялыми, и, наконец, когда оставалась единственная ракета, а прочие тихонько отправились в обратный путь, он махнул рукой и полез вниз по лесенке.

— Ты куда? — спросили мы дикими голосами.

— А, нехай летит! — ответил он спокойно и устало. — Сколько ж можно? Толкаешь их, толкаешь. Я чего, нанялся?.. Вы лежите, а тут как проклятый... — И спустился на землю.

Ракета миновала вышку, сердца наши застучали тревожно, однако, по счастью, дунул боковой ветер и ракета, ослабленная уже сопротивлением на границе, прибилась к деревьям. Там она запуталась в сухих и пустых осенних ветвях и остановилась, тяжело шипя, рассыпая крупные оранжевые искры.

На яркие выблиски появились откуда ни возьмись воробны или вороны (кто их разберет?), присели в стороне, выжидая, самая смелая боком, боком подкралась, клюнула осторожно, прилаживаясь, а там подскочили все, и через пару минут от ракеты ничего не осталось. Радостно каркая, воробны или воробны (?) поднялись и закружили в небе.

Тут случилось чудовищное. Как известно из учебников и из ежедневной практики, птицы перерабатывают корм на лету. Так вот, сразу же после расклеивания ракеты воробны или вороны (?) стали испражняться с такой дивной силой, что дух захватывало. Их помет, едва достигнув земли и войдя с нею в соприкосновение, взрывался, и взметались черные грибовидные тучи, но малых размеров, когда они опадали — громадные воронки искажали местность.

— Надеть каски! — закричал истошно старшина. — И ложись крепче!

Вжимаясь, я подумал: «Вот, оказывается, почему вороны или вороны (!) так называются...» Раздалась новая серия взрывов.

Мы лежим носами в песок и землю, еле заметно дышим глубоко, чтобы не привлечь любопытства птиц. Вдруг замполит вскочил и с кратким курсом на устах, перемежая его комментариями, совершил-таки геройский поступок. Вот уж чего от него не ожидали: посвистывая и щелкая портупеей, он отогнал ворон или воронов, повлек их куда-то вдаль. Как выяснилось затем, поля под озимые были взрыхлены в полчаса.

Раскаты взрывов замолкли. Замолкло все. Полная тишина. И сквозь нее внезапно прорезались кузнечики, задолдонили. Тршш, трш — застрекотали они непонятно откуда, запели непонятно как тоненькими, сосулечными голосками.

Петухов приподнял среднюю голову, железные каски звякнули, посмотрел вокруг изучающим взглядом и осторожно крикнул:

— Ура?!!

Нервное напряжение было настолько сильно, что, не сговариваясь, мы полезли по осыпающимся песочным стенкам окопов, сквозь духоту. Оттолкнулись от кромки, взяли винтовки наперевес, я поправил машинку. И побежали.

Свободное пространство охватило и укатило назад. Выбежали на дорогу. Топоча тяжкими сапогами, с беззаветным, рвущим душу криком. Пыль стояла низко, плотной стеной, но чем выше, тем меньше пыли. Там — наверху — она, радужная, пронизанная солнечными лучами, светилась. Вдоль дороги — слившиеся в одно деревья, кусты, телеграфные столбы и километровые. Песчаная дорога перетекла в шоссе. Перекресток. Указатель со стрелками. Влево: «Кирзач», вправо: «Баден-Баден». Мы бежали прямо.

Гулкие шаги за спиной. Замыкающий предупредил:

— Мужики! Замполит догоняет!

Мы наддали, и топанье постепенно стихло.

Мелькнул пограничный столб, полоса ничейной земли, груды шапок, как память о недавних боях.

Пересекая непересеченную местность.— Любопытная страна

За кого они приняли нас, не знаю. Никто из нас не знал, за кого они приняли нас. Не знаю, знали ли они, за кого они нас приняли, однако, исполняя долг и обязанность, они закричали и открыли обещанную стрельбу.

Мы бы остановились, но разве остановишься на бегу? Мы бы выстрелили, но кто из нас мог стрелять? Мы придвинулись вплотную, я бы сказал, в штыки, если бы мы имели штыки.

Удивительное лицо было у одного из встречающих. Оно было удивительным потому, что с этим человеком я учился на одном курсе, человек, не окончив института, куда-то запропастился (а я вот доучился до конца. Теперь) я окаменел.

— Ингредиент, стреляй! Ну, стреляй же! — Чей-то знакомый голос, но чей?

Я видел — чужой палец, измазанный чернилами, лежал на спусковом крючке, палец напрягся в суставах. «По правилу — звук выстрела должен быть неожиданным», — подумал я.

Раздался неожиданный звук выстрела, и мой противник, раскрыв рот, беззвучно или вскрикнув, начал оседать, оседать, оседать, оседать, оседать на землю, от края губ его длинно пролилась быстрая струйка крови и замедлилась на подбородке, набухла каплей, капля не упала, набухая и набухая...

Что это? Что? Вдруг увидел, как незнакомый уже целится в Пашу, который только что спас мне жизнь, защитил меня, упредив противника.

О, если бы мы не валяли дурака на занятиях! Если бы мы не считали эти занятия глупой формальностью! Если бы я знал, как винтовка ставится на взвод! Как производится прицел! Как пуля, соединяя в единое ненависть, упор плеча, устремление глаза, поражает противника! Я не знал, не умел, не был, не участвовал, не привлекался, потому перевернул тяжелую до невоглоту винтовку и ударил прикладом стоявшего передо мной. Поцарапанный приклад легко

вошел в лицо, проломил надбровную дугу, левую скулу, из дыры выдавился мозг (мягкий он, что ли?). Стоящий передо мной упал.

Винтовка была безнадежно испачкана. Я с отвращением отбросил ее, зашатался, и на розовое месиво под ногами полилась обильным потоком голубая блевота. Она лилась, лилась, я стал задыхаться, чернеть, голубеть.

— Ингредиент ранен! — услышал возле.

Меня подхватили сильные и добрые руки, понесли отсюда...

Пригород, где поля начинают переходить в лужайки, палисадники, а невдалеке толпятся городские крыши. Мы упали в таком зеленом поле, чтоб отдышаться и сосчитать потери.

— Сильно задело, Ингредиент? — спросил Паша.

Все опасно смотрели в мою сторону, вдруг я умру — читалось на их лицах, — что тогда делать? Я промямлил вроде «мм» и отрицательно покачал головой. Они успокоились.

— Все-таки советовал бы перевязать, на всякий случай, — посоветовал Петухов.

— Вот ты, хмырь, и перевязывай! — буркнул вентролог голосом старшины.

Стой, а где старшина? Его не было. Неужели погиб?

— Да не может старшина погибнуть! Куда денется?.. Мужик тертый!

Старшина, старшина... Прочие налицо: вентролог, Паша, Алкаш, весь Петухов, Гусь и я.

— Что за страна-то? Хоть бы знать. Кто название заметил, когда бежали? — Вентролог обвел нас старшинским взглядом.

— Я заметил, — сказал вдруг Гусь.

— Ну, ну? — любопытствуя, занукали мы.

— Есть одна страна такая, — задумчиво протянул Гусь, — любопытная... Хрен знает где-то, вот.

— Что, что?

— Слушай, да кого мы слушаем! Он языков-то — один матерный знает со словарем! И чего уши раззявили?..

— Пойдем в город да спросим!

— Винтовочку-то вы зря выбросили, — укоризненно закачал мне головой Владимир Петрович Петухов, — за это и под трибунальчик попасть можно.

— А ты молчи, хрен, как будто не видал ничего! — вдруг сказал громко Володя П.

— Он не видел, — подтвердил Владимир Иванович, — мы тогда на другом фланге воевали...

— Вы — воевали, — ответил Владимир Петрович, — а я — видел!

— Ах, ты еще и не воевал! — закричал Володя П. — Это мы, значит, кровь проливали, а ты по сторонам глазел! Да за это тебя под трибунальчик!

— Не забывайте, Володя, — вступился Владимир Иванович, — под трибунальчик, извините, все тогда пойдем. Никак иначе...

— Да я... да я за правду... — запинаясь Володя П., — да я за правду хоть куда пойду, судьи разберутся, кто прав, кто нет, невинных не засудят...

— Между прочим, — человек с большой Б влез в перепалку, но опять не своим голосом, — в тридцать седьмом году, помню, и невинные страдали. Вот я, например, отбывал заключение...

— А вас, простите, реабилитировали, или вы так скочите? — заинтересовался Владимир Петрович. — Может, вы за дело пострадали? Может, вы с диверсантами сотрудничали, может, вы колодцы стрихнином отравляли?

— А ну вас! — Гусь засобирался. — Пока здесь будете хрен к клюву прикидывать, я в загранке нагуляюсь. Кто со мной?

Эти люди ссорились сейчас собою, а между тем они совершили подвиг. Да, да, да, настоящий подвиг, ибо подвиг — это естественные действия в предлагаемых обстоятельствах, как объяснил нам потом старшина. И вдруг такие малые слабости...

*Раз как мы есть победители.—
Родимые пятна чужого мира*

Мы взошли в город и теперь шли по улице не хухры-мухры какие-то, не баран тебе начхал, как скажет Гусь.

Странное ощущение. Вот, например, мы принесли культурную и освободительную миссии сюда, неизвестно кому, даже нам, то есть никому, в это государство, государствочко (по размерам судя), и ни благодарности, ничего... Странное ощущение. Кажется, они даже освобождаться не желают, предстоит еще долгая, кропотливая, тяжелая работа, чтобы открыть глаза, кто же мы все-таки на самом же деле.

А страна... Ну, что страна — в один город. А город... Ну, что город — обыкновенная заграница: улицы и площади чистые, мощеные, как в Прибалтике, крыши из черепицы, как в Прибалтике же, люди тихие и занятые, опять как в Прибалтике. Собственно, и разглядеть не успели, летит сигнал:

— Ходи сюда, вашу так-то!

— Слышь! — кивает Гусь. — А вы боялись, будто старшина запропал... Такой потеряется...

— Ходи сюда, я к кому приказываю?!

Надо идти, согласились мы между собой, все едино найдет. А что с трофеями делать? Гарнизон здесь оставлять, нас всего: Гусь — раз, эти, Петуховы, — два, Паша — три, Гусь... Гуся уже считали, да, Алкаш рядом пошатывается — четыре, вентролог — пять, я... Старшина седьмой, кричит неизвестно откуда, его считаем сугубо номинально. Итого: шесть (сумма прописью). Да еще взвод шестой, едрена вошь, везет нам на эту цифру, что ли?

Владимир Иванович Петухов говорит:

— А давай ее с собой возьмем — она ж маленькая.

Скатали страну в рулон, отложили в сторону. Открылась бездна, заполненная рудами, металлами и тому подобным, в общем, яма.

— Эту дрянь брать не будем, — указывает Гусь. — Тащить опупеешь...

— Полезные ископаемые следует взять, — затряс головой средней Петухов. — Во-первых, в качестве вещественных доказательств, что мы не зря в заграничной командировке побывали, а во-вторых, они очень пригодятся нашей хозяйственной Родине в ее постоянном строительстве. Она все это переплавит и использует при случае.

Володя П. и Владимир Иванович пожали плечами, а Гусь даже подпрыгнул от возмущения, хлопнул крылом себе по заду.

— Ты что, жлоб? Ты ее, что ль, понесешь-то, гад мордастый, пряник гладкий, головастик, змей горыныч!

— На общих основаниях... А за оскорбление я могу применить оружие как старший по званию.

— Каково же у тебя звание, шестеро яиц? — заинтересовались мы.

— Старший в отделении, — кивнул Владимир Петрович направо и налево.

— Ну, раз ты старший, то и начинай нести.

— Сначала вы, у меня плоскостопие.

Они еще долго бы препирались, но издалека, разрываемые ветром на части, донеслись тяжелое дыхание и кашель Петрушина, а потом показался и он сам.

— Садись, старшина, перекурим, поругаемся в свое удовольствие...

— Что ж вы, черти, не ту страну взяли?

— А что ты, такой умный, — ответили старшине хором, — отстал-то, руководитель?!

— Твою так! — выругался Петрушин и поправился: — Вашу... Не я отстал, вы медленно бежали, я свернул куда надо, а вы промахнулись лишку... Ладно, взяли что есть — и хватит! Теперь пошли, а то я устал там один круговую оборону держать.

— А ты бы не держал, — сказал кто-то чужим голосом.

— Тебя, милый, не спросил, — ответил старшина, упираясь взглядом в вентролога. — Надо, и держу.

— Ты что на меня смотришь, старшина? Чего смотришь-то? — заволновался вентролог. — Думаешь, это я говорил?

— Мне наплевать, кто говорил. Ты крайний сидел. Разбираться больше не буду. Я есть начальник, на кого хочу, на того и смотрю... Мне все одинаковые... Люди разные, а портянки у всех грязные, — сказал старшина и вдруг засмутился рифмы. — Надлежит вашу страну оприходовать, бирку повесить.

— Чего-то, — Гусь кивает, — края у ней корявые, бахрома... Не по-военному... Давай края подровняем... — Вымерили шагами правильный прямоугольник, старшинским штыком обрезали. Аккуратный получился сверточек. — Во... — удовлетворенно сплевывает Гусь, — и красиво, и нести довольно легче... — Однако жук — мы не поняли сперва, чего он обрезать-то задумал. Аккуратно... аккуратно...

Мы встали и пошли за старшиной. Гуськом, один Гусь чуть в стороне, буквой «г», как конь, ходит... Плелись, еле переставляя ноги от усталости. В глаза светило ослепительное солнце. И пылила за нами белая дорога.

— Эй, старшина, — спрашиваем, — разрушения-то от ракет большие?

— Нет никаких разрушений, — отвечает старшина. — Что значит сильный ветер попутный, ракеты дальше еще и полетели...

Мхатовская пауза с чеховским подтекстом. Угу...

— Быстрее, быстрее, пока враг не опомнился, — подбадривает Петрушин, — близко осталось... Помогите тому, кто сверток несет... Кто несет? Не дает ответа. А кто нес последним? (Знак согласия.) — Значит так, ребята, — говорит Петрушин, — виноватого искать, что макароны из мелкашки продырявливать, а сверток найти надо. Штука заграничная. — Старшина печально вытянул губы. — Тяжело нести, нечего было брать и вешать инвентарный номер.

— Это что, — вступил Владимир Петрович, — здесь еще поважнее вещь потеряли. Военное имущество... А если оно в руки врагу попадет? — И заткнулся: Володя П. крепко пхнул ему промеж лопаток.

Мы разбрелись по разным сторонам дороги. Чуть левее начинались кусты. Я шел к ним среди высокой — по колено — травы и огромных (по пояс?) красных цветов, дрожавших на попутном ветру. Они пахли! Пахли!

В кустах копошились, пыхтели. «Вдруг затаившийся враг?» — подумал я, и мне стало жалко его и боязно. Когда я ворвался туда, желая застать противника врасплох, Гусь от испуга отшатнулся. Перед ним лежал зелено-бурый сверток, увенчанный биркой.

— Нашел?

Он молча поднял сверток на плечо и принципом коня пошел к плескавшейся рядом речке, с каждым шагом чуть удаляясь и внезапно приближаясь к цели в итоге.

— Куда?

Он обернулся.

— Ты, что ль, ее понесешь?

Я понял. Помог дотащить сверток. Печально булькнув, Хрензнаетгдевия, или как ее там по матушке в переводе, пошла на дно, увлекаемая тяжким инвентарным номером. Мутная вода пахла свежестью. Круги разошлись, вода снова застыла.

— Так-таки и не нашли? — подозрительно спросил у всех разом старшина. — Хорошо, за дружность и коллективизм прощаю. Спишем как-нибудь...

Показался город.

— Старшина, а, старшина! — говорит вентролог. — Воевать воюем, а кормить кто будет? А, старшина? Сухой паек положен.

Петрушин замямлил:

— Дома поедим...

— Когда еще дома будем! Мы загранку хотели посмотреть! А мы... — раздавались голоса.

— Тогда, — заключил старшина, — кормиться будем по ходу дела. Только вы уж, ребяташки, без мародерства постарайтесь. Потерпите. Раз как мы есть победители, — сказал Петрушин, — то где-нибудь и покормят. Свет не без добрых людей. А кто станет мародерствовать... — пауза, — тут — военно-полевой трибунал.

— Да разве мы в поле? Город кругом...

— Ну, просто военный, — одобрил Петрушин. — Но уж к стенке есть где поставить.

Между тем мы в городе.

Старшина посмотрел на часы и объявил: половина дня свободна (хотя кто наше время учитывал?). Но ходить во избежание эксцессов придется под его командованием.

Мне, Паше и ветрологу все равно, так, прометнуться по магазинам, глянуть, что дают и почем. Гусь мечтал посмотреть какой-нибудь фильм попорнографичней или, на запрет старшины, хотя бы детям до шестнадцати.

— Что, жалко, что ли? — канючил он. — Все же победители как-никак? Жалко, да, жалко, да?

— Отстань! — согласился нехотя старшина.

О своем желании Петрушин ответил скупое: — А мне бы, это, в зоосад... Животных я очень уважаю... Деревенский я... — добавил он.

Петухов же заявил, что ему (ему, конечно, Владимиру Петровичу, а как он остальных уговорил, не ведаю) до лампочки их буржуазная экзотика и он просто посидит возле фонтана, покормит голубей (чем, интересно, он собирался их кормить, паразит?), в крайнем случае сходит на почтамт и отправит жене телеграмму, если не очень дорого (чем он хотел расплачиваться за телеграмму?.. Кстати, выяснилось, и жена была у этого... любопытно, а у остальных?), и что — соблаговолил Петухов — он может покараулить вещи и оружие. Алкаш присел и молчит, и ему разрешено было остаться под командой Петухова кормить голубей чем бог послал.

Не стану утомлять внимание читателей описанием чужих кунштюков, они в силах увидеть сами, потому что после нашей и серии аналогичных побед за границу доступ заметно облегчился.

В универмаге ничего интересного, да и все вещи были явно не нашего размера, покроя и расцветки. В зоопарк вход нам закрыт. Контролерша у входа, а билеты отсутствуют, где она, валюта?

— Пойдем отсюда!

— Безобразия! — ругается ветролог. — Им бы нас благодарить, что ракеты мимо пролетели, а они что?.. — Приблизился к контролерше. — Мать! — кричал ей в ухо, как глухой. — Солдаты — бесплатно. Муттер!.. Зольдатен!.. Кура, млеко, яйки и прочее... Йес?

Контролерша отшатнулась, и мы прошли.

Обезьяны символизировали возможности свободы личности и скучно переразнивали президента, все, кроме макаки, та сидела угрюмо за двойной решеткой, держа в лапах внушительный транспарант: красная задница ее упрямо считалась признаком левых убеждений. А вот буржуазный хамелеон, представленный в изобилии за стеклами террариума, был беспринципно серого цвета и менял его с быстротою молнии.

— Это не животные, — разочарованно сказал Петрушин, — а прям звери какие-то...

Зато киносеанс порадовал. Проходили без билетов, под крыловодством Гуся, который, к своему удовольствию, распоряжался, будто начальник, даже покрякивал на старшину. Проходили, как проходят в клубах и окраинных кинотеатрах, на фу-фу. Стыдливому Петрушину мы поставили вперед, а потом шли по порядку, объясняя вежливо, что билет дальше, указывали рукой назад. Замыкающим шел Гусь. Не знаю, как он отбазарился, но, видимо, и вправду был крупным специалистом.

Фильм «Альфонс и Далила» нас поразил, буду искренен, если скажу, что ничего подобного, как в тот раз на экране, мы ни до ни после не видели даже в жизни. И поначалу поступки героев нас чрезвычайно занимали, а тут еще в самых забористых местах по делу и без ветролог стал ахать и охать, как «баба навскидку», по образному выражению Гуся.

— А телки-то, телки какие!!

— Где телки? — заинтересовался старшина. — Чего-то пропустил.

— Невнимательно смотришь. Были.

— Да? — сомневаясь, произнес Петрушин. — Сбили своим кино. Как ни глянешь, в кровати валяются — никакого распорядка дня. Подъем там, зарядка, ну, в общем, как положено...

А кинопроектор трещал и трещал.

— И сколько же им за это плотют, что он на всех наклам, голяком при народе ходит да еще и баб здесь пробует?

— А я бы бесплатно согласился! Бабцы первый сорт...

— Эх!

Закурили от глубины переживаний. Сидим, куря в рукав, тихо, слабо оза-ряются лица, сигаретка в кулаке, дым забирается вверх, плоскими облаками плывет по экрану.

— Смотрят, буржуи! — прошептал Гусь, и в голосе его послышалось неестественное напряжение. — Сейчас я им устрою атмосферку культурную!..

Он посопел, покряхтывая, а потом сильно крикнул и пукнул. Но этак тоскливо — так в старое время домовые выли. По голосу ясно, что он хотел дернуть погромче, а получилось вяло, выморочно как-то, от неядения долгого, когда нечем поддержать организм, ничего не распирает его нутряной, почвенной силой. Из-за энтропической ситуации, собственно, и согласились мы пойти в кино, дабы забыться и продержаться.

— Да вы что? Зрители же кругом! — Старшина подскочил и выбежал из зала.

И мы выбежали за ним. Доле нам было скучно.

Пропажка.— Домой, домой, домой...— Ночные разговоры

На площади возле фонтана сидел, пригорюнившись, самтрест, Петухов, уронив головы в ладони, у ног его прикорнул, раскинувшись на камнях, Алкаш, а по ним и вокруг них мирно ходили голуби, воркуя.

— Представляете, представляете, — бросился с рассказами средний Петухов, — стоило отойти на десять минут, — забормотал наперебой: — Возвращаюсь, ни вещей, ни его... А через час приходит, пьяней вина, пьяней вина, и вон — спать завалился. Я его расталкиваю, спрашиваю: где снаряжение?.. Ничего... молчит... Пропил, пропил казенное имущество, снаряжение пропил, оружие — все пропил... Я не виноват, я не виноват... это он... я готов объяснительную записку дать...

— Не оправдывайся, не оправдывайся! Вместе сторожили, вместе и отвечать будешь!

— Теперь тебе, подлюке, все слезки мышкены отольются крутым свинцом! Радовался, что человек несвежую винтовку выбросил? Радовался?.. А из-за твоей милости мы вообще с пустыми руками остались...

Петухов зашел в рыданиях.

— А вы что, — обратились к Владимиру Ивановичу и Володе П. — Куда смотрели в четыре глаза?

— Да мы заговорились между собой...

— Ладно, разберемся.

Мы растолкали Алкаша, побрызгав его водой из фонтана и предваритель-но стряхнув голубей. А тот бормотал задумчиво:

— Поналетели голубя. Много их, голубев...

— Вещи где? Куда дел?.. Пропил, говори!

— Да какие вещи? Наши, что ли? — отвечал он довольно связно, хотя и медленно. — Не брал я чужих вещей... Сроду...

— Пил на что? На что пил?.. У тебя же валюты нет... Кто тебе выпить бес-платно даст? Без валюты?

— Мне за так и не надо, я кореша встретил. А мы с ним завсегда не счита-емся, у кого есть, тот и угощает...

— Все! Хватит! — Старшина рубанул рукой. — Домой, домой и домой...

— А жрать, старшина?.. Кормить нас думаешь?

— За поганое поведение, потерю казенного имущества и нарушение воин-ской дисциплины остааетесь без обеда. Как без ужина, видно будет. Становись живо... К кому приказано, становись! — Мы ровно построились, и он чуть смяг-чился. — Хорошо, хоть без трибунала обойдется: оружие и снаряжение списан-ные-пересписанные, на балансе не числятся... Шагом марш!

...Темнота и ночь застали в пути. Целый день пролетел за делами-забота-ми. Целый день из нашей не такой уж и длинной человеческой жизни. Зря он прошел или не зря? Не могу знать!

Мы свернули с дороги на луг. Расположились там, подстелив на влажную траву портянки, развели костерок. А когда еще больше стемнело, накопили в соседнем поле картошки, напекли.

Картошка с солью да с сухарями запасливого старшины, да запить водой из ручейка, когда не ел целые сутки. Да закутить потом...

Старшина:

— Отчего огонь горит, кто знает? Объясните, что ль.

Гусь:

— А от чего утка плавает?

— Ну?

— Дурак, а еще начальник! От берега!

Старшина задумался, не обидевшись. В тишине, может, в такт его думам, скорей всего в такт, не может быть, что не в такт, потрескивал, стрелял сухо костерок, воздымаясь, опадая и дымя, как-то по-домашнему обустривая темноту.

— Тогда, что же, костер от земли горит, получается?

Гусь заерзал, прихихикнув, однако не во весь голос гоготнул, дожидаясь подмоги, дабы оставить старшину в окончательных дураках, самому спрятавшись от расплаты.

— А, и верно, все от земли,— задумчиво проговорил старшина. И при этих словах пламя взмыло, хлопнув, словно шелк под ветром, только лица сидящих осветились, но ровно, светло и ярко, и никто не засмеялся, так что лица были чисты, неподвижны и не искажены злой насмешкой.

Помолчали.

Плясало ярчайшее оранжевое пламя. Порхал огонь, порхал с края на край. Потом постепенно огонь утихал, утихал. Опадал, становясь все ниже, пока наконец не заглох сам в себе, замолк в редких лиловых сполохах.

Мы зарядили вторую порцию ворованной картохи. Сидим. Разговариваем по душам.

— Бывало, выйдешь с утра, а на улице туман от реки тянет, холодок замолаживает...

— Чего?

— Да у нас так говорят. Замолаживает. И петухи горла дерут, соцсоревнование проводят, кто громче кукарекает. И в хлеву тепло, душно, ну, там буренку доят. Молоко парное, теплое, дымится даже над ведром и этак струйками в ведро — дзынь, дзынь.

— Весело рассказываешь, старшина,— вступает Владимир Иванович Петухов.— Вроде как само делается, мы не сеем и не пашем, а одно благолепие...

— Да брось вы, ребята, брось... Вот слышь, слышь... Я вот тоже, в школе еще, однажды учителке стул клею перемазал. Пришла она, села в платице и приклеилась. Так потом со стулом и вышла. И зачем?.. Хорошая такая учителька, красивая... — Да это Гусь говорит!

Посмеялись. Гусь, увлеченный успехом рассказа, снова продолжал:

— А вот я думаю чего: у негрятцев у этих все причиндалы такие?.. Иначе ж чего говорят — черномазый?.. Писатель, ты в столицах жил, не видал у негров-то причиндалы?

— Они мне не показывали.

— Да нет, может, как случайно, на улице там...

Старшина:

— Негр, он и в Африке негр... А я бы пошел негров вызволять, да вот жена...

— Что, залает?

— Да нет. Дети у ней... четверо...

— А у тебя?

— Тоже четверо...

— Что же это, восьмеро у вас? Густо.

— Да нет. Всего четверо. У нас же общие они. От ейного первого брака... Послушные такие, знай корми успевай. Маленькие еще... Видно, с Африкой придется погодить...

— И у меня дети,— встревает задумчиво Гусь.

— Ну-у?.. Врешь...

— А что же это, у меня детей быть не может?.. Еще как может! Только бабу подставляй... Правда, врать не буду... Один всего у меня... дочка... от Гальки...

Сердце мое зашло и сразу захолонуло.

А Петрушин все никак не мог оставить заветную мысль:

— Бог с ней, с Африкой... Там боевые условия неудачные. Пустыня... Хрен окопаешься.

— А чего пустыня,— вдруг вступает Алкаш,— чего пустыня? Песок замешать цементом три к одному и залить водой — вот и лучше асфальта будет, чисто, гладко. Только где воду взять?.. Пустыня...

— Это, с водой-то ерунда,— говорит Паша.— Идея богатая, а с водой можно местными силами обойтись. Роемся, например, колодец глубоководный. Берется слон пожобше, ну, повместительней, опускается на веревках. Как он воды набрал, его вытаскивают, слон воду выливает, и так опускать до готовности...

— Угу. Искусственное дыхание слону будешь ты, Паша, делать! — смеется мы.— При нынешней технике проще воду из Европы на самолетах возить.

— Это правильно.— Паша не обижается.— Я о другом. Я о принципе говору. О природе... Вообще много чего в природе еще нужного. Мы из нее выжимаем, а можно было бы готовое брать... Вот пустыня, а и в ней сколько полезного. Ящерица вот — тоже полезное животное.

— Чего в ней полезного-то? Суета одна. Ни в хозяйстве использовать, ни для удовольствия поиграться. Плохой товарищ — сразу хвост отбросит.

— Ну как, ну как... Все можно применить... Ящерицы хвосты кидают, а мы их собираем, и...

— Ну?

— Ну, чего... Можно студень варить опять-таки...

— Да, студень — хорошо,— соглашаемся мы.— Может, какой-нибудь из ее хвоста особо полезный студень получается. Мы ведь и не знаем. Темнота. Изучение нужно...

— Я и говорю, научное изучение. Вы представьте, у коровы хвост один, и все тут, и то какая удобная! А ящерица у вас жить будет. Ее корми до нужного момента, а она тебе хвостов накидает — только подбирай. Надо с душой относиться. Ферму, там, механизированную построить, с автоматическим вывозом хвостов...

— Это верно... Когда по-хозяйски подойти, всему применение найдешь.

— Лысенко! — вдруг загоготал Гусь с мешаной интонацией удовольствия и подначки.— Лысенко! — И все гоготал, не унимаясь.

— Чего клюв-то оскалил? Люди о серьезном беседуют.

Он гоготал. Поуспокоился немного.

— Дураки совсем, что ли, веселого не понимаете? Ведь от «лысый»-то происходит! — Гусь опять безудержно заржал.

Чего на дурака внимание терять?

— А вот что будет,— спрашивает Алкаш,— когда у каждого свой самолет личный появится?.. А?.. Ведь будет же такое время? Будет?

— Будет! — твердо говорит старшина.— И мы это время придвинем, хоть к будущим поколениям.

— Появится у каждого самолет. И скажет кто-нибудь: за Уралом, например, шмурдяк дают. И очередь маленькая... Тут все по самолетам, срочный вылет. Готовность номер раз. У Васьки, конечно, там, крыла нету, Володька без шассей, Петька тоже крыло веревкой примотал, но полетели... А там Зойка какая-нибудь засовом дверь заложила — и на обед. Так бы зря и смотались бы... — печально заканчивает он.

— Что ты все тоску навеваешь?.. Душа, что ли, горит?

— По Родине...

— Давайте спать, братцы, завтра шагать-шагать...

Все ближе Родина.— Последний вздох.— Разлука

Шли вперед и падали, выбиваясь из сил, опять вставали, опять шли, опять падали, падали, падали все чаще, устав, идя впроголодь, но шли, пытаясь хоть еще немного приблизиться к дому.

Вот упали на пахучую сырую траву и сразу заснули. Мы спали крепко, хотя сны приходили тягостные и темные. Но не было сил проснуться. Даже устроиться поудобнее не было сил. Я как привалился неловко повернутой головой

к забору, прижавшись щекой к шершавому дереву, так и очнулся утром с шеей, затекшей, болящей неимоверно, с глубокими багровыми наспанными складками на щеке.

— Хорош,— увидев меня, пенял Владимир Петрович Петухов,— голова на боку, представитель нашей великой армии...

— А у тебя вообще три головы, хоть ты и тоже представитель, я бы заткнулся...

— Вот и заткнись.

Разговор произошел после, как-то. А пока мы вырывались из сна.

Но стоило лишь открыть глаза, огромное, яркое, удивительное солнце ослепило нас, на некоторое время все снова пропало, провалилось в звенящую радужную темноту.

Постепенно мы пригляделись и увидали, что сидим в блестящей от росы траве возле высокого нового забора. И дерево теса, желтое, смолистое, лоснится и пахнет. На заборе коричневая струйка смолы.

— Смотри, Гусь, не хочешь?

— Угу...

И мы стали жевать. Рот наполнился вязкой горечью, обильной слюной. Свежестью пахнет, хвойными иголками.

— Старшина! А ты?..

— Да я сам насобираю... Вы жуйте...

Остаются темные, липкие пятна на руках — на ладонях, на пальцах. Стоит поднять глаза чуть повыше, скользая взглядом вдоль теса, к небесам,— на колыях блеск, яркая глазурь чистеньких, новых горшков.

— Я на разведку сползаю,— ерепенится Гусь.— Может, чего поклевать стибрю...— И уполз.

...Он полз, раздвигая траву, огибая угол домика, и прямо перед собою увидел капроновый беленький гольфик в обтяжку. На гольфике этом голубыми пятнами проступали узоры из карточных мастей — тref и виной. Чуть повыше резинки была красная, нежная складочка на коже и — еще выше — розоватая, белая нога, и еще выше — нежное, с темными дырочками, кружево трусиков.

— А это что за масть у вас? — И хватать за ногу.— Азартные игры?

Хозяйка гольфика тихонько вскрикнула и упала рядом на траву в обмороке...

— Что же, придется жениться,— сказал Гусь.— И вообще видал я вашу жизнь, ни жратвы, ни притину... Я семьей обзаведусь.

— Это вы что же,— вступил Петухов,— за границей хотите остаться? На цацки их клюнули?

— Может, у него любовь, а? Настоящая, первая? — спросил Володя П.

— Знаем мы, какая это любовь!.. Красоты свободного мира!

— Тебя, козел, не спрашивают,— сказал Гусь,— любовь у меня или дружба-фройншафт, но по случаю праздника приглашаю всех, хоть пожрете вдоволь...

— Я, конечно, против,— высказал свое мнение старшина,— однако раз вешку открыл, надо жениться, это долг и обязанность...

— Точно,— подтвердил Гусь,— как служба в армии, необходимая для каждого настоящего мужчины!..

Вечером того же дня мы сидели за брачным столом как почетные гости. В подарок от подразделения мы преподнесли единственное наше оставшееся имущество — мою пишущую машинку — и теперь с полным правом уничтожали съестное и питье.

Водка льдисто блестела в рюмочках и запотевших бутылках. Соленые огурцы зеленели в кадках. Спаржа кустилась на блюде, а ростбиф (господи, ростбиф?) рдел, чуть замаскированный спаржей («Разведчик», — изрек вентролог, указывая на него безымянным пальцем). Еще стояли — или лежали — хлеб, масло и вкусный сыр «Рокфор», который чем-то напоминает детство. И не просто детство, а именно ранние классы средней школы.

Гусь сидел в торце, в черном костюме-тройке, специально пошитом для данного случая, и обсуждал теста:

— И чего лопочет, шиндра заморская, без аперитива и не разберешься... А вот какая ихняя национальность? Не знаешь, часом, писатель?

— Не знаю. Да что тебе с того...

— А вдруг французы? За бабой следить умотаешься. Сам понимаешь... французская любовь... Сейчас здесь — сейчас там, так и летай за ней по-над кустами, выискивай в зеленых насаждениях. Лучше уж какая шведка, что ли: они ленивые все, как бревна на реке...

— Ну, не скажи. Это вдвоем ленивые. А про шведскую любовь слышал? Прямо плотами лежат — один к одному.

— Ладно, там поглядим. А говорят-то хоть по-каковски?

— По-своему.

И мы опять пили и ели.

— Хило, хило ты угощаешь своих боевых друзей, не по-русски, — все приговаривал Владимир Петрович, — нет, не по-русски. Перенял уже обычаи заграничные, перенял... Вот я сейчас к случаю стишок расскажу, а вы послушайте... как предки наши потчевали...

— Просим, просим! — почему-то закричали мы все на разные голоса. — Читай, головастый!

Петухов вышел на середину комнаты, влез на табурет, отставил в сторону правую руку и выдвинул левую ногу, насколько позволяла ширина сиденья.

— Мы, шестьдесят человек, Манцин, к тебе позваны были,

И предложил ты вчера нам кабана одного,

Где ж виноград, что...

— Аааааааа! — заорали истошно, сразу в несколько голосов, безвозвратно прервав течение стиха. — Аааааааа!

Мы спешно повернулись на крик. Орала новая счастливая семья: Гусь, его невеста, тесть и теща. Тесть потянулся к Гусю, тот увернулся, они выскочили из-за стола на свободное пространство. Тесть хотел схватить Гуся за грудки, но тот, выставив вперед лапу, закричал «Крияаа!» и дико захлопал крыльями.

Мы растащили их по разным концам стола. Гусь плевался и матерился, щелкая клювом, а те лопотали что-то возмущенно.

— Сволочь, буржуазия, харя! — ругался Гусь.

— Чего ты, чего случилось-то?

— Да ничего. Хотел жену с тещей на ощупь сравнить, и дел-то всего-то. Так нет, руками махать стали, горло драть, буржуи!

— Успокойся, успокойся, давай лучше выпьем...

Мы выпили, но настроение было подпорчено сильно.

— Женился я!.. Бабе продан! — яростно вопил Гусь, разрывая на себе черный костюм-тройку. Дерг — и с громким треском летели одна за другой тяжелые крепкие пуговицы. — Я, братцы!.. Сейчас помирать лягу! — вопил он, сбрасывая со стола все, что попало под крыло. — Недостоин!

— Да что ты, угомонись!.. Держи марку!

Но, как мы ни уговаривали, он не замолкал.

— Не могу, братцы! — ложась посередине стола. — А жарьте меня с яблоками, прошу, братцы, по дружбе прошу!

— С какими яблоками, ты что?

— С самыми что ни на есть расейскими... С антоновкой меня жарьте! Со штрифелем! Я себе сам пузу в спору, только ножик дайте! — И шарил вокруг себя, ища нож, расстегивая строгие черные штаны. — Не жалея, ребята! — Отстегнутые подтяжки, вырвавшись, описали две дуги и упали за спину, свесившись со столешницы.

Мы еще выпили, и он немного успокоился, но лишь немного: жажда мести мучила его при одном упоминании о прошедшем.

— Не, я во что придумал, пойдя, ты, с Б., пойдя сюда, поближе, соратник, — зашептал жарко и громко, — это, чтобы они, мымры, не слышали. Во что я придумал: ты ведь на любые голоса говорить горазд, да? На любые? Да?.. Слушай, слушай, я засек, где теща-то спит, засек... Значит, ты ночью, как темно будет, подходишь и лопочешь голосом этого сытого, мол, туды-сюды, а там и я подойду... Во, понял, понял?.. Хы... Понял...

Паша ко мне наклонился:

— Только военный секрет пока... Ингредиент, а ведь для разведчиков накладно вслух разговаривать, даже если тихо... Чтобы разведчика не рассекре-

тили, он должен чеснока наестся. Захочет кому весть передать: дыхнет по азбуке Морзе. Друзья принохаются, поймут. Как считаешь?..

— Друзья всегда поймут.

Свет наполовину притушили, мы сидели за столом в полудреме, изредка чокаясь и пригубливая рюмку за рюмкой. Кто-то включил музыку, тихо-тихо шипел-накручивал джаз. Снизу, откуда-то с пола, из-под стола, послышалась громкая надрывная икота... Что такое? Там, в темноте, разметавшись, лежал Алкаш.

— Не надо, братцы,— только и смог вымолвить он, когда мы попытались его выволочь.— Не надо, ребята... лучше стол отодвиньте.. Помираю я...

Мы прислушались, и действительно икота его не походила на икоту лишь пьяного человека, слышалась в ней какая-то последняя, почти запредельная, надрывность.

— Да ну что ты! Какой помираю... Что у тебя болит?..

Мы отодвинули стол в сторону, теперь Алкаш лежал на открытом полу, распластавшись бессильно, обреченно.

— Помираю, опился... коньяк французский... шампанское...

— Чем помочь ему? — стали переговариваться между собой.

Он прошептал:

— Портвейнчику или бензину бы...

Портвейн, портвейн... Где же ему найти сейчас портвейна? А вот бензин... Мы перерыли весь дом, разбудили хозяев, запершихся в спальне вместе с невестой, искали и в подсобках, и в шкафах, и везде... Нету... И взять неоткуда — родственники Гуся жили вдалеке от людей, на хуторе, если по-нашему.

Алкаш в это время уже кончался.

— Может, ты хочешь чего, а? Съесть или... Может, сказать чего дома, родственники-то у тебя есть?.. Адрес какой?..

— Ингредиент,— позвал он меня,— Ингредиент... передай Гальке привет... и береги ее... она хорошая... добрая... Она такая... Музыка! — вдруг возопил он истошно.— Музыка дайте, нашей, русской, музыки, не могу так помереть, не хочу... Хотя музыку найдите...

Мы снова бросились искать по дому. Нет, нет, нет, все не то, все не то, ни одной записи, ни одной пластинки с русской музыкой. Но нет, нет, нашли, нашли все-таки, на какой-то большой пластинке, среди прочих, затерялась, присыпанная английскими буквами, родная мелодия. Раскрутили проигрыватель, поставили, и вслед за обрывками чужой речи прорвалось сквозь шипение: «Оччши шшорные, оччши штраштные...»

Алкаш, лежа на полу, задергался, забился от боли, от ужаса, от невозможности, отходя, забился, заерзал, затряс плечами, стуча затылком об пол. Тело его выгибалось, жизнь никак не хотела выйти из него, пытаясь остаться, задержаться. Мы стояли рядом и смотрели на этот последний, страшный, трагический танец.

«...Какх люппиль я ффас...»

Человек напрягся, последний звук его тела выпорхнул из-за спины, и тело распрямилось. Улыбка осветила лицо навечно. Путаясь в руках, Петухов снял каски, обнажив головы.

— Вот так,— произнес Гусь мрачно,— все порем на чужбине. Раз — и все, нет такого....

Хорошо копалась эта земля, не осыпалась, густая, жирная, а была чужой. Мы схоронили товарища в глубине сада, под деревьями. Впрочем, Гусь и тут был недоволен:

— Что за растения? Понять замотаешься. Фэйхуа какие-то. Под такими и лежать тошно станет. Я, ребя, я ему елок в лесу нарою. Понасажу сверху елок, враз как на Красной площади станет...

— Чего на столбике-то писать? — спросил Петухов.— Как его фамилия?

Мы молчали.

— Документы какие остались?

— Вот бумажка в кармане лежала. Может, там чего написано?

— Стихи, братцы!

— Смотри-ка, тоже поэзию писал,— сказал Владимир Иванович,— а мы и не знали. Поговорили бы...

И медленно пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна

Меня разыскивает с мамою
Моя законная жена...

— Ух ты! — аж задохнулся В.Н. Петухов. — Вот это поэзия! И складно все. И композиция выдержана. Прямо как у Владимира Высоцкого...

— А чего там про мать и жену?.. Место жительства не указано случаем?

— Да одинокий он... Какая мать?.. Это поэтическая гипербола.

— Так чего на столбике писать? — опять переспросил другой Петухов. — Мы молчали. — Ладно, — решил Петухов, — сделаем просто. «Имя твое неизв-стное, а подвиг твой бессмертен». Хорошо?

— Подходяще.

— Для первого раза так и запишем.

Домой.— На границе.— Мы со старшиной

— Нале-во! — скомандовал старшина. — На родину ша-гом марш! — И мы зашагали, оставляя за спинами живого нашего товарища и могилу нашего товарища мертвого.

«Ты пиши! Не забывай...» — дали перед тем Гусю адреса. Он не выдержал, заплакал, судорожно матерясь, и убежал в дом, вытирая крылом слезы и соп-ли. А мы построились и пошли.

— Давай, ребята. У всех дела накопились, а я — так корму животным все-го на три дня задал. Чего безгласная тварь страдать будет из-за этих агрессо-ров!

Но мы и так шагали как проклятые, ощущая пережитое и оставленное все-ми телами.

Иссиня-черные, сладкие дымы отечества восставали на горизонте. Мы старались дышать полными легкими, блаженно заводя глаза.

Все ближе родина, все ближе, ближе.

Вот она. Еще издалека донеслись громкие звуки оркестра, веселые голоса. Неужели это встречают нас? Вот здорово! Теперь мы действительно почувст-вовали, что мы — победители.

От встречавших нас отделила только редкая цепочка людей с красными повязками на руках, они, должно быть, были призваны, чтобы обеспечивать необходимый порядок.

Ровным строем мы подошли. Старшина скомандовал остановиться, а сам рванул, подрывая ногами, таким строевым шагом, которого за ним и предполо-жить не могли. Но люди с повязками прервали его.

— Куда прешь? Здесь прохода нет!

— Да что вы! — удивился Петрушин. — Какой проход? Это же нас встре-чают!

— Прямо! — засмеялись люди с повязками. — Торжественное мероприя-тие проводится. Соединение пролетариев.

Наш строй рассыпался, мы подтянулись ближе.

— Вали отсюда, не мешай! — распорядился начальник оцепления. — И без того достаточно.

— Но мы же победители!.. Мы же...

— Ничего не знаю. В списках соединяющихся есть??? Нет!!! Тогда ка-тись... Вообще кто такие?..

Воспользовавшись заминкой, Петухов бросился сквозь оцепление.

— Ты куда? — заорали ему. — Ты куда?

— Отстань, дурак! — кричал Петухов. — Не видишь, я уже соединился?.. Пролетариату дорогу!

Бросился вперед Паша, начались столпотворение, суета. Вентролог рва-нулся в людскую круговерть, а нас со старшиной оттеснили обратно.

— Ладно, — успокоил себя старшина, — народу много, пропасть им не да-дут. А нам с тобой, Ингредиент, придется идти где в другом месте. Тут глухо. Пойдем отсюда.

Вокруг была вязкая темнота. Одна, две, три, четыре, одиннадцать, двенад-цать желтых мерцающих звездочек. Но приглядишься: еще одна, еще, еще... Сколько их! И не заметишь сначала. Черное небо, как лукошко с черникой,

блики ягод, темный-темный блестящий фон. Так мне кажется. Заблудился я в небе. Что делать теперь? Кто поможет?

— Давай,— позвал старшина откуда-то оттуда. Не с небес ли? — Так ведь не успеем.

Разве можно быстро идти в темноте? Невольно замедляешь, уменьшаешь шаги, смотришь и задумываешься.

— Да что ты там, а?.. Заплутал? Иди на слова!

Я шагнул в ту сторону, откуда раздавался голос Петрушина, и со всего размаху наткнулся на старшину.

— Дурак, что ли совсем, идрить твою в кокарду!

— Извини, я не нарочно.

— Не нарочно... Как ты понять не можешь, что тебе за меня держаться надо! Ежели меня из строя выведешь, никуда не доберешься. Ты один, будто кутенок слепой...

— Между прочим!.. Впрочем, ты прав, старшина.

Темная фигура рядом со мной шевельнулась.

— Эх, ты! Ну, давай руку-то.— Теплая шершавая ладонь старшины стиснула мою ладонь.

Мне вдруг стало совершенно спокойно и хорошо, будто ведет отец, будто воскресенье и можно никуда не торопиться, но все-таки опаздываешь в зоопарк или, например, на мультики. Рука очень тяжелая, большая и доверчивая. И мы были вдвоем в этой ночи. А вокруг — неизвестность, звезды, лес, многозвучная тишина. Так мы шагали долго, спотыкаясь то ли о корни, то ли о кроны деревьев,— ничего не видно. Старшина, пыхтя, двигался чуть впереди, разводя свободной правой рукой не замечаемые мною препятствия.

Наконец лес кончился. В лунном свете, льющемся ровными полосами, лежало поле. Оно все блестело, посверкивало, было завалено пустыми консервными банками.

— Уфф! — Старшина внезапно остановился, вытер рукавом пот с лица. Я же от неожиданности налетел на него, ткнулся носом ему в спину.— Кажется, пришли.. Наши.

— Куда пришли? Какие наши? — Я никак не мог понять, что он имел в виду.

— Граница. Пока ихняя, конечно, а вишь по-за там безграничные пространства — так это и есть родина. Наша, разумеется... А тут — нейтральная полоса, — обвел широким жестом.— Ну, давай покурим, да и с богом! — Достал из кармана галифе большой стальной портсигар, протянул мне, раскрыв предварительно.— Чем богаты!.. Небось, «Казбека» и не признаешь?

Граница на замке

Перед нами трепетал мелкий лесок — обыкновенный российский березнячок-осинник, тоненькие, не взявшиеся еще ни вширь, ни вглубь деревца. А на опушке стояли просто так, без забора, огромные тесовые ворота. На них отличал жирной технической смазкой не менее серьезный замок. Рядом аккуратно прикреплена записка «Вытирайте ноги! Г. г. диверсантов просьба не беспокоиться», а возле постлан пестрый лоскутный половичок.

— На замке,— произнес Петрушин, благоговейно понизив голос до шепота.— Ну-ка...

Старшина полез под половичок рукой. И так, и этак шарил под ним, переворачивал, глядел на свет (солнца не было, одна луна стояла на гидропиритном небе).

— Ничего! Вот когда я на границе служил в однатисячадевятисотматых-такгоду... мы завсегда ключ под коврик клали. А здесь не пойму: то ли порядок другой стал, то ли разгильдяй какой в карман сунул и унес? Придется переходить. Боишься? — Он с интересом взглянул на меня.

— Домой очень хочется...

— Жаль,— произнес старшина.— Вон,— указал на табличку,— кажись, образцовая застава. А мы им весь месячный план по переходу испортим. Ну да ладно. Чего уж! Не оставаться в эмиграции ведь...

Но лишь обогнули мы ворота, загремели выстрелы, огонь блеснул из ближних кустов, и пули засвистели у нас над головами, как певчие птицы.

— Я же сказал, образцовая! — с радостью крикнул старшина.

И мы грохнулись ничком, зарывшись, вжавшись в отцветшую травку, мокрую от росы. А оттуда — из кустов — закричали срывающимся ломким голосом:

— Стой! Стрелять буду!.. Кто идет?

Потом затопало, захлопало, зашуршало вокруг. Раздались громкие осторожные шаги, тихие крики. Свежо запахло гуталином.

— Ишь, работают! Видать, и в округе — передовая. — Эти слова старшины я услышал последними, а там навалилось на меня сверху тяжелое, душное, громоздкое...

В той комнате незначая встреча. — Свои, старшина

...Когда очнулся, старшина сидел рядом со мной на корточках и чистил суконным лоскутком пуговицы гимнастерки.

Я оглянулся вокруг — и душа моя страданиями людскими уязвлена стала: серые казенные стены, густо исписанные вдоль и поперек. Бросались в глаза две размашистые надписи: «Повар, сука, кирзы не докладывает, а сам начальству докладывает, что докладывает» и «Я здесь был, чего и тебе желаю».

— Да не смотри ты так! Гауптвахты не видал? — сказано с такими тоской и безысходностью, что сразу передалось и мне.

Ясно. И не о чем разговаривать. Так что я лежал на полу, закинув руки под голову, и грустно глядел в потолок, исчерканный разными указаниями и словами. Как туда-то они достали?.. Взлетели?..

— Не лежи — простудишься. — Старшина был поразительным человеком, не уставал я удивляться. И самое главное, ни при каких обстоятельствах Петрушин не мог долго отчаиваться. — Не лежи ты. Походи, что ли... Вон на окно залезь, посмотри кругом. Только не лежи без толку...

Маленькое окно под самым потолком и снизу — гладкая отвесная стена. Никакими силами, казалось, невозможно добраться до него. Но, присмотревшись, я увидел выцарапанные в кирпиче углубления и свободно залез по ним. Там, схватившись за решетку, я висел и смотрел на волю.

Сверху вниз, опуская взгляд: голубое, яркое, словно теплое небо, бело-розовые облака, ниже — верхушки леса, еще ниже — утопанная до серого, бараньей шкуры цвета, земля.

В центре площадки висело чучело. Из порванных швов вылезали в разные стороны цветные тряпки, стружка и еще черт знает что. А вокруг в полной боевой выкладке — с автоматами, подсумками, противогазами — кружили вспотевшие, с красными широкими лицами солдаты.

Я смотрел на учения до тех пор, пока руки, сжимавшие прутья решетки, не заломило. Спрыгнул. Походил по камере. Присел на врытый столбик толциной чуть более карандаша «Гигант». Но усидеть оказалось невозможным.

— Хоть бы скамейку какую поставили! — со злобой сказал я.

— Не положено — гауптвахта, — спокойно возразил мне старшина. — Не майся... Хошь, тряпочку дам, пуговицы натрешь, я свои вычистил...

— Так почисти ремень!

— Нет ремня, отобрали, — невесело ответил старшина. — Не положено — гауптвахта, — добавил он уже спокойно.

— Дяденька, у меня ремень не отобрали... Хотите почистить? — В углу зашевелилась фигура. Встал из темноты человек. Нет, скорее человек.

— Кто таков?

— Кынарейкин, товарищ старший адмирал! — откликнулась фигура на вопрос Петрушкина звонким мальчишеским голосом.

— Ты не больной ли часом? — спросил напрямик старшина. — Какого такого адмирала выдумал?

— И вы туда же, — опечалился человек и вышел под пробивающийся из окошка сноп солнечных лучей. — Неа... не больные мы... новобранцы... Званиям не успели выучиться, как сюда посадили...

— А что так? Небось солдат плохой? — послышалось у старшины презрение в речи.

— Неа... другое... Начальник наш — уж тоже звания не знаю, небольшой такой из себя, — он по педагогическому направлению заочный институт изучил, вот, говорит, в фамилии моем явный намек, что родственники больные... И, говорит, надо меня изолировать, чтобы не мог триппером заразить из служащих... И ремень отбирать не стали — инфекции боятся.

— А ты это... того... не заразный?

— Неа, пасыковские мы... У нас по плотницкому делу которые — все Кынарейкины... Спокон веку... Рейки... всякие бруски, опять же кино крутить можем, если в клубе...

— Это верно, — вдруг согласился старшина. — Мы же с тобой, Кынарейкин, почти земляки. Ты из пасыковских, а я из расстрижских, всего ж и двух тысяч верст не наберется!

— Ой, и правда! — обрадовался Кынарейкин. — Надо же, где земляка-то встретил! Всего-то, может, двух тысяч верст и нету...

— Не бойсь, Ингредиент, — повернулся ко мне старшина. — Это все говорильня одна, насчет болезни. Наши не заразные... — И снова к Кынарейкину: — Не ты ли к нам по субботам на танцы шастал? А?..

— Ой, дяденька! — вдруг заплакал рядовой плотник Кынарейкин. — Милый...

Дверь камеры загремела и распахнулась:

— Задержанные! По одному на допрос. Сначала ты, — ткнул в меня. — Руки за спину. Выходи!

Меня сопроводили в одноэтажный домик, стоявший от гауптвахты напрямик через плац. Там заставили ждать в приемной, где сидела то ли секретарша, то ли телеграфистка, так как стол перед ней был пуст, и оттого не ясно было, чем она здесь занимается.

— Вперед, — пригласили меня в кабинет.

— Садитесь, — приказал капитан с повязкой дежурного. Придвинул пачку папирос. — Курите! — приказал он. Я прикурил, закашлялся. — Не привыкли к такому табаку? Оставались бы там, курили б, что в голову взбредет.

— Но я хотел быть тут!

— Зачем? Зачем вы переходили границу? Говорите прямо!

— Говорю прямо, — ответил я. — Мы возвращаемся на родину.

— Хмы, — хмыкнул капитан. — Любопытно. Это стоит зафиксировать. — Кликнул конвойного и приказал: — Пригласите стенографиста с бумагой и канцелярскими принадлежностями!

Появился солдатик, неся кипу чистых листов и жменю карандашей, примостился возле маленького столика, разложив свои инструменты.

— Продолжим, — сказал капитан. — Фамилия, имя, отчество, пол?

— Ингредиент Субботий!

— Хмы, — снова хмыкнул капитан. — Кто вас послал? Советую не записываться!

— Простите, — я замялся, — прошу уточнить вопрос: куда послал? За границу или из-за границы?

— Из-за границы, естественно! Кто слал за границу, нас совершенно не интересует! Да хоть бы вы там и жили!

— Тогда — никто... Сердце.

— Так, — покивал головой капитан. — Все ясно. Начинается болтовня. Товарищ стенографист, — обратился он к солдатiku, — вы свободны. Аккуратно соберите вверенное имущество и следуйте по месту постоянного присутствия!

Солдатик щелкнул каблуками, встал и вышел, громко топая. Капитан смотрел на меня снисходительно и печально, будто о чем-то сожалел:

— На кого вы работаете?

— На кого — не знаю, а вот где — ответить могу. Я корреспондент газет «Вечерний Пустовск» и «Наше с вами дело». А за границу меня, как, впрочем, и моего товарища, послали...

— Нас это не интересует! — резко оборвал меня капитан. — Я предлагал не записываться! Что же, попробуем по-другому... Так... При обыске... При обыске у вас было ничего не обнаружено. — Он выдвинул ящик стола и посмотрел туда, снова задвинул. — Было такое, что ничего не было?

— Было.

— А!.. Сознался! — Капитан торжествующе выбежал из-за стола, прошелся по комнате и вновь уселся.— Продолжим.

— Послушайте,— попросил я его.— Разрешите рассказать все, как есть. А потом я отвечу на ваши вопросы, если они возникнут.

— Хотите пересказать «легенду», которую придумали ваши хозяева? Что ж, послушаем, послушаем, но коротко, чтобы не занимать драгоценного времени допроса. Ну? — Он выжидающе посмотрел на меня.

— Спасибо...— Я потушил ненавистную папиросу и придвинулся ближе к столу.

— Назад! — крикнул капитан, вскакивая.

— Хорошо-хорошо...— поспешно отодвинулся я.— Вот... Вы, разумеется, знаете о боевых действиях, проводившихся нашими вооруженными силами в связи с военным инцидентом...

Капитан утвердительно качнул головой.

— Так вот, как вы, разумеется, знаете, для участия был направлен контингент, в состав которого входили я и мой товарищ... точнее... Мой товарищ и я... точнее... Короче, тот, который сидит сейчас на гауптвахте,— это мой непосредственный боевой начальник, командир контингента, в общем...

— Стоп! — скомандовал капитан.— Плохо подготовились? Даже «легенду» рассказываете, запинаясь... Предание свежее, а верится с душком. Кто готовил?.. Впрочем, потом.

— Да почему же легенду? Почему же легенду?.. Это правда самая правдивая.

— Что, вас только двое было? — спросил капитан с любопытством.— А заместитель по политчасти, а личный состав? Где они? Почему двое? И без оружия? Без знаков различия, если не считать того, второго?

— Понимаете,— я заспешил,— я сейчас все объясню. Все как есть... Разумеется, нас было больше, но обстоятельства нас разлучили. Значит, так. Один человек умер вследствие несчастного случая на свадьбе. Один остался там с женой... он женился... Раз, два... Так... Трое потерялись вчера при переходе границы. И вот мы двое со старшиной. Все. А оружие... оружие у нас украли на вражеской территории...

— Интересно, интересно,— проговорил капитан.— Что еще придумаете?.. Не нужно здесь дурочку Ваньку валять! — крикнул он.

— В крайнем случае позвоните в Пустовск. А документы... Мы же направлялись в боевой рейд, поэтому не брали с собой документов... и замполита.— Тут я единственный раз пригнал.

— Путаетесь, опять путаетесь!.. Ну, тогда я вам объясню,— громко заговорил капитан.— Вы прибыли из-за границы с неизвестной пока целью для проведения террористических акций. Третьего не надо. Только сумасшедший может переходить границу оттуда — сюда. Сумасшедший... или заведомый враг.

Я подумал, что прикинуться сумасшедшим значительно проще, чем доказывать свою очевидную правоту. Но как в таком случае быть со старшиной? Два сумасшедших переходят границу по договоренности? По крайней мере если выяснение затянется, то можно потянуть время, пока нас отправят на освидетельствование.

Капитан прервал мои мысли:

— Но, даже если вы прикинетесь сумасшедшими,— будто отвечал он на мои сомнения,— участь ваша незавидна. Будучи признаны сумасшедшими, вы станете отправлены на принудительное лечение в соответствующее учреждение. Если же вы будете признаны нормальными, то к прежним прегрешениям, как-то: переход границы, террористическая деятельность и т.д.,— прибавится отказ от чистосердечного признания, а также попытка ввести в заблуждение следственные органы в процессе дознания истины. Выбор мелкий.— Пригрозил строго пальцем.— Сегодня разговор закончен. Идите и раскиньте мозгами по дороге. Завтра продолжим...

— Всего один вопрос, всего один...— Я задержался на секунду.— Боевые действия завершены? Я имею в виду, противник нами уничтожен и все такое, но само состояние войны продолжается или подписана капитуляция?.. Дело в

том, что, кроме всего прочего, боюсь, в горвоенкомате вы никого не застанете, сотрудники ушли по разным заданиям...

— Во-во, началось! Опять плетете! — сказал капитан хмуро. — Увести! — И, когда я уже выходил из комнаты, добавил: — Мы не поставлены в известность о каких бы то ни было военных действиях, совершавшихся в текущем полугодии.

Что-то щелкнуло у меня в мозгах, или мне это показалось, и я забормотал:

— Вай, вай, не совершившихся? Доунт может быть. Доунт, доунт. Май нейм из Катя. Ай воз борн ин Пустовск. Фотин ез ол...

— Ес, — кивнул капитан, — так и запишем: при предъявлении неопровержимых улик диверсант на вопросы отвечать отказался, говорил по-иностраннымму... — И часовому: — Увести, я сказал! Чего стоишь, как мишень номер два?

Как? Как не поставлены? Как ни о каких? Вопросы обуревали меня, пока я шел понуро по коридору. Навстречу, столь же понуро бредший, попался Петрушин, которого вели на допрос.

— Стой! Лицом к стене! — приказал конвоир. — Не разговаривать! — Будто мы не могли, если бы захотели, договориться обо всем со старшиной еще в камере и вот теперь на ходу намереваемся обсудить совместные действия...

— Да вы посидите, да вы отдышитесь, дяденька! — уговаривал плотник рядовой Кынарейкин. — Посидите, сейчас дяденьку Петрушина допросят, а там и обедать будем!

Добрая ты душа, рядовой плотник Кынарейкин!

Старшина вернулся озабоченный и уставший, но все-таки ничуть не изменивший себе даже в такой странной обстановке. Когда я бросился с расспросами, он отстранил:

— Погоди! Поедим, отдохнем сперва.

В камеру внесли бачок с обедом, и мы ели быстро, вкусно, обрадовавшись горячей пище, а после присели на корточки, чтобы обсудить создавшееся положение.

— Да как же, как же так, старшина? — спрашивал я его. — Есть же справедливость? Списки, наконец, ведомости. Свидетели...

— Списки, может, и есть, — отвечал старшина, — но у нас никаких доказательств, что мы есть мы. Ведомости... Ну, это я говорил: обмундирование и оружие списанное нигде не числится. Если и объясним, кто такие, мне напаяют за то, что подчиненных растерял, за то, что человек погиб, опять же за переход границы как минимум штрафбат. Тебе, значит, за переход... — Он задумался.

— Чего ты замолчал, старшина? Чего еще? Ведь мы не по своей воле в заграничку побежали... Точнее, по своей, но ведь чтобы Родину защищать. Это же понимать надо!

— Понимать надо, но они не поймут, — твердо сказал старшина. — Капитан этот как пить дать хочет повышение получить... Раз мы им план по нарушениям завалили, то они так дело обернут, чтоб себя в лучшем свете изобразить. Тем более задержали хорошо. А колесо-то закрутится — конец. Отошлют нас в центр и...

— Чего «и»? Чего «и», старшина?

— Не знаю. Думать надо.

Думали до ужина. Поужинали. И думали после ужина. Потом нам дали деревянные топчаны. Мы легли, но так и не заснули, ворочаясь с боку на бок, прикидывая и соображая.

— Посмотрим, что сегодня скажут, — объявил Петрушин наутро.

В общих чертах о нашей участи и мне, и старшине сказано было одно и то же, но мой разговор с капитаном передам более подробно.

— Мы звонили в пустовский горвоенкомат. — Капитан говорил торжественно. — Действительно, боевые действия проводились, но весь контингент, направленный для участия, вернулся, за исключением командира подразделения и четырех людей.

— Да это же мы! Мы! — воскликнул я, радуясь. — Старшина и я.

— Погодите веселиться! Я сказал — за исключением командира подразделения и четырех людей. У вас же нет, во-первых, никаких документов, удостоверяющих личность и, следовательно, причастность к упомянутым действиям, и, во-вторых, речь идет о четырех человеках, кроме командира, вас же двое...

— Правильно: один женился, один погиб, мы двое тут... — постепенно голос мой все опадал, все тишал.

Семеро нас со старшиной, но кто же еще не вернулся? Паша? Нет, он побежал за Петуховым. Петухов? Да нет, это исключено совершенно. Вентролог? Куда он делся? Да, вроде и он побежал.

— Вот так, — подвел черту капитан. — Завтра вы будете отправлены для дальнейшего разбирательства в... Не ваше дело куда. И там... Не ваше дело что. Подпишите, — он вынул из стола стопку бумаги, — протокол допроса. Можете ознакомиться. Вы во всем признались.

Мне было безразлично, что написано в протоколе. Наша участь уже решена, и я, не читая, подписал листки снизу, поставил число.

— Слушайте, капитан, — обратился после, — я ни от чего теперь не отказываюсь. Все подписал. Можно вас спросить, просто так, напрямую... Можно?

— О чем? — подозрительно осведомился капитан.

— Да ничего страшного. Ничего. Все равно сила на вашей стороне. Мне интересно другое. Откуда у вас такая жестокость, а, капитан? Если мы не виноваты?

— Опять за свое!

— Нет, нет, я не то... Я хотел спросить, почему именно так, наконец, вы хотите нас уничтожить?

— А как еще с вами прикажете? — Капитан посмотрел на меня. — Как еще-то с вами, такими диверсантами, обходиться? — спросил капитан. — Да пусть и не диверсанты, пусть границу по своим надобностям переходите, нам-то что, мы обязаны пресечь.

— Ведь бывают всякие причины. Всякие. Вся-ки-е... А вы-то сразу хотите смять, стереть в порошок. Почему, почему?

— Вы этот абстрактный гуманизм бросьте. Врага надо истреблять до последнего патрона. А кончатся патроны — возьми палку. Палка сломается — действуй руками, кулаками, зубами. Знаешь, медосмотр у нас проводится каждые полгода, чтобы зубы здоровые были...

— Зачем? Зачем?

— Заладил. Это наш долг. Народ обляк доверием.

— Не понимаю. Отказываюсь понимать.

— Как же? — Он не знал, что еще ответить на мое упорство. Но нашелся. — Деньги платят. Раз. Форму выдают. Два. И вообще — сапоги. Где такие сапоги достанешь? Только у нас. И то не всем дают. Вот у вас есть такие сапоги? Молчите... А я смотрю и вижу — нету... И потом: майором сделают. — Он крикнул: — Увести!

— Если до завтра, то время терпит! — обнадежил старшина. — Но дело плохо. — Петрушин задумался ненадолго. — А потому надо, — продолжил он, — произвести ориентирование на местности и тикать по чем зря.

— Слушай, — я даже испугался открывающейся перспективы, — за побег нам... если поймают, старшина, тогда...

— Ты на то и солдат, чтобы тикать, чтоб не поймали! Понял? И все дела. Проведут как учебную тревогу. Через неделю и не вспомнит никто. Так что... Полежай сначала на окно, посмотри вокруг...

Я вновь поднялся по выщербленным и заусенцам в стене, ухватился руками за решетку, посмотрел на волю и...

— Свои! Смотри, свои, старшина! Свои! — Я увидел лужайку за плацем, над ней, вниз винтами, завис вертолет и таким манером подстригал разнокалиберную травку. — Паша... Точно, Паша, старшина! Его тоже поймали! Вот здорово!

Петрушин вскарабкался на мое место, поглядел и слез.

— Свои — это хорошо. Свои. Но он — там, а мы — здесь. Вот и весь сказ.

— Но все же вертолет, старшина. Вертолет. Ты понимаешь?

Петрушин оживился:

— Другое дело! Вертолет! Надо срочно наружу... Просись, просись... Как бы живот, что ли, болит... А я пока наблюдать стану...

— Туалет и в здании есть.

— Ты просись, скажи, много накопилось, а там видно будет... Короче, придумай что-нибудь. Давай...

Я забарабанил кулаком в дверь.

Железный глазок распахнулся:

— Чего?

— В туалет, срочно надо...

— Жди, сейчас дежурного позову. — Глазок закрылся.

Я присел возле двери и приготовился ждать. Вдруг за окном послышались крики, беготня. Что там? Что? Старшина влез по стене, припал к прутьям лицом.

— Молодец! Молодец! — вскрикивал он. — Все. — Петрушин спрыгнул. — Можешь не ходить. Улетел вертолет.

Дверь со звоном открылась. Человек в проеме шагнул и сказал:

— Кто тут просился? Выходи!

— Я просился, — ответил я. — Я перехотел уже... Надо было раньше...

Последний шанс. — Это я, кот Васька. — Пыль отечества

Мы сидели втроем, прислонившись к стене, и старшина думал вслух за нас двоих, вместе взятых, не считая, конечно, Кынарейкина:

— Теперь охрану усилят. На улицу вообще пускать не станут. Только и радости, что времени до завтра. Так... — Петрушин обратился ко мне: — Приказываю отдыхать, а после ужина и начнем.

— Чего начнем?

— А как начнем, то и увидишь!

— А я, дяденька Петрушин? — спросил плотник рядовой Кынарейкин.

— Ты здесь не участник, но и тебе приказываю отдыхать, — разрешил старшина.

Мы еле дотерпели до ужина, так нам не терпелось.

— Рано еще, — сказал после ужина старшина. — Подождем отбоя.

Когда мы установили свои топчаны, старшина стал раздеваться, мы недоуменно глядели на него. Петрушин снял сапоги, посмотрел вокруг пронзительно, потом внимательно заглянул в правый сапог и запустил в него руку. Долго шарил там, в сапоге, ухватил, достал. Мы увидели у него в кулаке ложку. Обыкновенную столовую ложку.

— Видали? — Старшина показал свою ложку нам. — Всякий настоящий солдат должен с собою такую носить.

Мы молчали.

— Чего приуныли? Думаете, это только посуда, что ли? Нет. Это за обедом посуда. А сейчас это — шанцевый инструмент. Знаешь, Ингредиент, что такое шанцевый инструмент? Тьфу ты! — Его что-то смутило в сказанном.

Я пожал плечами.

— Не знаешь... Когда лопатки нет, то и ложка за шанцевый инструмент сойдет. И потому у солдата, который ложку имеет, всегда есть последний шанец, чтобы спастись — и себя выволить, и обмундирование. Стены здесь крепкие, ничего не скажу. Но пол-от глиняный, замесили? Будем копать наружу. — Петрушин твердо сжал ложку и пошел в угол возле окна.

Мы копали всю ночь в очередь, сменяясь и отдыхая, оттаскивали вынутую глину, разбрасывали ее по полу и разравнивали ногами. Камера становилась все меньше. Потолок приближался неудержимо.

— Этак мы скоро на четвереньках ползать будем. Несподручно, — решил старшина. — Куда бы ее девать, глину эту? В окно выбрасывать — заметно станет. Да и дышать нечем, если окно завалить. Вынести б. Ну, Ингредиент, просись по нужде!

Когда я вернулся, вывалив содержимое карманов в унитаз, на смену мне последовал рядовой плотник Кынарейкин, а затем сам старшина. Дело двинулось куда быстрее.

— Вас что, прорвало, часом? — выговаривал дежурный. — Каждую минуту бегайте.

— Не в камере ж справляться, — смиренно возразил старшина. — Ужин, видать, расслабляющий. По крупинке выходит.

— Дяденька Петрушин.— Рядовой плотник Кынарейкин сказал задумчиво, обращаясь к старшине.— Вот вы все знаете. Сколь в желудок влезает, если твердой пищи?

— Ты чего? Ты не выдумывай... Носил в карманах и носи. У тебя организм слабый, молодой, расшатать можешь! Я тебе приказываю...

— Жалко, а то бы мы вовсе, как Стаханов, работали...

Утро застало нас в унынии и тоске. Выкопали много, а стена гауптвахты все не кончалась, и, возможно, ей вовсе не предстояло конца.

— Придется действовать по смеалке,— заявил старшина, с трудом выбираясь из ямы, где его не было видно.

— Дяденька Петрушин, а дяденька Петрушин, возьмите меня с собой! — взмолился Кынарейкин.— Мне здесь не жизнь. Возьмите...

— Да куда я тебя возьму? Мы сами не знаем, что станет, пока побежим. Нет! — Старшина строго посмотрел на Кынарейкина.— Кабы мы в свою часть направлялись, тогда уж чего проще. Отписали бы бумагу. И оформили тебя переводом под мое начальство. А сейчас... Нет, прощай, Кынарейкин, прощай.— Старшина обнял рядового плотника и крепко поцеловал в обе щеки.

Дверь раскрылась, в камеру к нам вкатился на детском трехколесном велосипедике солдат: ремень его был распушен до последней возможности, гимнастерка расстегнута.

— Би-бип,— сказал солдат и затормозил на середине камеры.— Кого тут арестовывали позавчера? Собирайся и вперед.

Мы с недоумением смотрели на въехавшего пришельца.

— Старый, что ли? — поинтересовался старшина, оценив его внешний вид.

— Старый — это ты! — презрительно гаркнул солдат.— А я дембель. Вчера приказ вышел.— Он сделал круг по камере на велосипеде.— Би-бип, кому сказано?! Не заставляй дембеля ждать!

— Погоди, погоди секунду! — взмолился старшина.— Дай портянки перемотать. И пойдем. Будь человеком, гражданин...

Видимо, последний довод сразил солдата, потому что он протянул нехотя:

— Ладно, три минуты даю... — и выкатился из камеры, звонко бибикая.

— Ух ты, ух ты! — запричитал Петрушин, с удивительной быстротой стягивая сапог и ища что-то в его душных недрах.— Ух ты! Кажись, и нам подвезло... Собирайся, Кынарейкин. Собирайтесь, ребята, и чтобы начеку были, может, удастся нам дернуть.— Старшина достал что-то из сапога, спрятал в левом кулаке, а сапог напялил обратно на ногу.— Готовы! — закричал он в сторону двери.

В камеру вкатили трое на велосипедах:

— Кого конвоировать?

— Всех, всех! — заволновались мы.— Нас всех в трибунал везут!

Мы вышли на плац, на другом конце его стояла грузовая машина с распахнутым кузовом. Сзади катили конвоиры.

Всего каких-то сто метров отделяло от машины, на которой повезут нас в трибунал. Восемьдесят... Шестьдесят... Пятьдесят...

Старшина, шагавший между Кынарейкиным и мною, чуть помедлил, повернулся, разжал кулак и бросил что-то в сторону конвоиров. Это что-то ярко блеснуло.

— Ты чего? — подозрительно спросил один, но увидел что-то на земле, спрыгнул с велосипеда, нагнулся, стал подбирать, остановились и другие, тоже слезли, принялись хватать с земли что-то блестящее, началась свалка.

— За мной! — крикнул старшина.— Не отставать! — И мы свернули с плаца, миновали длинные приземистые здания казарм, подскочили к деревянному забору, ограждавшему территорию части. Подпрыгнули. Схватились. Подтянулись. Перевалили через ограду. И побежали.— Быстрее, быстрее! — пинками подгонял нас Петрушин.— Минут через пятнадцать спохватятся!

— Все прямо? Бежать-то? — поинтересовался я на бегу.

— Прямоком, прямоком...

Но прямо бежать оказалось нельзя. Перед нами возникло место, обнесенное тонкой «колючкой» на свежих колышках. «Опытное минное поле клуба юных разведчиков имени Маты Хари»,— прочитали мы.

— Что делать, старшина?

— Наскрозь,— сказал Петрушин.— Нечего делать.

Мы ринулись на ограждение.

— Только за колючку не зачепитесь! — упредил Петрушин. — некогда отчепляться!

Ноги увязали в перепаханной земле. Бежать было трудно. Почти невозможно. Мы бежали. Еще раз перемахнули «колючку» — с другой стороны. Выбежали на шоссе.

— Теперь в одну сторону, дай Бог ноги!

Мы бежали часа два или три, и необходимо было остановиться, чтобы вздохнуть, но кругом поля, одни поля, одни, ни леска, ни рощицы, а погоня должна уже начаться.

Мы бежали еще часа три или четыре и стали вовсе выбиваться из сил, когда вдальке затемнел деревьями островок среди полей. Свернули к нему, дабы укрыться.

В стороне была не рощица, а заросшее деревьями тихое сельское кладбище, смиренное, как все кладбища мира. Мы забрались в середину, упали на землю.

— Двадцать минут отдыха, — объявил старшина. — Уф! Не более.

Вот она, вот она, свобода. Пока еще не воля, но уже свобода... Мы лежали, тяжело дыша.

— Я, уф, тебе, уф, говорил, — сказал, тяжело отдуваясь, Петрушин, — что, уф, солдата портянки, уф, всегда выручают...

— А что ты им такое бросил, дяденька Петрушин? — с тревогой в голосе поинтересовался Кынарейкин, когда чуть пришел в себя. — Не опасное чего?

— Да нет! — Петрушин махнул рукой. — Значки на дембельскую форму... Тебе еще рано об них думать. Дослужишь, я тебе такие дам.

— Слышь, старшина, а как же мы, это, через минное-то поле-то перебежали? А?...

— Да вообще и не сезон. Урожай собрали. А, так, не знаю. Они могли и озимые посеять... Или рассады нету? А!.. Теперь-то чего лоб морщить, мозги трудить! Вперед надо думать. Все целы? — И приказал: — Всем ощупаться.

Уже щелкнул, захлопнувшись, стальной портсигар старшины и исчез в недрах его карманов, уже сделана последняя затяжка табака и дым рассеялся в легких, и стали уже собираться в путь, как послышался рев двигателей, лай собак. Раздались команды: «Оцепить кладбище! Всех впускать, никого не выпускать!».

— Нагнали! — Мы забились в самую глубь, затаились среди могил, стараясь не дышать. — Сейчас собак пустят! — зашептал старшина.

Нет, все же сопутствовало нам в этот день боевое везение! Где нам справиться с хорошо обученными собаками! Однако вот метаморфозы осенней природы: в две секунды небеса потемнели, солнце скрылось. Тучи выпучились, лопнули, ударил холодный ливень. Грозовые раскаты и шум дождя заглушили в одно мгновение все звуки, поглотили их.

— Время где-то четыре, начало пятого, — старшина кричал, пытаясь перебороть грохот стихии. Лицо Петрушина странно озарялось, глаза безумно вспыхивали, зубы открытого рта блестели.

— Надо выбираться, пока дождь. Собаки след не возьмут. А там стемнеет. Командование, конечно, в машинах попряталось. И собак увели... Делай, как я... Осторожно... — Старшина встал на четвереньки и засеменял в сторону оцепления.

Мы следовали от могилы к могиле, руки мои по запястья погружались в жидкую кашу земли и глины, и по сравнению с обжигающим ливнем эта каша казалась теплой, но неохотно она отпускала обратно руки, приходилось их вытягивать с силой. А впереди, во внезапных проблесках света, возникала широкая сгорбленная спина старшины в промокшей насквозь гимнастерке.

Так добрались до края кладбища. Впереди обозначалось и пропадало свободное пространство полей, открытое пространство свободы. Или ливень начал утихать, или мы от страха напрягли слух, но поблизости слышали человеческое дыхание, копошение на равномерном расстоянии друг от друга. Старшина вел нас в прогал между звуками человеческого существования.

Почти у самого выхода он остановился, замер. И замыкал чрезвычайно умело. Старшина мяукнул раз, другой. Прислушался. В невидимом оцеплении стали переговариваться:

- Чего это?
- Брось, кошки не слышал?
- Кис-кис-кис...

— Так точно,— вдруг ответил старшина и мяукнул еще раз. Потом подождал, пока миновала очередная вспышка грозы, и быстро двинулся на четвереньках вперед.

И наступила моя очередь. Я напрягся и смущенно мяукнул. «Эх, ветролога бы сюда!» — печально подумалось. И я опять мяукнул, чуть уверенней, хотя, конечно, звуки, издаваемые мной, нисколько не походили на кошачьи.

- Много их здесь, что ли? В разные голоса-то ноют?
- На кладбище всегда целый выводок. Жируют...
- А может, дать по ним очередью?
- Не стрелять. Жди, пока дождь кончится...

Была не была, я мяукнул раз, наудачу, и, дождавшись мрака, рванулся вперед. Пробежал на четвереньках сквозь кусты, вырвался на открытое место: густая осенняя трава пружинила под ногами и руками, и я еще метров двадцать с удовольствием бежал на четырех конечностях, ощущая свободу. Рука старшины ухватила меня за плечо и повалила в траву.

- Тихо. А то понравилось! Лежи, будем ждать Кынарейкина.

Ждали мы долго, напряженно прислушиваясь, Кынарейкина все не было, не было, не было.

— Надо выручать парня.— Старшина стал вновь прилаживаться на четвереньки.

Старшина пошел было назад, но тут же вернулся, сопровождаемый рядовым плотником. Никто Кынарейкина не спрашивал, никто не выговаривал за опоздание, но он сам начал оправдываться:

— Я только идти собирался, дяденька Петрушин, только хотел, а они тут «кис-кис» принялись звать. Ну, я переждал, только мяукал тихонько... по-вашему...

— Молодец,— похвалил Петрушин,— со старших пример берешь. В армии все сгодится, а то вдруг в разведку направят.

- Ну уж прямо в разведку,— не поверил Кынарейкин и зарделся.

- Вставайте, пока дождь не кончился,— сказал старшина.

Ливень иссякал, но предосторожности были, собственно, почти ни к чему — сошла ночь.

(Не стану утомлять читателя подробностями нашего возвращения в Пустовск. Скажу лишь, что добирались мы около двух недель, проселками, опушками лесов, минуя большие дороги, не имея возможности пользоваться каким-либо транспортом, даже попутным. Выручало нас в нашем пути всевозможное ручное умение старшины и Кынарейкина: они пилили дрова, помогали по хозяйству, мастерили, за что нас благодарили едой, ночлегом и куревом. И я по возможности сил тоже принимал участие в труде.)

Мне запомнилось, как мы восстанавливали втроем старый колодец. Кынарейкин перебирал сруб под руководством старшины, а мне досталось чистить колодец изнутри. Петрушин спустил меня вглубь на деревянной перекладине, привязанной к веревке, в эту сырость, в эту плесень, и я поданным ведром вычерпывал с самого колодезного дна скопившиеся песок, ил, старые листья. И вот однажды, поддерживая под доньшко полное ведро, я проводил его глазами вверх и вдруг увидел синие небеса и белые звезды на небесах. Дело происходило в самый полдень, когда солнце пылает. Я увидел звезды и был поражен. Будто ничего не происходило допрежь. Ни-че-го.)

Так получилось, что мы подошли к Пустовску в ночи, и это хорошо: кто знает, разыскивали нас здесь или нет? Мы прокрались к домику редакции. Я толкнул дверь, сердце заныло. Вот и кончились похождения. Покой. И воля.

— Размещаться и отдыхать. Двое спят, один дежурит. Так, на всякий случай. Вы отбивайтесь, а я покуда посижу.— Старшина закурил и уселся в редакционное кресло. Я аккуратно вытащил из его сомкнутых пальцев тлеющую папироску.

От взгляда на спящего Петрушина спать захотелось непреодолимо. Уложив Кынарейкина на кровати, сам лег на сдвинутых стульях, подстелив газеты, множество мягких вещей. Впрочем, можно было этого и не делать — во мне (в

нас) накопилась такая усталость, что мы заснули бы где угодно, лишь бы в тепле и безопасности. Я спал, вдыхая запах пыли.

Иди ко мне в последний раз.— Достоевщина

Разбудил бодрый голос редактора:

— С возвращением, Ингредиент! Жаждался, жаждался. Вставай. Умывайся, завтракай — и за работу.

— Сейчас, только ребят разбужу!

— Ушли уже,— сказал редактор.

Как? Что? Почему? Я обо всем хотел расспросить.

— Успокойся! — Редактор вышел и вернулся с газетой. На первой полосе фотография Петухова собственной персоной (един в трех лицах): представлен к трем звездам героя, и соответственно на родине, то бишь в славном городе Пустовске, должен быть сооружен его бронзовый бюст.

— Бронзы пока нет,— пояснил редактор.— Думают взаимы на время перелить памятник братьям Толстым, а там где-нибудь найдут — отдадут...

— А почему ему одному? Что же, он один отличился?

— Всем не поставишь, никаких металлов не хватит. Думаешь, только вы воевали? Со всех сторон наступали наши... Правда, вы дальше других забежали. Прочие на границах Пустовска остановились, но уж стояли крепко. Нет врага, а они стоят: вдруг появится?.. Надежные ребята. Вот... А на тебя я обиделся.— Редактор посмотрел с укоризной.— Не писал, так мы и остались без обзора непосредственных боевых действий. Пришлось мне намаяться, фронтовым-то корреспондентом — с рубежа на рубеж, да это не то. Ладно. Дело прошлое. Тебе очередная задача... Кстати и переоденься, что в тряпках ходить?!

Над Пустовском властвовали осенние холода, свистели ветра и желтые, оранжевые, алые листья осыпались беспрерывно.

Идти по заданию редакции... Но сначала по зову души я почти бегом отправился в домик в Слободке, где жила моя любимая.

Долго стучал я в закрытую дверь, подумал, никого нет, и собрался было уходить, но дверь распахнулась. На пороге стояла она, сонная, одетая в старенький, застиранный халатик, который запахивала на груди.

— Здравствуй! — Я бросился к ней, глубоко раскрыв объятия, но она шагнула в сторону, пропустив меня в сенцы.

Я не сразу опустил руки от недоумения и боли.

— А, это ты! — сказала она.— Здравствуй. Проходи...

Я вошел в комнату, где минуло столько счастливых дней и ночей. Почему любимая так холодна? Неужели она забыла меня, появился кто-то другой? А как же я? Куда мне деваться?

— Ты садись,— пригласила меня любимая.— Извини, тут не убрано. Я с ночной...

Я посмотрел вопросительно.

— А я одумалась,— сказала она.— Пить бросила и поступила в метрополитен, в комплексную бригаду мотальщицей, строгальщицей, зубильщицей и забойщицей... Знаешь,— сказала она с неожиданным жаром,— мы строим новую станцию. Станцию имени Победы Лермонтова над Мартиновым. Знаешь?

— Он уже победил? — спросил я тихо.

— Нет. Но если бы победил... если бы... какая бы жизнь пошла...

Мы сидели с ней вдвоем в комнате, а за печкой было молчание.

— Дочка спит? — спросил я тихо любимую.

— Нет ее,— ответила она громко.— Уехала. Будет теперь в спецшколе учиться на юного биолога.

Я все хотел спросить: а не одиноко тебе? Все хотел спросить: у тебя есть кто-нибудь? И не мог. Не складывались слова, не получалось вопроса.

— А как же английский язык она изучала? — спросил я.— Чего же?

— С английским уклоном в школе не устроишься — много кандидатов. Зато у биолога профессия всегда в руках... Она магнитофон оставила, я слушаю иногда.

Детский голосок залепетал по-английски: «Ман нейм из Катя. Ай воз борн ин Пустовск...»

— Ты не думай чего,— сказала любимая.— Все в порядке. Ты не думай... Не обижайся... Давай попрощаемся. И больше не приходи. Никогда. А сейчас иди ко мне... В последний раз иди!..

Я пошел к ней в последний раз. А потом оделся. Поцеловал ее, плачущую. И вышел. Я уходил, не хлопая дверью, не закрывая ее — пусть сквозняки не бесчинствуют здесь, пусть они минуют этот домик на окраине. Пусть здесь всегда будет тепло и тихо. Уютно. Всегда. Я уходил.

Вот так. Все кончилось — любовь, надежды, все. И обещания я не исполнил, которое дал и которое заклинал себя исполнить,— не обижать ее, любить ее и жалеть ее. Вот так. Прошла любовь, завяли помидоры, как крякал Гусь. И Гуся нет. И никого. И мне стало невыносимо грустно. Страшно печально. Запить, что ли? Но и пить не хотелось. Не хотелось ничего.

Нехотя ходил я по адресам, данным редактором, нехотя разговаривал, а на уме было другое, и на душе было вовсе другое. Все никак я не мог дожждаться, когда же кончится бесконечный рабочий день, чтобы сесть в одиночестве, подумать, погрустить, подымить табаком.

Вот и вечер наступил наконец. Я сидел, как собирался, грустил. Тут раздался стук в дверь. «Кого еще несет?» — думал я, отпирая. Все были ненавистны.

— Не узнаете? — спросил он и шагнул в комнату, где светлее.

Я пригляделся. Я напрягся. Это... это... Да! Несомненно! Это кипяток, который убежал, не попрощавшись.

— Семья моя,— сказал он, показывая на ребенка и женщину.— Вот и вернулся. Вернулись,— поправился.— Можно?..

— Заходите, раз так.— Вдруг я им нужен, вдруг могу принести им какую-то пользу?! — Заходите.

Они вошли, стесняясь. Присели на краешки стульев. Помолчали.

— Я вот чего хотел спросить,— начал он осторожно,— чайник не занят еще?

— Нет, нет,— собственно, я и не знал, занят чайник или свободен от постоя, ответил наобум.

Он посмотрел на меня выжидающе:

— Можно мы там поживем? Временно? Пока я другой чайник не выхлопочу?

— Конечно, конечно... Может, вам как-нибудь в другом месте, то есть не в другом, а в одной из комнат устроиться?.. Не тесно будет?

— Нет-нет, нет-нет, нет-нет,— затараторили они наперебой с женой.— Не беспокойтесь, не беспокойтесь!..

Я смотрел и думал, что делает с нами время, что с нами делают испытания, что с нами делают. Вот так всегда — был кипяток, а что осталось? Кипяченая вода, не более. Иногда лишь бурлит, кипятится. А ведь как он был молод, юн даже и вот вернулся, постаревший, с женой и ребенком, уставший, остывший, вернулся в родной чайник, вернулся...

— Можно, мы спать ляжем? Подустали с дороги. И ребенок...— попросил он.

— Разумеется, разумеется,— зачистил я.

— Тогда отвернитесь! — сказала его жена.— На минутку, я только разденусь.

Муж ее в это время укладывал ребенка. Крышка звякнула.

Но это не было все. За полночь, когда я погасил свет и улегся, они начали сначала шептаться, потом забурило, загремело крышкой, и женский голос застонал протяжно, протяжно, протяжно. Гулко.

— Иди ко мне, иди! — закричал он высоко...

Может быть, это был сон, мне снилась любимая. Она говорила: «Иди ко мне, иди в последний раз! Иди». Я шел. Я спал.

...Старшина и плотник рядовой Кынарейкин навестили меня на следующее утро. Оба свеженькие, вымытые и в новехоньком обмундировании. Сапоги их яростно сверкали и поскрипывали.

— Чего смурной? — спросил старшина, поздоровавшись.— Случилось чего?

— Все в порядке... в порядке вещей. Как у вас-то дела?

— У нас отлично: Кынарейкина я в свое подразделение зачислил, сам с женой повидался, животных накормил впрок. Можно дальше воевать. Тебя с военного учета снял, работой спокойно... Да! Знаешь, кроме трехголового, никто не вернулся.

— Как так?

— Никто. Ни единый человек. Я с трехголовым-то еще не виделся — он теперь крупный начальник, мудрено поймать... А остальные — подождем... может, придут...

— А Паша?

— Я говорю: никого. Вернутся — победа все спишет... Мы нынче пойдем, а там увидимся, посидим. Здравия желаю!

— Здравия желаем, дяденька Ингредиент! — добавил Кынарейкин.

Они вышли. А я остался. Что делать мне с моей неизбывной тоской? С моим одиночеством? Разве что с кем-нибудь поделиться?

На улице ветер то раздувал тучи, и тогда солнце вспыхивало светло, то вновь сгонял их вместе, и наступали сумерки. Пустовск жил обыкновенной, ежедневной, будничной жизнью. Люди работали, ели, спали (те, кто пришел с ночной). Пока мы пластались по земле, здесь выстроили зоопарк, подготовили к открытию первую очередь метрополитена.

Пойти посмотреть? Нет, не зоопарк мне был нужен, конечно, меня тянуло к домику на окраине, где жила она, где разбросаны по комнате ее вещи, где пахло ее теплым телом, легкими волосами.

Я шел, шел. Путь нескорый. Пустовск расстраивался, окраины все более отодвигались — наперекор трудящемуся Парижу. Вот и ограда зоопарка, окошечко кассы.

Возле стоял какой-то. Незвестный, случайный, понурый мужичок. Я сразу, одним взглядом, увидел всю его невеселую, квелую фигуру, пиджак с обшарпанными обшлагами, старые же, давно, вероятно, не знавшие гуталина и щетки не вкушавшие, а потому потрескавшиеся и лопнувшие ботинки, штаны с белесыми пузырями на коленях. Собственно, ничего даже необычного, именно потому я и смог увидеть его разом. Даже лицо с неравномерной седоватой щетиной, даже синеватый, облупленный нос... Но вот глаза... моргающие часто, с красными бессонными прожилками, будто слезящиеся и какие-то непомерно беззащитные. Именно глаза притянули мое внимание, и я застыл, глянув в них...

— Вот так, брат, — сказал он. Сказал, как бы продолжая бывший разговор. — Вот так, брат, сдаваться иду. Прощай, брат... — махнул безразлично рукой и пошел в зоопарк.

Понурая его спина отодвигалась от меня все дальше, маячила вдалеке, и я не слышал, что он сказал там, у входа на контроле, только видел — его пропустили беспрепятственно, и он скрылся за воротами.

Я не мог, не в силах был не узнать, что с ним случилось далее, судьба его, притягивающая и какая-то близкая, родная, мучила и томила меня.

...Быстро шел я по запутанным асфальтовым дорожкам с новехонькими указателями: к зебре, к бегемоту, к... и ткнулся, замер у...

На клетке висела свежая, пахнущая краской, лоснящаяся табличка: «Му-жикус вульгарус. Гладить воспрещено!».

Пение, переходящее в дикий, нечеловеческий, но и не животный, астральный вопль: «Наверх вы, товарищи, все по местам!!!». Я стал просовывать через решетку папиросы и спички, пусть будут, хотя бы на первое время, а сзади кричали: животных кормить и угощать папиросами запрещается, сейчас выведем. И меня взяли под руки две бодрые бабки в синих служилых халатах, потащили, выкручивая суставы, я упирался, они понесли по воздуху.

— Прощай, братец! — проревел он мне вслед. И, когда меня отнесли подале, закричал еще громче: — Прощайте, братцы!.. Прощайте!.. Передайте там... на воле... мы их не посраим, выстоим... Не отступим!.. — уже захлебываясь, бурля водой, которой его поливали из брандспойта, отгоняя от решетки.

— Пустите! Пустите! — кричал я, вырываясь. — Не имеете!..

— Тихо, — говорили бабки, — без сопротивления. Имейте. Лучше вот бегемота посмотри, алибо слона... А тот зверь еще новый, еще не прирученный... Сейчас мы тебя к интересной вольере отнесем...

— Пустите! Я журналист! — Но они и сами поставили меня на землюazole одной из клеток.

Что же, еще один кошмар прибавился к моим ежедневным ночным кошмарам. Спать, спать, но нет и во сне спасения. А дома встретили ссора, перебранка:

— Я не хочу с тобой жить, ты идиот, дебил! Вон отсюда! Вон! Оставь в покое меня и ребенка, будем надеяться, он пойдет не в отца... Вон! Я, кажется, имею право на площадь! — И, уже обращаясь ко мне: — Помогите, помогите, вы так добры, вы так великодушны! Помогите, он бьет нас, он издевается над нами, помогите! У него вечно влажные пальцы! Отселите его, отселите, я вас прошу! — протягивая руки в мольбе.

Я взял чайник и отлил кипяток в чистую чашку.

— Спасибо, спасибо вам! Вы так мне помогли! Завтра же подам на развод, завтра же. Я подала уже на алименты... Пусть платит!

Не выдержав, я ушел в редакционную комнату, упал в кресло... Разбудили чьи-то объятия, крепкие, обжигающие.

— Миленький мой, родненький! Я так тебя хочу, я так долго ждала этого момента, чувствуешь? Чувствуешь, какая я горячая? Иди ко мне, иди!! Я вся твоя, чувствуешь, как я теку?

Я закричал от ужаса, от ожогов.

— Ах, так! Я тебе припомню, я не прощу! Ах, так! — Она ушла, белея в темноте. Влажные, дымящиеся капли оставались на полу, отмечая ее след. Я закрыл дверь, запер изнутри на ключ, придвинул шкаф к двери, сел в кресло, но всю ночь не мог глаз сомкнуть, борясь с адским холодом, образовавшимся мгновенно. Лишь к утру я задремал и не заметил, как редактор влез в отворенную форточку.

— Ты чего заперся? Дверь припер? Случилось чего?.. А,— ответил он на вкратце рассказанную историю.— Мы этим займемся. Прикрутим им кран. Тебе предстоит дела посерьезнее. Как участник боевых действий направляешься на заседание трибунала. Будут судить военных преступников. Вход свободный, вот пропуск от редакции и талон на обед.

Зал был полон. Трибунал вошел — все встали и снова сели. Конвой ввел обвиняемых. Я не знал никого из них, но смутное чувство отрешения и странной жалости затопило душу. Разумеется, они виновны, а не виноваты, разумеется, покидать родину в трудный для нее момент — предосудительно. Разумеется все, но, разумея, представляешь не себя на их месте, но что они люди, человеки, как ты да я, и, может быть, лишь случайность, минутная слабость привели их сюда, в этот зал, сюда, на эту скамью, сюда, под взгляды сотен других. Я не знал никого из них, не встречался с ними когда-либо, вместе не пас гусей, не... И тем не менее был потрясен, когда зачитали фамилии. Вот они, восемь фамилий, господи.

«Ингредиент Субботий, Гусь Лапчатый, Паша, Алкаш, Человек с большой Б, старшина Петрушин и еще двое», о которых я никогда не слышал. Пауза.

Им ставилось в вину, в столбик дезертирство, уклонение от участия в военных действиях, неподчинение начальству при участии в военных действиях, переход государственной границы туда, аморальное поведение, не соответствующее званию воина за границей, отказ от продолжения военных действий, невозвращение, эмиграция по политическим мелодиям и мотивам, отказ от взятия военных трофеев, незаконный переход границы обратно, оказание сопротивления вооруженным силам при задержании, побег из-под стражи. Пауза.

В качестве общественного обвинителя, а также в качестве свидетеля выступал Владимир Петрович Петухов, трижды герой, спаситель отечества. Пауза.

Трехголовый взошел на трибуну:

— Граждане! — сказал он и счастливо засмеялся.— Товарищи! — сказал он и заплакал горько и безутешно. — Братья!..

Зал напряженно молчал.

— Вот этим гвоздем,— потряс Петухов,— враг был опрокинут и смят!

Аплодисменты.

Я дослушал до конца. Когда первое заседание закончилось и продолжение слушания дела отложили до завтра, вышел из переполненного зала.

«Надо что-то делать... Надо собрать всех оставшихся, — вертелось в голове. — Хотя кто остался? Я да старшина, Кынарейкин не в счет... Надо попробовать разыскать Пашу... Надо что-то делать... Надо».

В окнах дома было темно, я на всякий случай заглянул в сарайчик, где находилась Пашина мастерская. Там горел свет, там кто-то копошился. Шла работа. На полу сидел Паша, перед ним лежала груда железных и пластмассовых деталей. Он поднял на меня глаза, пробормотал: «Привет! Садись, я сейчас...». А сам продолжал возиться.

— Паша! Паша! — крикнул я. — Ты в своем уме? Паша! — крикнул. — Ты давно здесь?

— В своем, — ответил он малодружелюбно. — Не мешай! Третий день не могу гайку одну отвинтить, заржавела, подлая... — Он копошился долго, но, наконец, отодвинул железки. — Все... — Посмотрел на меня. — А! Ингредиент! Как дела? Вы где с старшиной отстали? — И вдруг бросился обнимать.

Мы говорили с ним и все не могли наговориться. Он рассказывал, как был случайно арестован, как потом бежал на вертолете.

— Паша, — прерываю я его, — слушай, ты вернулся, а где остальные? — спросил и, пока говорил, понял, что вопрос излишен: из остальных — Петухов в наличии, не хватало только вентролога.

— Как? А его разве с вами не было? — Паша недоумевал. Но не менее недоумевал я сам: почему тогда, на допросе, капитан говорил о четырех человеках и командире, если из нас семерых не вернулось пятеро, нет, шестеро, нет, пятеро и старшина... Короче, вернулся один Петухов в тройственном числе.

Я попытался рассказать Паше о заседании военного трибунала, но он ничего не мог понять с моих слов, лишь почувствовал — дело путаное. Мы отправились к старшине, которому я тоже попытался объяснить, что происходит, но и тот не понял, однако согласился сходить на второе заседание.

...Назавтра все повторилось почти точь-в-точь.

Опять достоевщина. — Поездки и прогулки

Нам необходимо было поговорить, а потому мы сели на станции метро имени братьев Толстых, доехали до следующей, конечной, станции, бывшей «Зоопарк», ныне имени трижды героя Петухова. На платформе, там, где должен был быть воздвигнут сияющий бюст, высился аспидный четырехугольник гранитного постамента. Мы отправились в ближний лес...

Итак, мы вышли на поверхность и углубились в осенний лес, бредя по звонкому слою багровой, желтой мертвой листвы. Долго шли молча, пока старшина не спросил:

— А, собственно, чего ты хочешь-то? Чего мы сюда пришли?

Чего хочешь, чего хочешь? Не знал я, чего я хочу. Чего?

— Ведь их же засудят, старшина! Засудят их, Паша!

— Кого — их? Ты их знаешь, кто такие? Может, за дело?.. — Старшинский голос напрягся.

— Да ведь за нас... нас... вернее, не нас, но вместо нас, заместо нас... засудят... Как потом жить? Что делать, думать?

— Как жил, так и будешь, — ответил Петрушин.

Паша молча пожал плечами.

— Разберись сначала, кого судят, — тебя или не тебя, а потом паникуй!

— Слушай, старшина, я говорю совершенно серьезно... — Голос мой напрягся. — Это все равно, кого судят, меня или нет, это судят как бы и меня, и тебя тоже как бы, всех тоже как бы судят... И засудят тоже как бы всех...

— Что-то в толк не возьму, тебя-меня, как бы... Как бы не судят, судят наверняка. И сейчас судят наверняка там кого-то, а ты наверняка здесь, не в тюрьме, чего еще?

— Но ведь пойми, пойми, ведь это же за нас, за нас их судят и осудят за нас!

— Стоп! — сказал Петрушин. — Остановимся и размыслим. Ты, — обратился старшина ко мне, — тебе есть за что судить?

— Нет... то есть есть, конечно, только не в таких масштабах, то есть не так, а нравственно...

— Не юли. Спрашиваю напрямую — тебе есть за что судить? Ты нарушал чего, незаконно чего делал, кроме что мы границу перешли и из-под ареста сбежали? Есть?

— Тогда — нет...

— И мене — нет, — гордо произнес Петрушин. — И его, — указал на Пашу, — тоже, наверно, нет... Так?

— Да, — подтвердил Паша, — нет.

— Чего биться, если нечего?

— Ты подожди, старшина, ты подожди, это еще Достоевский писал: каждого есть за что судить... Ты Достоевского читал?

— Достоевский, Достоевский... Это про чего?

— Что, не слышал никогда, что ли?

— Да фамилие-то знакомое, а вот чего...

— Про то, как парень старушку убил просто так.

— А, тогда знаю! В школе проходили по хрестоматии... вот только здесь это при чем? Ты ж старушку не убивал и я тоже?

Наш разговор зашел в тупик. Я собирался с силами. Мы шли, углубляясь в лес.

— Старшина! Ответь, — начал опять. — Хорошо, когда людей судят?

— Смотря как. Так просто — плохо, а за дело, то надо так.

— Их не за дело, их за нас судят.

— Ну, снова здравия желаю. — Он остановился, снял фуражку, вытер пот, а фуражку, не надевая, понес в руке. — Ты ж не виноват, почему за тебя? Их за дело судят!

— Как так? — не понял уже я. — За какое дело?

— Думаешь, они просто на скамейку сели?.. Добровольцы?.. Не, у них у каждого свои прегрешения, вот и посадили, и судят за себя самих, тут ты непричастный.

— Но судят-то под нашими именами!

— Это начальству решать, под какими...

— Их судят за нас, а раз мы ничего не совершали, как ты сказал, старшина, значит, их судят безвинно!

— За нас — безвинно, а у них вина есть. Вот, чтобы неповадно другим было, их и судят.

— Кому другим? Что неповадно?

— Кому? Да вот хоть тебе... Можно — говоришь?.. Не можно, а нужно, надо за проступки наказывать со всей строгостью, это ж армия! А то сразу на голову сядут и еще сапоги свесят. — Помолчал. — Чего ты вообще хочешь?

«Чего я вообще хочу? — задумался я. — Чего?»

— Справедливости. Вообще. Вот.

— Это хорошо... И я — справедливости. А конкретно сейчас чего хочешь? Сейчас, в смысле в этом деле, сейчас, а не в смысле вот сейчас — сейчас, значит... Чего?

— Пусть их, если уж судят, то не под нашими фамилиями, и судят не за то, за что судят, а за то, за что надо судить. И под их фамилиями. Понял, старшина? Понял? Мы не виноваты ни в чем, ни в чем не виноваты... За что боролись? За что человек погиб и мы рисковали, все это за что?

— Тут согласен, — согласился Петрушин. — Человек зря погиб. Грех на моей душе. А за что боролись? Погляди вокруг. Поймешь...

Вокруг стояла прозрачная осень и лежали опавшие листья.

На одном из деревьев висел затерянный громкоговоритель-«колокольчик», мы прослушали сводку погоды на ближайший месяц и хотели идти обратно, ехать в город, но информационный выпуск закончился, и раздался удивительно знакомый голос. Мы со старшиной переглянулись, голос узнал и Паша...

— Говорит радиостанция «Семь бугров». У микрофона... Я, только что вырвавшийся из лап чекистов...

— Это он-то из лап? — хмыкнул Петрушин недружелюбно. — Или он Гуся rozumeeт, ну, с лапами?..

— Вот и шестой нашелся, — сказал я почти про себя, потому что голос был голосом ветролога. — Теперь все на месте.

— А сейчас предлагаем вашему вниманию запись одного из допросов, сделанную бесстрашным активистом прав человека, борцом за свободу личности диссидентов, нашим старым другом, фамилию которого мы, естественно, не назовем, но она вам, разумеется, хорошо известна. Включаем запись.

Послышались щелчки, шуршание. Закрутилась пленка:

— Ну, теперь-то вы согласны, что влияние Полоцкого минимально?

Молчание в ответ.

— Ах, они говорить не хотят!.. Игнорируют?.. Ну, ничего, сейчас вы у меня заболтаете как миленькие! А ну-ка...

— Во врет! — сказал старшина с ненавистью. — Сам на разные голоса избражает, а людям за правду тычет...

— Старшина, — пробормотал я, — как бы тебе объяснить... Дело в том, что запись эта настоящая... Я ее уже слышал...

Старшина посмотрел на меня задумчиво:

— Пойдем-ка обратно, ну вас всех... к свидригайлову...

*Продолжение Достоевщины.—
Борьба за правду.— Вчистую.*

Уговорились прийти на третье заседание, по ходу дела станет видно, когда выступить. Более точных планов мы не имели. В зале увидели друг друга, подошли и осмотрели внимательно: да, мы приготовились, как будто давали последний парад, — надели по возможности все новое, надраились, нагладились. Петрушин нацепил юбилейные медали, и даже Кынарейкин пришел, хотя ему здесь ровным счетом нечего было делать.

Мы сидели в первом ряду и ждали.

Вот опять на трибуну вылез Владимир Петрович Петухов, и не отличишь, в какой роли, — свидетеля, обвинителя или особой тройки. Вот он закончил и вылез еще кто-то, вот...

— Сейчас я им скажу, — наклонился ко мне старшина, — самое время... Разрешите, — громко произнес он, подняв руку, и без приглашения пошел к трибуне.

Старшина говорил долго, очень долго, чрезвычайно долго, однако я не в состоянии передать ни единого слова, говорил он сбиваясь, невнятно, и лишь первая фраза звучала отчетливо: «Все это вранье!». Старшина стукнул кулаком и сошел со сцены. Его сменил Паша: «Я согласен со старшиной». И говорил столь же темно, сбивчиво, словно об истории мидян.

— Ты-то куда, — попытался я придержать за рукав Кынарейкина, — тебе какое дело?

— Как какое? — зло огрызнулся Кынарейкин. — Мы ж за правду боремся!

— Дяденька Петрушин прав, я всему тому свидетель тоже! — только и сказал Кынарейкин и шагнул в зал.

Мы проиграли.

Я заперся в редакции. Не желаю видеть людей. И кого видеть? Все куда-то попрятались. И вдруг я вспомнил Москву: ее улицы, ее скверы, ее памятники, обсиженные голубями... Где они? Где все? Где снега былых времен? Где старшина в конце концов? И он куда-то запропастился.

Петрушин сидел дома и читал вслух.

— Чего читаешь, старшина?

Тот нехотя снял очки и отложил книгу.

— Про разведчиков...

— Знаете, как интересно, дяденька Ингредиент, — встрял Кынарейкин. — И под облака поднимается, и в море ныряет. И все бабы его. Кличка «Демон».

— Жаль, всклад написано, трудно приладиться, — вздохнул старшина. — А времени — читай да читай... Комиссовали меня. Вчистую. И его комиссовали, — кивнул на Кынарейкина. — И намекнули, что, если опять станем, то. Что — не сказали. Так и пригрозили: если станем опять — то. Вот так!

— Ясно, — говорю я. — Кончено, значит.

— Нет, — отвечает старшина твердо. — Будем отстреливаться. Скажу им все, что вчера, но внятно. С чувством, с толком, с расстановкой, как у нас в школе говорили.

Прощайте, все.— Здравствуйте, все

И опять проиграли. Проиграли в пух и прах. Проиграли по всем статьям. Так что старшина и плотник Кынарейкин должны были ночевать на чердаке редакции (прямо как дезертиры, ей-Бо!..— Ст. Петрушин.).

Я один оказался вне досягаемости злобы, защищенный статусом журналиста, но я понял — надо уезжать. Пора.

Когда редактор прочитал мое заявление, обрадовался: наконец-то я понял смысл газетной работы, почувствовал слог, именно сейчас он не может меня отпустить. И подписал заявление. Сказал:

— Очень будет тебя не доставать... И... кто станет динамо крутить? Так хорошо это делал-то...— И скупая, граненая слеза, переливаясь, сползла по щеке, оставляя гладко блестящую дорожку.— Провожать не пойду... А то совсем...

Я хотел попрощаться с Пашей. Завернул к нему во дворик. Там стояла черная машина. И я видел из-за угла, Пашу вывели под руки из мастерской, посадили в картонный ящик, засекретили, то есть написали на ящике большими печатными буквами: «Секрет. Москва» и без огласки погрузили в кузов. Больше никогда не слышал о нем, лишь, глядя на некоторые механизмы, встречавшиеся на моем жизненном пути, я понимал, что он где-то живет и работает.

На вокзальной платформе мы расцеловались со старшиной. Кынарейкин стоял рядом, держал руку для пожатия и все нерешительно совал ее мне, а потом убирал обратно, стесняясь о себе напомнить.

— Может, поедем?.. Мест много...

— Езжай один. Мы лесами, лесами... тоже в столицу.

— По дороге работать будем,— добавил плотник Кынарейкин.— Правда, дяденька Петрушин?

— Точно, Коля!.. Так до Москвы и дойдем, до матушки... А там... Ведь есть справедливость?

— Есть?

— И я говорю: есть. В Москве разберутся! В ней все понимают. Может, знают не все.

Еще раз обнялись.

— Я его в поезд посажу, а ты спрячься по-за зданием, не маячь,— сказал Кынарейкину старшина.— Дислоцируйся осторожно.

— До свиданья, дяденька Ингредиент.— И Кынарейкин скрылся.

...Поезд дрогнул и пошел, пошел, убыстря ход. Мимо сонного желтого вокзала, вдоль серой, замызганной платформы.

На платформе стоял старшина Петрушин и быстро-быстро махал фуражкой. Когда фуражка опускалась — был виден светлый защитный чехол, выгоревший на солнце, когда фуражка поднималась для прощания — темное пятно выступало на фоне синего неба.

И вдруг я вспомнил, что так и не знаю, как его зовут, Петрушина. Я схватился за поручни, свесился из двери и крикнул назад, туда:

— Старшина, как тебя зовут, старшина?

Петрушин еще быстрее замахал фуражкой.

— Двадцать пятого! — крикнул он.— Двадцать пятого,— донеслось до меня.

— Как тебя зовут? — крикнул я как можно громче.— Как зовут?..

Теперь он понял и ответил:

— Старшина Петрушин! Петрушин мое фамилие! — И опять замахал крепко зажатой в руке фуражкой.

Поезд шел, шел скорее, скорее, опережая график. Пустовск мелькнул еще раз — дома, низкие крыши. И скрылся за горкой. А поезд спешил, втягиваясь в бесконечные дали.

Петруха-8.— Посвящается Гале.— Письмо

Уговорили-таки, и я остался работать проводником. Поезд наш колесил по рельсам, громыхал на стыках, останавливался на перцепку и тормозил перед светофорами.

Новые друзья помогали разобраться:

— Твой объект — вагон, значит. Ну, это просто — там кипяtilьник. Титан называется. Простыночки, матрасы, одеялки. Захочешь, возьмешь чистое и спать ляжешь. Вот ключ. Ключ-мастер. Ото всех запереться можешь, чтоб не мешали когда. А от тебя не спрячешься — любую дверь открывает, паразит. Остальное сам разберешь. Чего надо будет, всегда успеешь спросить. А пока сиди, привыкай. Бригадир в десятом вагоне, если с той стороны считать.

Они ушли, а я сидел, смотрел в окно. И вдруг нашла страшная тоска. Безвестность пронзила меня. Не такая обыкновенная, ординарная безвестность, что вот — не узнают на улице, не приходит к тебе слава. Нет. Я почувствовал себя маленькой, затерянной песчинкой в пустоте жизни. Что, как бы это сказать, — ну, что, если что-нибудь случится со мной, любое — вот сейчас, умру, к примеру, в этом купе, и никто не узнает о том. И никому, никому не будет дела, какой я человек и как говорил, ходил, думал. И что думал. Я даже усмехнулся от мысли: никому!

Сидел, подкидывал ключ-мастер. Уронил, нагнулся, чтобы поднять. И увидел — нацарапано сбоку столика, по металлическому затертому ободку: «Петруха-8». И... О! Как прозвучала для меня эта надпись, о, как я позавидовал Петрухе-8, который вошел в набрякшую, мутную плоть истории, пусть хотя бы до переоборудования вагонного парка. О том ли мы страдаем и мечтаем, о том ли все, страстотерпцы и слепые гордецы? Всего лишь на минуточку, на миг, но приткнуться, примазаться к вечному течению безрассудного времени (это ли не скрытый каламбур!). Но мгновение уходит, протекает сквозь наши растопыренные от вождения пальцы, и нет его. Морская ли это волна, песок ли желтый и шуршащий — суть ли? — все едино. Да и виноват ли кто?

А Петруха-8 попросту нашел звонкую, тяжкую железяку и выцарапал: «Аз есмь!». А может, все обман зрения? Но вот веду одним пальцем, другим и чувствую выщерблены, углубления на шершавом ободке. Он — есть! Петруха-8, мой родимый!..

— Проводник Субботий, к бригадиру! — Радио хрипнуло над ухом неожиданно, в самый... — Повторяю, проводник Субботий, к бригадиру! — ...в общем, в тот момент, когда я только... — Сколько раз можно повторять? Повторяю: проводник Субботий, срочно... — Дятлы! — ...к бригадиру! Черт бы тебя побрал!

Да иду я. Само — дурак.

Я взял и — потому что Петруха-8, вот мерзавец, занял все место по периметру столика — под столом нацарапал острой гранью ключа «Ингредиент-17». Почему именно семнадцать? Нацарапал. Успокоился. И тоска неожиданно прошла, сменившись злостью.

...Сколь различны ощущения пассажиров и персонала: проводников, контролеров, машинистов. Разная дорога для них. Мне-то что, я привык к отъездам и приездам, к расставаниям и встречам даже привык, но всегда бывает жалко новичков.

Вот поезд дернулся, клацнул буферами. И, почувствовав это движение, перепугавшись, из тамбуров и окон посыпались провожающие. И заплакала в голос девушка возле соседнего вагона. Парень, обнимавший ее, стал что-то ей говорить, успокаивать. Потом поцеловал и вскочил на подножку, остановился в тамбуре, паровоз свистнул тихонько, не залихватски, как в пути, а по-вокзальному грустно. Поезд двинулся вдоль платформы, подспудно убыстряя обороты колес.

И тут проплыли глаза этой девушки. Поезд напрягся своим пятнадцативагонным туловищем, чтобы рвануться сразу, преодолев барьер неподвижности, нестись.

«Так, — подумал я, — спокойно... Посвящается Гале», — и дернул ручной тормоз... Даже представить себе не сможете, как все были счастливы!! И отъезжающие, и начавшие уже привычно всхлипывать проводники!! Все!! И как благодарили меня!! И еще несколько раз, только поезд налегал на рельсы, я опять срывал ручку тормоза!! И все облегченно вздыхали и обнимались в восторге.

Но всему есть время. (Или я уже это говорил??) Скоро, почти вот-вот чужные пыльные столбы, на которых держится низкий свод дебаркадера. Блестящие золотом цифры на фиолетовом циферблате вокзальных часов. Поезд

наш приписан к Москве. И всякий раз, когда мы сюда возвращаемся, наступает странный, до боли мучительный момент.

На перроне шумит толпа встречающих с огромными мохнатыми букетами. А до этого минут двадцать поезд идет по городу и перед самым вокзалом останавливается. И стоит долго, томительно, так, что хочется схватить вещи и бежать по шпалам самому впереди локомотива, по сцеплениям и разверткам рельсов. А в глубине души бьется смутный страх: вдруг за время отъезда что-то изменилось, сдвинулось или, не дай бог, сломалось в привычном течении дней?

В один из таких приездов мне передали потрепанное письмо с иностранной маркой и штемпелем, размытым, зыбким. Я распечатал. Сбивчивым, корявым до обиды почерком, как курица лапой, нацарапано:

«Дорогой гражданин Ингредиент!

Вот жеву я в загранке, уже время натикало дохрена. Жить здесь ничево, кормешка есть. Фильмы и радио всякие. Вот а я к тебе с прозьбой по стараму знакомству. Будь любезен пахлапачи там где нада а? Пуцай меня обратна в пустют. Жена сволоч стерва такая и замашки у ей буржуйские. Коняк стаканом пить незя после обеда мыца нада и наноч опятже душь принимать. И хотят они меня в свою веру поставить. Папраси чтобы в пустили. Лубую работу зделаю хуш што. Папраси не могу; черваки родимые ночью сняца — так и разцеловалбы каждого вморду — настальгия называетца. И почто я их забижал? И спать от этого не могу даже поетому. Век обязан буду. Не иханский я наш всеыйный наш. Я жену и робенков за родину недумаечи променяю токо бы в пустили. А могилку дружка нашинскова я прибираю часто и сижу над ней как на родине. Памаги зделай милась. В настаяще время Гражданин Гусь Л., эсквайр».

Не стану описывать подробно свои хлопоты и хождения, скажу лишь, что были лестницы, лестницы, лестницы, лестницы, лестницы, лестницы, но я превзошел их все.

Через три месяца на Шереметьевском аэродроме приземлился самолет. И оттуда тихим шагом, какой-то странной, шаркающей походкой, переваливаясь на ходу, со скромным чемоданчиком и в плаще с красной подкладкой вышел Гусь.

Мы обнялись крепко, крест-накрест поцеловались.

— Ну, как же, а жена? — спросил Гуся.

— Ниче!.. Жила без меня скоко лет, еще проживет. Я ей сказал, весна, сказал, пора миграций, говорю. Надо лететь до хаты.— Гусь прослезился, стер с клюва соскользнувшую слезу.— Нормалек. Эскюз, май дарлинг. Крепкое адью!..

Последняя встреча.— Кто-кто?

Поезд идет по берегу моря. Домик, еще домик, еще домик. Пляжи, огороженные заборами. На пляжах волейбол, девушки в красивых купальниках красиво прыгают в красивое небо. Поезд идет мимо. Игра останавливается. Они кричат, машут руками, улыбаются, неожиданно растворяясь в радужных бликах, наплывах моря. Пляжи, серые отмели с темными грудями водорослей, мокрым песком, сломанным деревом. Станция, типично южная. Пыль пропитала будто бы даже стены здания.

Петухов, отдуваясь и потевя, залез в вагон. Он был в генеральской форме, с тремя звездочками героя и в фуражке. И с одной головой, оттого плечи его казались неестественно широки. Ни Владимира Ивановича, ни Володи П. больше не существовало. Следовало почтить их память вставанием, но я и так сто-ял как вкопанный.

Петухов посмотрел вокруг невидящими оловянными глазами:

— Так. Поезд,— заключил он. Прислушался к стуку колес.— Стоит.— Посмотрел в окно.— Пыльное.— И заскандировал. Стиль его заметно изменился: — Вот и пыльное окно, значит, стрелочник!..— Остановился, подыскивая рифму.

— Свободных мест нет! — сказал я в ужасе, оглядывая свободные плечи.— Перейдите в другой вагон!

— Как нет? — Петухов глядел подозрительно, невидяще, бронзово и тянулся к револьверной кобуре, которая болталась на португее. — Ты что говоришь?? — Расстегнул, поковырялся там, достал морковку и захрупал, тщательно выгрызая каротин. Взгляд его все прояснялся, становился острее, напряженнее. Теперь он разглядел меня, догадка озарила лицо:

— Зачем ты меня обижаешь, машинист? — спросил плаксиво. — Мне ехать надо. Выполняй свой долг и почетную обязанность. Вези, правь своим паровозом, машинист!.. А? Как друга прошу. Хуже будет!.. — И выудил со дна кобуры тяжелый, большой револьвер.

Загрохотали выстрелы.

Я с трудом вытолкал Петухова и запер тамбур. Петухов орал истошно и бушевал за дверью. Угрожал. Потом затих.

«Не открою, — думал я отчаянно, — даже если с военным комендантом придут, не открою. Убийца!»

Опять стук, но теперь робкий, тихий: Петухов сменил тактику. «Надо сопротивляться. — Я поудобнее перехватил ключ-мастер, который все еще держал в руке. — Сейчас закачу ему промеж глаз... В среднюю голову... Единственную... Как бы, однако, не промазать...»

Открыл дверь осторожно, чтобы в случае чего успеть прихлопнуть, сдерживая натиск. Возле ступенек стояла робкая девчушка, лет шестнадцати, не более, держала огромный фанерный чемодан, оттягивающий руку.

— Чего надо? — сурово поинтересовался я. — Ты кто?

Девушка залепетала тихонько, скромно:

— Я... это... Я Наташа Потапова...

— Кто-кто? — переспросил я беспокожно.

— Потапова Наташа. — И, словно в подтверждение достоверности своих слов, добавила: — Из Урюпинска мы.

Я заплакал и бросился ее целовать.

Все

(На этом кончаются все записи.

Что ж, работа, видимо, исчерпана. Хорошо ли, плохо ли — судить не мне. Да и стоит ли судить, дабы остаться неподсудну?..)

За сим разрешите попрощаться с вами, дорогой читатель, терпеливый и верный.

С уважением, Ингредиент Субботий.

Р. С. Поставив точку, я отложил рукопись. А по прошествии времени перечитал ее, стараясь быть беспристрастным.

Написанное вполне удовлетворяет меня, но... Но какого-то последнего штриха не хватало. Долго я не мог понять, в чем же дело. Посмотрел еще раз. И, наконец, совершенно внезапно понял! Здесь нет эпитафии. Он бы направил написанное в определенное русло, и тогда многие непроявленные места стали бы неожиданно ясны.

Все так. Но поставить эпитафию в начале книги, после того, как она уже написана, было бы в чем-то ложным. Ибо в таком случае он говорил бы о заданности и придуманности этой вещи, что совершенно иначе. И я решил поставить эпитафию там, где он пришел мне в голову.

Верблюд — животное с одним, от силы, двумя горбами.

Из малой энциклопедии.

Ингр. Субб.

Алексей КУБРИК

Зеркало звука

* * *

Научусь говорить на родном языке,
научусь временами молчать
и услышу, как падает роцца к реке,
как за ней пробирается падь,
как растерян дремлющий шелест листвы,
как измучено время, в котором взгляд
означает, что мы перешли на «вы»
и вернулись в потерянный ад.

А на сердце есть только право уйти —
прикоснись ко мне хоть на миг, —
человеку хочется быть в пути
не героем прочитанных книг,
а всего лишь городом или огнем,
пожирающим мертвый снег...
Человеку кажется: он вдвоем
даже с городом — человек.
И уйти, обидеться, промолчать —
это право только его и листвы,
устилающей вечно глухую падь
и ни с кем не умеющей быть на «вы».

1983—1996

* * *

Путает время чужая тоска.
Ночь никуда не уходит.
Множит единственный выдох река
на неземном половодье.

— Ты не умрешь, — говорит краснотал, —
ибо рожден, чтобы видеть
вечно,
как Авель себя убивал
ни на кого не в обиде.

Даже не пробуй отсюда бежать
вверх или вниз по стремнине.
Слух обнимает тревожная гать,
как паука в паутине.

Если ты выберешь жизнь и любовь —
станет проклятьем свобода.
Ночь исчезает, как будто на зов
звездного тела Нимрода.

И излучает по смерти река
мягкое зеркало звука.
И на единственный выдох в веках
есть только боль и разлука.

1996

* * *

Ну так что же с того, что морочит тебя середина?
Середина огня — это то, что хотело сгореть.
Есть такие слова, у которых — душа Аладдина...
Даже боги не вправе тревожить их темную медь.

Хорошо тебе здесь — середина земли под ногами,
не ворчит только ночь, да и то потому, что слепа,
и любовники спят, обнимая свой ужас руками,
и вечернее море шумит, как глухая толпа.

Городские дела, середина разбавленной жизни...
Твои дети вольны выбирать между явью и сном,
но, когда призовут их шальные дороги отчизны,
сколько древнего страха ты выпьешь за каждым столом?

Середина дождя — это облако трудной печали.
За тобой только право раскачивать древний ковчег
и незримую птицу завета на темные дали
отпускать в никуда, называя свободой — побег.

На вершине горы все точнее ее середина.
И сознание пути тяжелее, чем посох в руке...
Никогда не сойдутся потери твои воедино,
да и время не стоит того, чтобы жить налегке.

1996

* * *

На ощупь прожито немало терпких зим,
но привкус радости травить людей боится,
и только профиль тех, кто был любим,
еще печальнее, чем сломанная птица.

При потреблении восторга и хулы,
скрывая ненависть под суетой пощады,
дежурный профиль, не теряя головы,
глядит в лицо потерянного взгляда.

Того гляди окажется верней:
на ровной местности досужего зимовья
растить слова среди родных камней...

Один молчит.

Другой молчит с любовью.

1985

* * *

Что нам древнее царство ужаса
от богатства до нищеты
и его деревянное мужество,
и погосты его, и кресты.

Как угробим, так и покаемся —
лишь бы вовремя, от души...
И пускай этот мир качается
от Спасителя до анаши.

Пусть ему — крысолову с дудочкой —
вечно тянется нота «ля»,
да печальная печка с дурочкой
выпекает свои кренделя.

Невозможно
вернуться к берегу
и не сгнить, порываясь в путь.
Закатила бы смерть истерику,
да боится себя обмануть...

И качаются зло и неистово
между призраков бытия —
мальчик с дудочкой,
девка с монистами
и невнятная Богу земля.

1996



Человек в черном смокинге

РАССКАЗ

В тот тяжкий вечер, когда жена заявила, что уходит от него, и стала поспешно укладывать вещи в чемоданы, Александр Егорович Незванский совершил непростительную ошибку.

Во дворе уже нетерпеливо сигналила машина, которую привела подруга жены Рита. И, оглушенный происходящим, он кинулся к двери комнаты, запер ее на ключ, а его спрятал во внутренний карман пиджака.

Наталья презрительно поморщилась.

— Ты и так смешон! Зачем еще эта дешевка?

Он отпер дверь, но неприятный осадок остался. Ничто так не выдает человека, как неконтролируемое разумом движение души. Правильно сказала жена — «дешевка»...

— ...Только не делай, пожалуйста, «личика», ты не мученик, а я не взбалмошная бабенка! Цивилизованная женщина может простить мужу многое — малый заработок, бражничество, случайную измену... импотенцию в конце концов, но!.. — Она выдержала паузу и продолжила: — Но когда у мужика полностью отсутствуют бойцовские качества, когда он, в сущности, зря прожил жизнь, превратился в нечто кислесобразное — тут уж прости!.. Но пассаран! Я не могу, Саша, жить, не уважая собственного мужа, — это называется прости-тия! Увольте!..

Слушая такие обидные, язвительные слова, Незванский с горечью признавался себе, что жена была права. Он никогда не чувствовал себя активным участником жизни. Был на скачках всегда за барьером. Никогда не был жокеем, что правда, то правда...

Пока Наталья, взвинчивая себя, произносила филиппику против супруга, которой не было конца, изнемогающий Незванский, будучи профессионалом-кинематографистом, мысленно прокручивал пленку, на которой кадрик за кадриком следовали дни... длинная череда безрадостных дней, месяцев без Наташи... Вот он слоняется по комнатам опустевшей квартиры... А в это время в какой-то другой квартире лежит с его Наташей какая-то сволочь — обнимает, ласкает... Боже мой, только не это! Пусть уж лучше она попадет под машину... с одной ногой останется... тогда не будет этого... чужого мужика... Но, помывшись так, он содрогнулся и тут же стал укорять себя за эгоизм, подлость...

А Наталья продолжала говорить. Демонстрируя завидную память, она выискивала из их общей биографии такие факты и поступки мужа, которых он стеснялся, старался предать забвению, и безжалостно била ими наотмашь.

Наконец, попытка словом завершилась. Сопровождаемая шофером, явилась Рита, чемоданы были погружены в машину, люди — тоже, и Незванский остался в квартире один.

Нельзя сказать, что разрыв с женой застал его врасплох. Александр Егорович был подготовлен к нему всеми перипетиями своей незадавшейся жизни.

Когда судьба благоволит к человеку, он не испытывает потребности размышлять о причинах своего преуспевания: скучно предаваться анализу, когда можно наслаждаться на жизненном пиру. Но, оказавшись у разбитого корыта мы, тыча персты в не зажившие еще раны, пытаемся постичь первопричину крушения своих надежд.

Еще мальчиком Незванский тешил себя мыслью о своем избранничестве. Ему предстоит совершить нечто такое, что никому другому не дано, — так он думал. Взрослея, он стал с тревогой осознавать, что мечте его может помешать природная робость перед лицом жизни.

Может быть, поэтому он стал истовым книжником. Реальность, которую являла собой большая литература, казалась ему и убедительней, и предпочтительней той пугающей реальности, которая окружала его. В юности Незванский писал рассказы, стихи и, робко помышляя о профессии писателя, вознамерился даже поступить в Литературный институт. Для этого нужно было представить сочинения на суд приемной комиссии. Но, внимательно перечитав свои опусы, Незванский с огорчением ощутил их художественную несостоятельность. К тому же в нем всегда жил страх перед чистым листом бумаги, на котором должны появиться рожденные его фантазией слова. Что же делать?.. Чему посвятить свою жизнь? В конце концов он стал вычислять свою будущую профессию. Что он любил, кроме литературы?.. Театр любил. Но больше, пожалуй, кино. Актером ему не быть — это Незванский понимал. А вот режиссура... Режиссер — это кто?.. Интерпретатор сочинения, написанного другим лицом. Может быть, попробовать испытать свои силы на этом поприще?

Не веря в успех этой затеи, Александр Егорович тем не менее подал заявление в кинематографический институт, сравнительно легко сдал экзамены и был немало удивлен, когда его приняли на режиссерский факультет.

Странное это было заведение — киношный институт: веселое и страшноватое. Человек посторонний углядел бы в его стенах братство вольных, многообещающих талантов, поклонявшихся одному богу — кино.

Было это, но было и другое — скопище непомерных амбиций. В любого студента, проходящего по коридору, ткни пальцем — и окажется, что он числит себя гением. И каждый такой «гений» с первого курса приучался видеть в сокурснике будущего соперника, коему в эпоху малокартинья надо было тайно желать крупной неудачи. Не случайно в институте в течение многих лет передавались из уст в уста две циничные заповеди кинематографиста: «Стань на труп товарища, будешь на голову выше», «Падающего толкни или помоги падающему упасть»...

Александр Егорович не мог следовать этим заповедям. Может быть, он ошибся в выборе и этой, второй, профессии?

Знаменитый режиссер, в мастерской которого он учился, подтвердил опасения ученика:

— Ты, Саша, тонкокожий! А у режиссера вовсе не кожа должна быть, а шкура — вот такая!.. — Подняв ногу, маэстро постучал костяшками пальцев по толстой подошве башмака. — Режиссер, братец ты мой, — диктатор, обладающий пробивной силой танка, понимаешь?

Понимать-то он понимал, но покинуть институт был не в состоянии. Сохраняя привязанность к литературе, Александр Егорович мыслил свою режиссерскую судьбу лишь в связи с экранизацией любимых книг. Еще на первом курсе он носился с идеей фильма «Кола Брюньон», потом решил, что сначала поставит «Хаджи Мурата». Но вскоре все вытеснила неотвязная мысль об экранизации рассказа Бунина «Господин из Сан-Франциско».

Александр Егорович познакомился с этим сочинением при странных обстоятельствах. Как-то вернувшись из института домой, он обнаружил у себя в комнате на подоконнике книгу Бунина, которой в его домашней библиотеке никогда не было.

Он тотчас же поблагодарил за удачную покупку мать — она тогда была еще жива. Однако мама сказала, что никакой книги не покупала, видит ее в первый раз.

— А как она оказалась на подоконнике?

— Не знаю, Саша...

— Может быть, кто-нибудь из гостей оставил?

— Но у нас не было гостей! Никто не приходил.

— По-твоему, она с потолка свалилась?

Матери прискучил допрос.

— Нечистая сила подкинула!

В конце концов Незванский решил, что не стоит ломать себе голову, полистал книгу. Бунина он любил, то небольшое, что было тогда опубликовано из его произведений, давно перечитал, но в книге был незнакомый ему рассказ «Господин из Сан-Франциско». Он прочел его залпом и «заболел» им.

Вот так случись, что на третьем курсе Незванский дерзнул предложить режиссерскую экспликацию «Господина из Сан-Франциско». Работа изобиловала счастливыми режиссерскими находками, но в ту пору отношение кинематографического начальства к прославленному русскому эмигранту было резко отрицательным, и экспликация была отвергнута «по идейно-тематическим соображениям». Однако за будущим режиссером долго еще тянулся шлейфом титул «молодого гения».

Теперь в стенах института Александр Егорович чувствовал себя вполне комфортно. Он даже стал жалеть своих однокашников: ведь не им, а ему предстояло стать великим режиссером, фильмами которого будут восхищаться люди.

Но миновали пять блаженных лет, кончился студенческий праздник, погасли огни, ушла внезапно — будто и не было — эйфория, и Незванский, отплывший от одного берега и не достигший еще другого, остался с дипломом, который отнюдь не был пропуском в большое кино. Зато можно было с небрежным видом продемонстрировать его Наташе.

У нее было миловидное лицо, спортивная фигура. Химик по образованию, специалист по электронной микроскопии Наташа трудилась в научно-исследовательском институте и полностью разделяла надежды и упования любимого мужа. Она верила в его счастливую звезду, в то, что он станет знаменитым режиссером. Но для этого Саше надо было попасть в штат киностудии, что оказалось весьма непростым делом.

Целый год молодые жили на скромную зарплату молодого химика. Это было тяжким моральным испытанием для самолюбивого Незванского. Наташа вела себя безукоризненно и в самые трудные минуты весьма уместно напоминала мужу фрагменты из биографии великих, чьи молодые годы были омрачены невзгодами и лишениями.

После изнурительных усилий, хождений по инстанциям он в конце концов был зачислен в штат благодаря протекции своего мастера. Но после этого начался новый виток переживаний. То была эпоха малокартинья, когда право ставить фильмы было предоставлено лишь небольшому кругу апробированных режиссеров.

Никому не известный вчерашний выпускник института Незванский мог стать лишь вторым режиссером.

Александр Егорович и стал им. Он рыскал по театрам в поисках артистов, приводил их на пробу к режиссеру-постановщику, следил за тем, чтобы статисты, попадавшие в кадр на дальнем плане, изображали некую жизнь, а не лупили глаза на камеру. Режиссера-жучку, занимающегося этим хлопотным делом, в киногруппе именуют утешительно «начальник штаба».

Поначалу Александр Егорович выполнял всю эту неблагодарную работу с рвением неопита, дорвавшегося наконец до кинематографического процесса. Надежда, что его оценят, призовут, доверят самостоятельную постановку, убывала с каждым месяцем, с каждым днем.

Он стал жертвой парадоксальной ситуации. Для того, чтобы сохранить хоть мизерный шанс получить право на постановку фильма, надо было так «пахать», чтобы прослыть на студии идеальным вторым режиссером. Но, добившись этого, он сам себе уготовил ловушку: с ним, великим «вторым», хотели работать все лучшие режиссеры-постановщики. Один переманивал Александра Егоровича у другого, многие ходили к директору студии — просили, настаивали, требовали, чтобы Незванский запускался с ними, ибо их фильм по всем параметрам — магистральный, к тому же совместный, и только такой «второй», как Незванский, мог обеспечить бесперебойную работу актеров.

Между тем Александр Егорович продолжал хранить верность своей мечте. Он так долго мысленно готовил себя к работе над лентой о господине из Сан-Франциско, что каждая фраза, каждое слово этого рассказа как бы раство-

рились в потоке крови, циркулирующей в его кровеносной системе. Он видел кадры будущего фильма. Они толпились в его голове, пытались вырваться наружу в неумолимой жажде воплотиться, и он мог, готов был приступить к съемкам хоть сегодня — в любой час, в любую минуту.

Раздосадованная его непрекращающейся маетой Наташа сказала:

— Да вылезь ты наконец из своей норы, пойдешь к директору студии, поговори с ним, как мужчина с мужчиной, пусть даст тебе постановку!

— Так он и даст, жди.

— А ты не жди! Потребуй!

— Легко сказать... — вяло отбивался Александр Егорович.

— Ну, хоть раз в жизни ты можешь стукнуть кулаком по столу?! — заводила его жена. — Подойди к столу этого зажавшегося чинуши и долбани кулаком так, чтобы у него вертушка подскочила на полметра, можешь?..

Незванский шумно выдохнул воздух.

Наташа махнула рукой:

— Я вижу, ты предпочитаешь до самой смерти ходить во вторых режиссерах... Ну, ходи-ходи!

С трудом преодолев природную робость, Незванский через пару дней провалился в кабинет «зажавшегося чинуши» и удивил его неожиданной просьбой.

— Ты что, Незванский, с луны свалился? — Директор имел обыкновение всем работникам Студии независимо от возраста, должности и пола говорить «ты». — Этот Бунин твой разлюбезный... Он Родину предал! Ну, сочинил за бугром господина своего из Сан-Франциско — неплохой рассказик, читал в свое время... Но зачем мы будем пропагандировать его творчество? На хрена нам это?..

— Иван Васильевич, я бы хотел... Можно я изложу вам свою концепцию фильма?

— Какая еще, к лешему, концепция?! — отмахнулся директор. — И вообще на кой ляд тебе самостоятельная постановка?

Тут бы, конечно, и надо было стукнуть кулаком по столу — Незванский это осознавал, но не смог. И с чувством отвращения к самому себе услышал как бы со стороны собственный жалостливый голос:

— Иван Васильевич... Не могу же я всю жизнь во вторых режиссерах ходить... —

— Мура! — отрезал директор. — Ты мне еще байку приведи насчет маршальского жезла, который солдат должен таскать в ранце! Говорю, мура!.. А точнее так выразюсь — в армии пусть солдат мечтает маршалом стать! А в кино, дорогуша, ни фиги подобного!.. На студии ты, допустим, рядовой осветитель, а веди себя, как профессор! И так на каждом участке! Тогда будет искусство! И заруби на носу: плох тот режиссер, в смысле второй режиссер, который мечтает стать постановщиком, — вот так у нас в кино!

— Иван Васильевич...

— Не мешай, не договорил! Как второй ты у нас кто?.. Царь и Бог, уважаемый работник! А начнешь сам ставить?.. Ну, дам тебе, допустим, не Бунину, патристическое что-нибудь — можешь поручиться, что не обосрешься, извиняюсь за выражение?.. С кого бабки потом взыскивать? Из моей зарплаты? Спасибо!.. Ты мне небось не сын, не зять!

Незванский покинул директорский кабинет с разбитым сердцем. От жены он скрыл свой разговор с Иваном Васильевичем, и неразделенная боль долго еще владела им.

Наташа не понимала, что происходит с мужем. Его усугубившаяся мрачность подавляла ее, раздражала. Болезненно ощущая недружелюбие жены, Незванский страдал, семейная жизнь все больше теряла свою привлекательность. Но еще тяжелее было Александру Егоровичу на студии. На его глазах недавние сокурсники теми или иными путями дорывались до самостоятельной работы. Это ожесточало его, рождало зависть. Сначала он стыдился ее, но с годами зависть все больше овладевала им, и Незванский стыдиться перестал. Он открыто радовался неудачам своих коллег, а безусловный успех чужого фильма вызывал в нем приступ острого раздражения. Утешала только возможность отыскать в каждой ленте хоть какой-нибудь изъян.

Порой можно было отвести душу, уличая своего очередного шефа-постановщика в ошибке. Например, в нарушении логики мизансцены. Но однажды он услышал в ответ: «Послушайте! Не суйтесь не в свое дело!» — и понял, что ему заказано быть в стане хозяев жизни, ибо он всего-навсего «второй»...

Надо ли удивляться тому, что с годами он все больше опускался, все чаще пил, впадал в депрессию и в конце концов превратился в злобное и безвольное существо, которому ничего в жизни было уже не нужно.

Стоя истуканом у окна, он провожал глазами машину, которая увозила жену.

Зазвонил телефон.

Незванский нехотя снял трубку.

— Позовите, пожалуйста, Мишу! — попросил жизнерадостный женский голос.

Раздосадованный, он хотел было положить трубку, но вдруг спросил:

— А кто его спрашивает?

— Это мама его спрашивает!

— Умер ваш Миша! — сказал неожиданно Незванский. — Внезапно скончался!

И шмякнул трубку на рычаг. «Почему ей, с ее Мишей, должно быть хорошо, когда мне плохо?» — подумал он.

Он слонялся по комнатам, и все вокруг больно напоминало, что Наташи нет, — и пустые вешалки в шкафу, на которых еще недавно висели ее платья, и опустевший трельяж, и случайно забытый на спинке стула лифчик...

В комнате стемнело. Он повернул выключатель, но яркий электрический свет действовал раздражающе, и Незванский погасил его.

Кто-то позвонил в дверь.

Незванский бросился в коридор. Это не могла быть Наташа: у нее ключ... Но вдруг она его потеряла?..

Он распахнул дверь.

Невысокий лысый мужчина в серых гетрах на ботинках вошел без разрешения в квартиру, вежливо поклонился.

Незванский со смешанным чувством удивления и тревоги смотрел на желтоватое лицо вошедшего, показавшееся ему знакомым.

— Не пытайтесь вспомнить, где вы меня раньше видели, — сказал ничего не выражающим голосом лысый.

— Я не пытаюсь... — смешался Незванский. — Но мне действительно кажется, что я вас где-то...

Незнакомец извлек из кармана массивный портсигар, открыл.

— Гаванскую сигару?

— Нет, вы знаете... я не курю, бросил... — сказал виновато Незванский.

— Похвально, Александр Егорович! А я... — Лысый достал сигару, закурил. — Не могу освободиться от этой дурной привычки.

— Вы знаете мое имя? — удивился Незванский. — Но я с вами не знаком...

Гость не счел нужным представиться.

— Я тороплюсь, и мне нужно успеть сообщить вам, что завтра утром, в одиннадцать часов, у вас состоится важная беседа с одним ответственным лицом.

— С кем? — осторожно полюбопытствовал Незванский.

Незнакомец был уже в дверях, обернулся:

— Кстати, вы настаиваете на том, что Миша скончался?

Незванский вздрогнул.

— Н-нет...

— Так я и предполагал. — Лысый внимательно оглядел свои короткие с пдагрическими затвердениями в суставах пальцы. — Желаю вам приятных сновидений. Впрочем, сегодня у вас их не будет.

Незванский запер за ним дверь, вернулся в комнату. Не торопясь разделся, лег в кровать. В душе его царил покой. Уснул он быстро, как ребенок.

Спал без сновидений.

Утром его разбудил телефонный звонок.

— Александр Егорович?

— Да, я...

— Иван Васильевич ждет вас в одиннадцать ноль-ноль!

Он не сразу понял, что с ним разговаривает секретарь директора студии.

— А что случилось? Евгения Петровна, вы не ошиблись?

Секретарь ответила с достоинством:

— Если бы я так ошибалась, я бы не проработала на студии двадцать лет!

Ровно в одиннадцать Незванский неуверенно вошел в кабинет директора. Грузный Иван Васильевич с легкостью поднялся из-за стола, пошел навстречу.

— Рад видеть вас в добром здравии!

Такое начало ошарашило Александра Егоровича: никогда шеф не разговаривал с ним столь дружелюбно. Но то, что последовало дальше, было совсем невероятно.

С чувством пожав вошедшему руку, директор усадил его в огромное кресло и уселся в такое же напротив.

— Как ваш маршальский жезл, дорогуша? В целостности-сохранности?

Незванский растерялся:

— Вы о чем, Иван Васильевич?

— О главном! — ответил весело директор. — Вынимайте свой жезл и готовьтесь к запуску господина своего из Сан-Франциско, время не терпит!..

Кровь прилила к вискам Незванского. Пригнувшись, он тупо уставился на директора, мучительно пытаясь понять: не шутит ли тот таким диким образом?

Директор словно бы не замечал его состояния.

— Должен признаться, моя вина! Давно надо было вас запустить. Но, как говорится, лучше поздно... Я вижу, вы желаете что-то сказать?..

«На «вы» разговаривает», — запоздало отметил про себя ошеломленный Незванский. Да, он хотел сказать, как видит на экране бунинский рассказ. Но язык словно прилип к гортану, и хрипы со свистом, вырывавшиеся из его открытого рта, походили на те звуки, которые издает астматик во время тяжелого приступа удушья.

— Кон... цепцию... хочу... рас... сказать... — выговорил наконец Незванский.

Иван Васильевич произвел движение рукой от своей груди в сторону. Это означало, что он, хозяин студии, считает просто неуместным сомневаться в праве Незванского ставить «Господина из Сан-Франциско».

— Никаких концепций! — отрубил он. — Доверяю!

Александр Егорович вышел из директорского кабинета, едва держась на ногах. Лица, предметы, потеряв свои очертания, напозлали друг на друга, образуя перед его глазами кольшущуюся мешанину. А когда мир снова обрел свою геометрию, Незванский увидел, что стоит около лестницы, судорожно уцепившись за перила. Подстегиваемое восторгом, колотилось сердце. Александру Егоровичу захотелось бежать домой. Ему не терпелось поскорее сообщить жене о случившемся. Но тут он вспомнил, что сообщать некому: Наташи-то нет... И нечаянная радость стала убывать.

Как же он ждал именно сейчас, в эту секунду, предстать перед женой в необычной для себя роли победителя, человека, в которого — пусть запоздало — но поверили!..

Но радость все же взяла свое, и дальше все происходило как в счастливом сне.

Главный персонаж рассказа ехал с женой и дочерью на пароходе «Атлантида» из Нового Света в Старый, чтобы насладиться солнцем и памятниками древности Южной Италии. В его планы входило также посещение Парижа и бой быков в Севилье. По этой причине фильм был внесен в студийный план как совместная постановка с Италией, Францией и Испанией.

Это обеспечивало высококачественную пленку, роскошный лайнер с ночным баром и восточными банями, а также необходимые костюмы для его богатых пассажиров.

Но когда в условиях максимального благоприятствования в неслыханно короткий срок была сформирована съемочная группа с двумя толковыми ди-

ректорами — русским и американцем, Незванским вдруг овладело беспокойство: можно ли снять этот фильм?

И, хотя обновленный, обогащенный новыми деталями, обретший производственный вид режиссерский сценарий был уже готов, Александр Егорович еще и еще перечитывал бунинский рассказ, пытаясь разогнать сомнения. Тщетно. Он все больше укреплялся в мысли, что снять фильм по рассказу Бунина невозможно...

Что, собственно, происходит в рассказе?

Безмятежно живущий в этом злом и прекрасном мире богатый пятидесятилетний господин из Сан-Франциско, решив передохнуть, совершает вместе с женой и дочерью путешествие на комфортабельном пароходе. Преодолевая мрак, океан, корабль направляется к берегам гостеприимной Италии. В двухсветной зале, празднично залитой огнями, переполненной мужчинами в смокингах и фраках, декольтированными дамами, происходит бал. И он тоже участвует в этом празднике.

И вот вечером пароход бросил якорь у Капри. Сопровождаемый женой и дочерью, господин сошел на берег скалистого острова. Их радушно встретил хозяин дорогого отеля. Богатый путешественник в черном смокинге в ожидании обеда спустился в читальный зал и погрузился в чтение газеты. Но вдруг ему стало плохо. Рванувшись вперед, он хотел глотнуть воздух, но захрипел, сполз с кресла на пол. Тело его извивалось, словно он боролся с кем-то...

И когда прибежали дочь и успевшая нарядиться к обеду жена, господин из Сан-Франциско, так и не дождавшись прихода врача, был уже мертв.

И снова океан, пароход. Но сейчас он совершает обратный рейс, до Нового Света. В корабельном зале с сияющими люстрами происходит бал. Но среди участников его нет уже господина из Сан-Франциско. Тело его покоится в длинном ящике из-под содовой английской воды на дне темного пароходного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжело преодолевающего мрак, океан.

Природный кинематографист, Незванский знал цену динамически развивающемуся действию, неожиданным сюжетным поворотам, в коих высвечиваются тонкие грани характера героев, понимал, как важен диалог с подтекстом. Но ничего этого в рассказе не было. Было другое — пронзительный авторский голос, библейски спокойно вещающий о том, как хрупка человеческая жизнь, пространство которой денно и нощно просматривает Дьявол. Было упомянуто даже место, которое облюбовал себе для этой цели Властитель зла — скалы Гибралтара, каменные ворота двух миров. Именно отсюда следил он за уходящим в ночь и вьюгу кораблем.

А что противостоит в рассказе громадному, как утес, Дьяволу?

Такой же громадный, многоярусный корабль, созданный гордыней Человека. Ему кажется, что он защитился от злой воли Дьявола стенами как бы бронированной каюты. Но то, что произошло с господином из Сан-Франциско, свидетельствует: это горькое заблуждение...

Как все это снимать? Что будет в кадре?

Не показывать же в самом деле Черта, сидящего на скале. Да и авторский голос, звучащий за кадром, давно стал в кино анахронизмом. Но что тогда предстанет на экране, если киноверсия лишится достоинства бунинской прозы?.. Банальная история о том, как жил человек, вкушал счастье и вдруг помер?..

Но почему Незванский понял это только сейчас? Как могло случиться, что долгие годы он не замечал того, что было сейчас столь очевидно? И почему безусловная невозможность снимать фильм по рассказу Бунина не стала очевидной для многоопытных студийных редакторов? Кто лишил его и его коллег здравого смысла профессионалов?

— Занятно, очень занятно, — сказал знакомый экстрасенс, выслушав сбивчивый рассказ Александра Егоровича. — Похоже на коллективное наваждение. Ты, Саша, и коллеги твои оказались в плену чьей-то воли. Только так!

— Но это же бред! — вскричал протестующе Александр Егорович.

Экстрасенс, однако, стоял на своем:

— И все-таки кому-то понадобилось, чтобы ты вопреки здравому смыслу возился с этим бесперспективным фильмом!

— Кому это могло понадобиться? — попытывался нервически Незванский. — Кому?!

— А вот этого не знаю! — развел руками экстрасенс. — Не ведаю!

Слова экстрасенса ввергли Незванского в еще большую растерянность. Несколько дней он слонялся как потерянный по городу и вдруг вспомнил визит человека с серыми гетрами на ботинках. Странно, что он забыл о нем... Как этот человек тогда сказал? «Утром в одиннадцать у вас состоится ответственная беседа». Нет, он сказал: «Важная беседа с ответственным лицом».

И ведь состоялась! И Иван Васильевич вопреки здравому смыслу предложил снимать «Человека из Сан-Франциско». Почему вдруг ему это понадобилось?.. А лысому в гетрах зачем это понадобилось? Кто же из них запрограммировал меня? А я что, робот?.. И вообще, кто этот лысый в гетрах?.. Такой странный был визит, и вдруг забыл о нем. Почему он у меня выпал из памяти? Что за чертовщина?..

Но кино есть кино. В производство фильма «Господин из Сан-Франциско» было вовлечено много людей разных профессий, амбиций и темпераментов, и одно их физическое присутствие задавало жесткий ритм подготовительной работе. Громадный механизм был запущен, включенный счетчик отстукивал, отсчитывал время, каждый шаг стоил много денег.

Скрыв свою растерянность и смятение, убедив самого себя в том, что в процессе работы он найдет кинематографический ключик к рассказу Бунина, Александр Егорович продолжал делать то, что делает капитан на корабле или дирижер в оркестре, — руководил, командовал. Он просматривал десятки тысяч метров хроникальной пленки, запечатлевшей жизнь пассажиров лайнеров во время круизов, принимал-отвергал эскизы декораций, костюмов, вел переговоры с композитором, ругался с оператором, чье видение изобразительного решения фильма внушало определенные опасения, знакомился с фото- и кинопробами актеров.

Ни один из актеров, пробовавшихся на роль господина из Сан-Франциско, не устраивал Незванского. В герое Бунина была некая тайна. Не случайно писатель, столь подробно описав драматическую судьбу своего персонажа, не упомянул ни имени его, ни фамилии. В глазах же претендентов на эту роль не было и намека на тайну. А было лишь суетное желание сняться в престижном фильме, сулящем поездки за рубеж, валюту...

Незванский хорошо запомнил тот субботний день, когда вместе со вторым режиссером и оператором осматривал выгородку в павильоне, где должен был происходить ключевой эпизод фильма — внезапная смерть героя в читальне отеля.

Странная штука — время от времени в памяти Незванского, знавшего рассказ наизусть, всплывали отдельные слова, фразы, на которые Александр Егорович раньше не обращал особого внимания. И вдруг оказалось, что именно в этих словах и фразах как раз и таится нечто важное, может быть, даже самое главное.

Вот и сейчас, когда Незванский рассеянно разглядывал павильон, вспомнились такие слова писателя о герое: «... во-первых, он был богат, а во-вторых, ТОЛЬКО ЧТО ПРИСТУПАЛ К ЖИЗНИ, несмотря на свои пятьдесят восемь лет. До этой поры он НЕ ЖИЛ, а лишь существовал, правда, очень недурно, но все же возлагал ВСЕ НАДЕЖДЫ НА БУДУЩЕЕ».

«Так вот почему, — думал Незванский, — он с таким отчаянием боролся со внезапно настигшей его в читальне смертью... Этот человек был полон сил, только ПРИСТУПАЛ к жизни... возлагал надежды НА БУДУЩЕЕ, а тут вдруг...»

А еще Александр Егорович вспомнил, как мама рассказывала о неожиданной смерти отца: «Какой это был ужас!.. Вернулся с войны молодой, красивый, весь в орденах, жить бы и жить, и вдруг умер от какого-то проклятого осколочка, который задвигался в голове, около мозга!» А Зина, младшая сестра?.. С каким нетерпением ожидала она возвращения из командировки своего жениха Пети? Они должны были пойти в загс расписаться, и такие у обоих были лучезарные надежды на будущее!.. Ах, если бы не эта проклятая жарница, если бы тогда была зима... Но было знойное лето, Зина пошла в Измайлово искупаться. И вдруг утонула в пруду...

В том, что судьбы бунинского персонажа, отца и Зины пересеклись на своем изломе, Незванский усмотрел некий тайный знак, и ему еще больше захотелось снять этот фильм.

Надо снять так, чтобы в полный голос прозвучала трагическая тема несправедливости и оскорбительности безвременного ухода человека из жизни. Душу Александра Егоровича согревала мысль о том, что это будет фильм и об отце, и о Зине...

Он увидел застывшее от удивления лицо оператора и, перехватив направление его взгляда, обернулся.

На площадке, кроме них троих, был еще четвертый, посторонний. Он появился неслышно — невысокий, сухой, с лысой крепкой головой, в черном смокинге и бальных башмаках.

В руках лысого была газета. Вежливо поклонившись, он сел на табуретку, извлек из кармана смокинга пенсне и, надев его, погрузился в чтение газеты.

— Замечательно! — похвалил Незванский и перевел взгляд на второго режиссера. — Молодец! Полное соответствие! Как калька!.. Спасибо за сюрприз! Ты где его раздобыл? В каком театре?

И оператор похвалил:

— Один к одному!.. Какая лепка головы! Крупняки будут что надо!

— Д-да вы что... — Второй режиссер стал неожиданно заикаться. — Я вижу его в пе-первый раз... Понятия не имею, кто это... и как сюда попал...

Только сейчас, взглядевшись в желтоватое лицо человека, читавшего газету, Незванский узнал в нем недавнего своего визитера. Конечно, это был он! Только тогда не было на нем ни черного смокинга, ни аккуратно подстриженных серебряных усов, упомянутых в рассказе Бунина.

Затаив дыхание они смотрели на незнакомца.

Преодолевая смущение, Незванский уже собрался спросить у пришедшего, что, собственно, ему надо, но тут он увидел, как напряжинулась шея человека в смокинге... Глаза его выпучились...

А дальше... Александр Егорович уверял потом всех, что дальше все в павильоне происходило так, как было описано Буниным:

«...глаза выпучились, пенсне слетело с носа... — писал классик. — Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха — и дико захрипел; нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот золотом пломб, голова завалилась на плечо и замоталась, грудь рубашки выпятилась коробом — и все тело, извиваясь, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то».

Незванский не мог сдвинуться с места. Происходящее было на самом деле. Не было актерской игры. Была жизнь. И у него на глазах умирал человек, шагнущий в эту жизнь со страниц книги.

«А он бился. Он настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так неожиданно и грубо навалившейся на него. Он мотал головой, хрипел, как зарезанный, закатывал глаза, как пьяный!..»

Но тут случилось то, чего не было в рассказе.

— Врача! — завопил Незванский. Он больше не мог оставаться безучастным созерцателем чужой беды. — Врача! «Скорую»!

Он первый выбежал из павильона в коридор, велел проходившей мимо женщине привести сестру из студийного медпункта, а сам кинулся к телефону-автомату и набрал номер «Скорой помощи».

Через несколько томительных минут в павильон прибежал перепуганный студийный врач, вложил в рот умиравшему нитроглицерин. А вскоре подоспела машина «Скорой помощи». Незванский вызвался сопровождать больного.

В приемном отделении больницы имени Склифосовского он долго и сбивчиво объяснял дежурному врачу и сестрам, что решительно ничего не знает о человеке, которого привез: «Вы поймите, явился вдруг на студию незнакомый человек, ему стало плохо — вижу, кончается на глазах, я и привез...» Ему не верили, смотрели как на авантюриста, были убеждены, что он что-то скрывает. Александру Егоровичу ничего другого не оставалось, как сносить обидные подозрения. Не мог же он в самом деле сказать, что привез на «скорой» лицо... не вполне, что ли, материальное... что этот больной не такой, как другие... что он рожден фантазией известного писателя... Ну, как могут здравомыслящие люди отнестись к таким словам? Сочли бы умалишенным.

Кто-то из медиков высказал неожиданное предположение, что привезенный — иностранный подданный, возможно, какое-нибудь дипломатическое лицо. Но никаких документов, удостоверяющих личность, при нем не оказалось.

Незванский пробыл в больнице до самого вечера и ушел домой только тогда, когда медсестра из отделения реанимации заверила его, что больной будет жить.

Утром он с замирающим сердцем набрал номер справочной больницы, но узнать ничего не мог: ведь он не знал фамилии больного.

Бросив все дела, он приехал днем в больницу и не поверил своим ушам. Человек в черном смокинге, которого с таким трудом вывели из состояния клинической смерти, рано утром исчез...

— Как исчез? — поразился Незванский. — Что это значит?

— А я, представьте, у вас хотел спросить, что это значит! — Врач был раздражен и смотрел на Александра Егоровича с таким видом, будто поймал его на месте преступления. — Только очухался и тут же заявил, что должен срочно вернуться в Сан-Франциско... что его ждут на пароходе... забыл название...

— «Атлантида»? — несмело подсказал Незванский.

— Да! — подтвердил врач. — Значит, вы все-таки в курсе?

— Что вы! Нет! — стал оправдываться Незванский. — Он ничего такого мне не говорил! Уверю вас...

— В девять утра заглянул к нему, — продолжал врач, — лежит с капельницей. А тут кто-то из сестер позвал меня, отлучился минут на пять, не больше, возвращаюсь — капельница на месте, а этот... И никто не знает, куда делся, никто не видел! Будто в воздухе растворился! Он у вас кто? Иллюзионист? Колдун? Маг? И вообще не отрывайте меня от дела! Ищите своего... этого... в Сан-Франциско!..

Вернувшись домой, Незванский застал на кухне Наташу.

Он был так потрясен случившимся в больнице, что отнесся к возвращению жены как-то очень спокойно, будто не было разрыва — съездила, погостила у подруги и вернулась...

Наташа обиделась:

— Я вижу, ты вполне примирился с тем, что меня нет?

— Что ты! — спохватился он. — Я рад... Очень рад...

— Непохоже...

Александр Егорович поцеловал жену.

— Я много думал о тебе.

— И я о тебе думала, — призналась она. — Ругала себя последними словами... За то, что пиявила тебя... За все эти бабские упреки-попреки... Это у меня еще от тех времен, когда пионервожатой была: обязательно перевоспитывать кого-нибудь надо... Ну, что с тебя взять, когда ты у меня таким невезучим уродился?..

— Не скажи! — заулыбался Незванский. — Представь себе, Наташа, мне в кои веки повезло!

— Правда?

— Да еще как!

— О! — просияла жена. — Жажду подробностей!

— Даже не знаю, как сказать... с чего начать...

— Начни сначала!

Он молчал, улыбался.

— Саша, не томи!..

— Видишь ли... как-то так получилось... Я спас человека...

— Какого человека?

— Только ты, пожалуйста, не удивляйся. Конечно, ты не поверишь... Безуловно, не поверишь...

— Черт возьми! Скажешь ты наконец, кого спас?!

Незванский придвинулся к жене поближе, сказал почему-то шепотом:

— Господина из Сан-Франциско...



Анатолий НАЙМАН

Русская поэма: четыре опыта

Рассада этих соображений высевалась в грунт беззаботный, хотя прорастала в условиях не тепличных. Беззаботность объяснялась молодостью. Мне было 26 лет, и я писал первую свою поэму. Я тогда часто виделся с Ахматовой и читал ей написанное, и она кое-что об этом говорила. Мне казалось, что она это говорит о моей поэме. Года за два до того она дала мне прочесть, а потом подарила «Поэму без героя». Она регулярно что-нибудь в ней меняла, дописывала, каждый раз уверяя читателей, что это «окончательный вариант». О ней она меня, как и других, заставляла сказать что-то членораздельное, и сама опять-таки говорила. И тогда мне казалось, что это мы разговариваем о «Поэме без героя».*

Еще мне казалось, что мы просто сидим и разговариваем или гуляем и разговариваем — о том, о сем, об этой поэме, о той. В разговоре я чувствовал себя беззаботно и, конечно, считал, что мы оба так себя чувствуем. Прошло еще несколько похожих лет, и она умерла. И как раз подошло, а лучше сказать, налегло, время задумываться. Когда задумываешься, что-то начинаешь в уже известном замечать другое, прежде не замеченное. И от этого вдруг видишь, что и само известное — вовсе другое. Что да, Ахматова говорила о конкретной поэме (и всегда только о конкретной), но также и о поэме вообще. Что ах, жаль, не свернул наш разговор тогда-то вот в таком-то направлении. Но уж раз не свернул, то надо двигаться туда самому.

Четыре опыта русской поэмы — это «Медный всадник», «Мороз, Красный Нос», «Двенадцать» и «Поэма без героя». «Мцыри» тоже замечательная поэма, и «Бал» Баратынского, и «Возмездие» Блока, однако Пушкин как будто выпил из них звук, не весь, но ядро звука. В звуке четырехстопного ямба появился неустрашимый послепушкинский ущерб. Оказалось, что после «Медного всадника» русский язык мог зазвучать снова полногласно и свежо только в «Морозе, Красном Носе». А после «Мороза» — в «Двенадцати». А после «Двенадцати» — в «Поэме без героя». И похоже, что «Поэма без героя», будучи, кроме всего, еще и поэмой о поэме, — последняя. Будут интересные вещи, будут разнообразные рассказы в стихах, но поэм — такое складывается впечатление — больше не будет. Этих русской поэзии хватит.

Позвольте, а Маяковский?! Хлебников?! Цветаева?! «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник» — поэмы новые, и «Ночь перед Советами» и «Ночной обыск» — тоже, и «Поэма Горы» и «Поэма Конца», и кто хочет, тот вправе назвать каждую из них «гениальной» или «шедевром»! Именно так, но таковы они при первом прочтении и при двадцать первом. А эти четыре — раз от раза меняются, постоянно что-то новое из себя выталкивают, то в одном стихе, то в другом просят быть прочитанными не так, как раньше. «Облако» с первого раза грандиозно, грандиозней «Двенадцати», но «Двенадцать» растет, и растет, и растет.

Читателю, замечающему это, трудно отличить, что нового он *вычитывает* из текста и что *вчитывает* в него. Чтобы не превратить чтение в чисто интеллектуальную игру, следует ориентироваться, по-видимому, на первое впечатление. Настоящая поэма — вселенная, но у вселенной есть границы, и читатель все-таки не демиург, чтобы произвольно ими распоряжаться.

* Об этом я писал в «Рассказах о Анне Ахматовой» (М., «Художественная литература», 1989).

«МЕДНЫЙ ВСАДНИК» ПУШКИНА

Пушкин написал «Медного всадника» осенью 1833 года в Болдине. 6 декабря он через Бенкендорфа отправил поэму на просмотр царю, который после пушкинской ссылки пожелал стать «единственным цензором» поэта, и через неделю получил обратно рукопись с несколькими запретительными пометами Николая. Пушкин записал в дневник: «Я принужден был переменить условия со Смирдиным». Книгоиздатель Смирдин намеревался купить по высшим гонорарным расценкам весь болдинский урожай поэзии и прозы.

В декабрьском номере 1834 года в смирдинском журнале «Библиотека для чтения» было опубликовано «Вступление» под заглавием «Петербург. Отрывок из поэмы». Четыре строчки, вызвавшие нарекания царя, Пушкин, обозначая пропуск по цензурным причинам, заменил точками, а также отсек заключительное пятистишие, связывающее «Вступление» с дальнейшим повествованием. Летом 1836 года он занялся правкой мест, помеченных царем, одновременно редактируя и некоторые другие, но вскоре отложил работу. В таком виде поэма вместе с остальным архивом и попала после его скоростижной смерти в руки Жуковского, который немедленно стал готовить неопубликованные рукописи к изданию.

Сделав несколько необходимых для публикации исправлений и, соответственно, изъяв несколько строк, Жуковский уже через месяц предъявил отредактированного таким образом «Медного всадника» царю еще раз и получил разрешение на публикацию. Поэма была предназначена для очередного, 5-го тома журнала «Современник». Из-за многочисленных задержек, в подавляющем большинстве цензурных, том вышел в свет только летом 1837 года. В первом посмертном собрании сочинений Пушкина «Медный всадник» в той же редакции открывал IX том, выпущенный в 1841 году. В последующих изданиях постепенно восстанавливался подлинный текст поэмы, пока, наконец, в 1923 году не был опубликован полностью и точно.

«Петербургская повесть», как назвал Пушкин эту поэму, описывает страшное наводнение 1824 года. Каждую осень многоводная Нева сталкивается в устье с сильным встречным западным ветром и начинает быстро подниматься в берегах. Низкие места, особенно Острова, да и весь город, построенный «под морем», оказываются под угрозой большего или меньшего затопления, раз в несколько лет исполняющейся. В так называемом «петербургском мифе», в мифе о городе, с самого своего основания подпавшем под проклятие «быть пусты», этим наводнениям отводится существеннейшая роль.

Уже первый читатель поэмы, а именно царь Николай, воспринял ее как сочинение историческое, политическое и идейное. Столкновение между императором, основателем столицы, «грозным преобразователем» — и одним из миллионов его подданных, безвестным горожанином, неодолимо притягивая читающую публику, с самого начала, то есть уже сто пятьдесят лет, отклоняет ее симпатии к тому или другому полюсу магнита, к Петру или к Евгению. Для одних — великий муж, творец истории, ради славы страны, ради мощи государства приносит в жертву бунтующего эгоиста. Для других — на вид забытый и никчемный, но свободного духа человек восстает, пусть обреченно, против рабства, назначенного ему властелином-самодержцем. Самое распространенное заключение у читателей, как раньше говорили, «чувствующих стихи», — Петр прав, но Евгения жалко; у людей, от поэзии далеких, — маленький человек погибает под копытами исторической необходимости, олицетворенной в Памятнике.

Но к последнему можно прийти, и не читая «печальной повести»: «Медный всадник» — не иллюстрация общих мест и идей. Что же касается раздвоенности читательского впечатления, противоречия между умственным признанием правоты одного и душевным сочувствием к другому, то, как во всех случаях, когда наше понимание правды и наша любовь действуют порознь друг от друга, это знак того, что вещь в целом воспринята нами не до конца. То, что поэма едина, бесспорно: ее единство усваивается при чтении инстинктивно. И на этом фоне сама расколотовость сознания, раскачивающего наши симпатии между двумя героями, свидетельствует о том, что из рассуждений о ней ускользает что-то в ней прочитанное.

В «Медном всаднике» три главных героя: Петр, Нева и Евгений, — в пяти строчках зачина первые два названы открыто и определены во всей полноте, третий обозначен через образ:

На берегу пустынных волн
Стоял Он, дум великих полн
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный чёлн
По ней стремился одиноко.

По существу, это ядро поэмы, здесь все, во что это пятистишие, раскрываясь, развернется в следующих пятистах строках. Внутреннее созвучие полустихий в двух начальных стихах:

«на березу» — «стоял Он, дум» —

придают им неколеблемую изваянность, статуарность, предвосхищающую тот Памятник, в который «Он», Петр, превратится на этом самом месте через восемьдесят лет. Смысловое противопоставление «пустынных» и «полн», наоборот, включает их в безостановочное движение «по восьмерке». Идеальное равновесие, равно фонетическое и смысловое, полустихия «И вдаль | глядел» охватывает всю функциональную значимость фигуры Петра в дальнейшем развитии поэмы. С той же полнотой и определенностью безымянно представлена далее Нева. Чёлн, с тем же эпитетом «бедный», что впоследствии помешавшийся герой, заявлен как образ одиночки Евгения и одновременно как конкретная лодка, которая повезет его к месту трагедии.

Петр и Евгений сталкиваются в поэме по сюжету, реально — на площади и фантастически — в воображении безумца. Но между реальностью и фантазией нет границы, нет швов: оживший памятник и ночное преследование не воспринимаются как вымысел. И обеспечивается достоверность этой сцены не только выразительностью ее описания. Третий герой, героиня, Нева, к этому времени успела приготовить читателя к ощущению происходящего неразрывно в двух планах: документальном и поэтическом.

Уже «река неслася» в 4-й строке «Вступления» читается и как сообщение «стремительно текла», и — особенно после «стоял Он» — как одушевленный образ. Натурные зарисовки «бег санок вдоль Невы широкой», «мосты повисли над водами» чередуются с видениями реки как живого существа, антропоморфной: «в гранит оделася», «взломал свой синий лед, Нева к морям его несет и, чуя вешни дни, лкует». С начала первой части это уже только одушевленная стихия с четко выписанным характером и поступками, которая, впрочем, остается и материальной рекой с плавучими мостами, поднимающимся уровнем воды и рядами волн.

На протяжении всей драмы Нева агрессивна. Но то, что она враждебна к Евгению, улавливается читателем непосредственно и потому заслоняет то, что она враждебна и к Петру. Заклинание, произносимое в конце «Вступления»:

Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра! —

только подчеркивает постоянно исходящую от нее опасность для самой сути его дела, для его величия и его «града». Заклинание не помогает, в момент катастрофы она «как зверь остервенясь, на город кинулась»: «Осада! приступ!». Нева разрушает воплощенные — государственные — замыслы Петра и готовые осуществиться — личные — Евгения. И тому, и другому остается лишь бессильно наблюдать ее триумф, и тот, и другой принимают удар судьбы с одинаковым — по крайней мере внешне — достоинством. В эту минуту они равны, оба — статуи, оба — всадники, неприступные и непреклонные:

В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом коне;

На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижимый, страшно бледный
Евгений.

Вместе с тремя главными действующими лицами, не напрямую соответствуя им, в драме принимают участие три второстепенных, так сказать, *бездействующих*: это царь, Александр, Город и Автор. Город, Петроград, Петрополь, ни разу не названный официальным именем Петербург, предстает лишь точкой приложения сил, полигоном амбиций — и Петра, и Евгения, и Невы. Он сам ничего *не творит*, он — только «творенье», «тритон», который всплывает и погружается, всплывает и погружается. «Живость» ему придает Автор, «я», словно бы для одного этого и выходящий на сцену, а далее выступающий чуть ли не как бесстрастный резонер, строго, почти академически комментирующий действия главных героев. «Покойный царь» появляется в поэме, чтобы отдать команду о спасении людей и произнести единственную фразу — «с Божией стихией царям не совладеть», или в черновом варианте — «с Божией стихией царям не сладить». Фраза, просто с покорностью констатирующая факт — и в то же время ключевая для поэмы!

Стихия бушующей природы написана с неотразимой наглядностью. На фоне этой картины не сразу замечаешь, что чувства, бушующие в помраченной душе Евгения,— та же стихия. Параллель возникает уже в начале:

Нева металась, как больной
В своей постели беспокойной,

и в это же время герой в своей постели,

заснуть не мог,
В волненье разных размышлений.

После наводнения он и ведет себя, как только что вела себя река: спит на пристани, скитается по улицам, не разбирает дороги. «Мятежный шум Невы и ветров раздавался в его ушах». «Насытись разрушением и наглым буйством утомясь, Нева обратно повлеклась», а Евгений — «прошла неделя, месяц — он к себе домой не возвращался». Избыток этой стихии он передает в сцене бунта и Всаднику, от которого бежит потом «по площади пустой», по тем же улицам, по которым только что «все побежало, все вокруг вдруг опустело» перед преследующей Невой, по той же мостовой, которая открылась, только когда Нева прекратила свою погоню.

На топких берегах несущейся реки, снеся чернеющие здесь и там избы, Петр построил строгий, стройный город и так же строго и стройно регламентировал жизнь его граждан. Евгений, как и его тезка и пред-образ из поэмы «Езерский», «просто гражданин столичный», «довольно смиренный и простой», коллежский регистратор, который служит всего два года, но рассчитывает, что «пройдет, быть может, год-другой — местечко получу» и тогда «Параше препоручу хозяйство наше и воспитание ребят...». Это отточие в конце соответствует «и так далее», то есть означает, что далее все известно наперед, что место в жизни назначено герою раз и навсегда, как место в чиновничьей табели о рангах, как место, на которое он, приходя домой, привычно вешает шинель. «И станем жить, и так до гроба рука с рукой дойдем мы оба, и внуки нас похоронят...»

Но «злые волны, как воры, лезут в окна. Чёлны с разбега стекла бьют кормой» и так далее, «гроба с размытого кладбища плывут по улицам! Народ зрит Божий гнев...». И вот уже то, что «думал Он», «строитель чудотворный», исчезло, как и сам «град Петров» —

Стояли стогны озерами.
И в них широкими реками
Вливались улицы. Дворец
Казался островом печальным.

И так же, как царь Александр оказался бессилен перед Божией стихией наводнения, так царь Петр не смог усмирить Божией стихии свободного духа. Человек сперва выпал из его стройной, строгой системы, стал «ни то ни сё, ни житель света, ни призрак мертвый», а потом и восстал. На непререкаемый, выраженный с фонетической агрессивностью приказ и вызов царя: «здесь будет город заложон», — Евгений отвечает равным по силе выпадом неповиновения: «ужо тебе!». Называя Евгения «героем», автор не сводит это слово только к литературному термину, но оставляет ему и прямое значение.

Пушкин не скрывает, что Евгений — его герой. В неоконченной поэме «Езерский», ставшей как бы предисловием к «Медному всаднику» и подробным комментарием к образу Евгения, автор открыто называет его «мой приятель». Хотя Пушкин и соглашается, «что лучше, ежели поэт возьмет возвышенный предмет», и в доказательство такой возвышенный предмет, Петра, берет, тем не менее — «его пою», Евгения. По родословной он полный двойник Пушкина. В «Медном всаднике» он подобен поэту и по другим признакам.

В самом деле, вовсе не невозможно представить себе Евгения до трагедии, в подходящий, благополучный момент декламирующего от своего лица монолог Автора «Люблю тебя, Петра творенье». Петербург Автора — парадный и безоблачный, а Евгения — обыденный и мрачный, но даже в дождь и сильный ветер он, оказывается, не сидит обреченный на одиночество дома, а вот вернулся «из гостей», когда «уж поздно было и темно», и не с «пирушки» ли «холостой», о которой с таким восторгом вспоминает Автор во «Вступлении». В первоначальном варианте «Езерского» о Евгении без обиняков сказано, что «мой чиновник был сочинитель и любовник». Еще легче представить себе монолог Евгения «Жениться? Мне? зачем же нет?» вложенным в уста самого Пушкина, тем более что ему предпослана авторская ремарка «и размечтался, как поэт».

Монолог этот выражает, часто дословно, настроение и мысли Пушкина накануне его женитьбы. «То ли дело в Петербурге! заживу себе мешанином припеваючи», — из письма Плетневу; «нет другого счастья, кроме как на проторенных путях», — Кривцову. В стихотворении 1830 года «Моя родословная», предвосхищающем «Езерского», еще отчетливее — «Я сам *большой*: я мешанин». Не случайным выглядит и упоминание, что жильё Евгения «отдал внаймы, как вышел срок, хозяин бедному *поэту*». Если не эта, то подобная комната была отдана внаймы и отнюдь не богатому после окончания Лицея поэту Пушкину, в которой он писал и читал в белые ночи, естественно, «без лампы». И, наконец, транс, в который Евгений впал у памятника, очень сходен с трансом поэта-импровизатора из «Египетских ночей».

Последнее сближение особенно значимо. В «Езерском» по поводу Евгения, а в «Египетских ночах» по поводу стихотворца, в одних и тех же двенадцати строчках, начинающихся «Зачем крутится ветер в овраге», Пушкин высказывает свое поэтическое кредо. И там, и там отрывок предваряется претензией читателей к поэту, избирающему низменный, а не «возвышенный предмет», и там, и там в заключение провозглашается свобода поэта, ничем не ограничиваемая: «Таков поэт: как Аквилон, что хочет, то и носит он» — в «Египетских ночах».

В «Езерском» этот гимн свободе звучит так:

Непонимаемый никем,
 Перед распутьями земными
 Проходишь ты, уныл и нем.
 С толпой не делишь ты ни гнева,
 Ни нужд, ни хохота, ни рева,
 Ни удивленья, ни труда.
 Глупец кричит: куда? куда?
Дорога здесь. Но ты не слышишь,
 Идешь, куда тебя влекут
 Мечтанья тайные.

Сравним этот портрет *свободы* с портретом *безумия* в «Медном всаднике»:

Он скоро свету
 Стал чужд. Весь день бродил пешком,
 А спал на пристани; питался
 В окошко поданным куском.
 Одежда ветхая на нем
 Рвалась и тлела. Злые дети
 Бросали камни вслед ему.
 Нередко кучерские плети
 Его стегали, потому
 Что он не разбирал дороги
 Уж никогда; казалось — он
 Не примечал. Он оглушен
 Был шумом внутренней тревоги.

Другими словами, безумие делает Евгения свободным, и как природную стихию — Неву, и как поэта.

Вернемся к истории опубликования, вернее, неопубликования, «Медного всадника». Николай отметил девять мест в поэме, которые его не удовлетворили: четыре строчки вычеркнул («И перед младшею столицей...»), еще двадцать одну подчеркнул или отчеркнул на полях. Еще пометил три раза слово «кумир», а также два словосочетания. Итого, двадцать пять строк и семь слов на пятьсот строк поэмы. Среди гонорарных расценок, положенных издателем Пушкину, упоминалась десять рублей за строку. Такой суммой, как пять тысяч, Пушкин не мог пренебречь, особенно при его тогдашней нужде в деньгах. И, однако, текст он править не стал и ограничился публикацией «Вступления». В отрыве от поэмы оно не принесло, и не могло принести, никакого успеха; оно лишь заявляло, что существует ненапечатанное целое.

Сводить объяснение только к гордому отказу из нежелания менять гениальный текст значило бы трактовать зрелого, умудренного в хитросплетениях жизни и литературы Пушкина как романтическую фигуру поэта или, по нашим меркам, как идейного диссидента, исповедующего безусловную неуступчивость. Такой образ не согласуется с заявлением «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать» и подобными. Пушкин, как мало кто, хранил чистоту поэзии, но в напечатанном виде публичный акт, требующий, как и всякий другой, известной гибкости. К этому

времени у него уже был богатый опыт подцензурных исправлений. Жуковский привел текст к виду, годному для публикации, — естественно, не без ущерба для текста, — за несколько дней. Создается впечатление, что показ поэмы царю был едва ли не целью Пушкина: его не удовлетворили конкретные замечания, но словно бы удовлетворило само прочтение, после него он словно бы успокоился.

В виртуозном анализе «Сказки о золотом петушке» («Последняя сказка Пушкина») Анна Ахматова убедительно показывает и дуплановость «Сказки о золотом петушке», и то, как ее сюжет наполнен «автобиографическим материалом» отношений поэта с царями Александром и Николаем. С немалым основанием такой подход приложим и к «Медному всаднику». Единственный поступок Александра — «царь молвил — из конца в конец, по ближним улицам и дальним, его пустились генералы», — копирует, даже в манере описания, поведение Дадона в «Сказке» — «медлить нечего: «Скорее! Люди, на конь! Эй, живее!» Царь к востоку войско шлет». Ахматова доказывает, что хотя Пушкин придает царю Дадону черты покойного Александра, однако пафос «Сказки» направлен против Николая. «Золотой петушок» — очередная пушкинская реплика, очередной его довод в полном недовольства друг другом, сложном споре с Николаем. «Медный всадник» представляется его центральным, решающим монологом и в этом их многолетнем диалоге, начавшемся положительной беседой в первую личную встречу 8 сентября 1826 года.

Царь после этого разговора публично объявил Пушкина умнейшим человеком России. Пушкин же вышел от него убежденный, что Россия стоит на пороге великих исторических преобразований, что ему дается возможность на их ход повлиять прямым и откровенным выражением своих взглядов и что пойдут эти преобразования «путем Петра I». Этим и объясняется, что, уже разочаровавшись в Николае-человеке и сознавая его посредственность как руководителя государства, он тем не менее продолжал сопоставлять его с Петром.

Начиная со «Стансов», написанных через три месяца после встречи и воспевающих царя, мысль «семейным сходством будь же горд» он проводит последовательно и неизменно. В ответе «Друзьям», обвинявшим его за «Стансы» в лести, он использует применительно к Николаю тот же приподнятый тон и лексику, что и к Петру: «Он бодро, честно правит нами; Россию вдруг он оживил войной, надеждами, трудами». И с самого начала он делает ударение на справедливости и милосердии Петра — «Во всем будь пращуру подобен: как он, неутомим и тверд, и памятью, как он, незлобен». В «Пире Петра Первого»

Он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.

В «Полтаве»

В шатре своем он угощает
Своих вождей, вождей чужих,
И славных пленников ласкает,
И за учителей своих
Заздравный кубок подымает.

В этой похвале государеву прощению благодарность за то, что «он мне царственную руку простер», отодвинута на второй план, на первом же — назидание, обучение «милости к падшим», конкретно к осужденным декабристам.

Николай в учителях, в особенностях в таких, не нуждался. Его Величество не против семейного сродства с Петром в «Стансах», что же касается стихотворения «Друзьям», то он «доволен им, но не желает, чтобы оно было напечатано». Пушкин не останавливается, пишет о том же еще одно стихотворение, «Герой», обращенное непосредственно к царю и на этот раз содержащее прямое предупреждение:

Оставь герою сердце; что же
Он будет без него? Тиран!

Но время переменялось радикально. Прощение, демонстративно дарованное Пушкину в 1826 году, было эффектным политическим жестом на фоне только что учиненной расправы над «прямыми героями». Теперь же вполне вероятно, что и чи-

тать-то стишки «умнейшего человека России», пусть он сравнивает его хоть с Петром, хоть с Наполеоном, было ни к чему и недосуг.

И тогда Пушкин ловит царя на его же царской милости, так театрально поданной на той памятной аудиенции: «Теперь я буду твоим цензором!» Если так, то не «утрудит ли внимание Государя Императора» новое «стихотворение», а именно Петербургская повесть «Медный всадник»? Подавая рукопись на высшее рассмотрение, Пушкин переводил его из статуса «единственного цензора» в статус единственного читателя. «Медный всадник» сочинялся, само собой разумеется, не для одного Николая, но для него первого.

Что же прочел царь в присланном «стихотворении»? Что, во-первых, оно о царе, не о царе Петре, а о вообще царе. «Царского», и помимо Петра, слишком много на его страницах: «новая царица», «порфиросная вдова», «полнощная царица», «царский дом», «покойный царь», «царь молвил» и опять «молвил», «царям не совладеть». Что, во-вторых, этот двоящийся, троящийся, множащийся «царь», оставаюсь, как и он, Николай, «мощным властелином судьбы» и «державцем полумира», превратился в «горделивого истукана», в бесчувственного «кумира» с «медною главой», который только и может, что величественно простирать руку и преследовать, преследовать, преследовать. Что Нева, в-третьих, бросающаяся на Петровскую площадь, что-то страшно ему напоминает... Ну да: тот на этой площади кошмар 14 декабря 1825 года, когда то же «теснился кучами народ, любуясь брызгами, горами и пеной разъяренных вод», не наводнения, а восстания — войск и толпы, которая тоже «вздвухалась и ревела, котлом клокоча и клубясь». Тогда ее «злые волны» и «жадный вал» так же кинулись, «ему подошвы подмывая», и «все побежало, все вокруг вдруг опустело»: осада! приступ! Он дорого дал бы, чтобы забыть, как испытал в ту минуту такой же унизительный страх, о котором ему сейчас столь пронзительно напомнила эта «петербургская повесть». И этот остров, на котором похоронили затравленного царем Евгения, — рядом с островом, на котором зарыли пятерых казенных декабристов.

Что еще? Да ничего не упустил «умнейший человек». Ни болезненного спора между Москвой и Петербургом, между сторонниками «старой» России и «новой», который он дерзко сравнил с антагонизмом в царской семье. Ни произвола при выборе Петром «места сего», болота, для строительства новой столицы, так и оставшегося Божьим наказанием для всех ее обитателей: вот уж воистину «строитель чудотворный» (как, впрочем, не смел злословить императора этот даже не камер-юнкер). Ни августейшего братца, сказать о котором при описании его беспомощного состояния, что он «со славой правил», можно, только чтобы над ним посмеяться, — ни при этом, ясное дело, уколоть преемника... Ладно, и мы посмеемся, и мы уколем — на днях, когда произведем этого пожилого сочинителя и любовника в камер-юнкеры вместе с мальчишками.

Вероятно, задевало венценосного читателя и еще что-то, в чем он, однако, не мог дать себе ясный отчет. Этот неудачник, этот неприятный Евгений, его подданный, тоже кого-то напоминал... Николай не читал «Езерского», но о «Моей родословной» мог знать от Бенкендорфа. В «Моей родословной» — «водились Пушкины с царями», и «когда Романовых на царство звал в грамоте своей народ, мы к оной руку приложили». В «Езерском» предки Евгения «и в войске и в совете, на воеводстве и в ответе служили князьям и царям», и когда «принял Романов свой венец... тогда Езерские явились в великой силе при дворе». Но даже без промежуточного героя «Езерского» Пушкин производил Евгения, оставленного в «Медном всаднике» без «прозванья»,

Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало,—

производил самым этим небрежным «хотя» — из тех же древних родов, что и его собственный, о котором он с вызывающей бестактностью свидетельствовал, что его, поэта, предок ставил на царство менее родовитого предка Николая.

В той же «Моей родословной» Пушкин в неподобающе легкомысленном тоне и опять-таки с открытым выпадом против царя, царя вообще, вспомнил, что

С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им.
Его пример будь нам наукой
Не любит споров властелин.

(В «Езерском», дойдя до этого места и написав «При императоре Петре», он оборвал рассказ многоточием, возможно, имея в виду, что то, как обошелся с пра-

щуром Евгения Петр, он покажет в «Медном всаднике», перенеся казнь на самого Евгения.)

Словом, для человека, который знал о Пушкине немало и личного, и его взгляды, и манеру письма, преподносящую важнейшие вещи не в лоб, а под таким углом и с той прикровенностью, при которых эти вещи воспринимаются гораздо значительнее, чем поданные в лоб, Евгений был, конечно, не alter ego Пушкина, но и не мог быть от него вполне отделен. В своем безумии похожий на Неву, он в своей недостижимости для чьей бы то ни было власти походил на поэта. Он грозил царю, как бунтующие волны, а поэт... Да вот же:

Мрачный вал
Плескал на пристань, ропща пени
И бясь о гладкие ступени,
Как челобитчик у дверей
Ему не внемлющих судей.

Это мог Пушкин написать о себе самом, это он хотел пробить головой стену, когда, укоряя в бессердечности, челобитничал за декабристов перед не внемлющим ему судьей. Как и Петр к Евгению, Николай был «обращен к нему спиною».

Царь не мог не узнать столь явной ссылки на притчу из 18-й главы Евангелия от Луки. Судья неправедный долгое время не хотел внять жалобам вдовы, «а после сказал сам себе: хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не даст мне покоя, защищу ее, чтобы она больше не приходила докучать мне. И сказал Господь: слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, хотя и медлит защищать их?»

Все, что в «Медном всаднике» касается царя, характеризуется гордостью, величием, пышностью — главными в христианстве грехами; все, что Евгения, — главными христианскими добродетелями: смирением, бедностью, нищетой. Уже когда страсть, но еще не безумие, берет над ними верх, он оказывается словно бы в пространстве языческих измерений: «перевозчик беззаботный его за гривенник охотно чрез волны страшные везет» — к смерти, как Харон. В безумии он ведет себя, как впавший в священный экстаз идолопоклонник в капище. Однако его бунт той же природы, что бунт Иова: он требует объяснения, правда ли, что «вся наша и жизнь ничто, как сон пустой, насмешка неба над землей», но, получив страшный ответ, опять смиряется, смиряет «муку сердца», снимает с головы изношенный картуз.

В своей последней смиренности он — ничто, его уход из жизни никем не замечен. Вместо него другой «чиновник посетит, гуляя в лодке в воскресенье, пустынный остров». Чиновник заменит его вполне, но именно как чиновника, как идеального гражданина петровской империи. Божия же стихия его души — непобедимо живая, почему в конце концов его и «похоронили ради Бога».

«МОРОЗ, КРАСНЫЙ НОС» НЕКРАСОВА

Ни один русский поэт не был так использован государственной советской идеологией, как Некрасов. Семьдесят с лишним лет он являлся официально назначенным и утвержденным «глашатаем передовых идей революционной демократии», «выразителем интересов и чаяний трудового народа», «певцом народного горя, верящим в будущее России». Прибавим к этому четверть века подобной прижизненной репутации, толпу молодежи, выкрикивавшей над его гробом: «Выше Пушкина! Выше Лермонтова!» — и десятилетия два сравнимой с этим славы посмертной. Никто не оставил в своих стихах такого количества автохарактеристик, которые поколениям замороженно прилагались к Некрасову, такого количества афористических формул, уснащавших миллионы школьных сочинений и тысячи публицистических и пропагандистских статей.

Сам Некрасов, однако, если и соглашался на эти ярлыки и восторги, то скорее волей-неволей, если и признавал свою «миссию», то больше декларативно. Его на пороге смерти заклинания о нерушимой связи с «честными сердцами» звучат неискренне, заявление, что «не русский — взглянет без любви на эту бледную, в крови, кнудом иссеченную Музу», из разряда общих мест, притом лукавых: дескать, без любви взглянул, стало быть, и не русский. Чужеродным в этом ряду выглядит «венец прощенья, дар кроткой родины», который он держит в слабеющей руке: прощенья за что? За то, что не защитил Музу от кнута? недостаточно сделал для кроткой родины? изменял выбранному «честными сердцами» направлению? Не столь наивен

был этот поэт. Вещи «с направлением», то есть либерально направленные, в которых в середине прошлого века не было недостатка, Некрасову «стояли поперек горла», как вспоминает один из его сотрудников: «Нынче,— жаловался он,— разве ленивый пишет без направления; а вот чтобы с дарованием, так не слышать что-то».

Здесь источник всех парадоксов, возникающих из сопоставления судьбы и творчества Некрасова, корень противоречия между биографией и стихами. Намерение жить как можно благополучнее, баринством, присутствие холодного расчета в самых близких отношениях, жесткий деловой подход к литературе — и «от ликующих, праздно болтающих, обгагривших руки в крови, уведи меня в стан погибающих за великое дело любви». Пропасть отделяла реальность от *направления*, и мостом через нее было *дарование*.

Школьные, усредненные, упрощенные мерки хороши, чтобы, с них начав, прийти к жизненным — что бы мы под этим словом ни подразумевали: обиход, эстетику, мораль, абстракции. Инстинктивное отношение школьника к школе — неприятие; сознательное отношение к ней в дальнейшем — пересмотр школьных занятий в сторону более или менее насмешливого их опровержения. Пассажи вроде «муза мести и печали» или «гражданином быть обязан», затверженные и затвердившие в бессмыслицу от бесчисленного употребления по всякому поводу или без повода, а в качестве несильной, но все-таки козырной карты, которая пусть даст немного, зато и не выдаст, — остаются в памяти на уровне множества демагогических мантр, сопровождающих вступление подростка в чужую жизнь взрослых. Однако позже, при перечитывании через много лет, некрасовские «неблагородные» строки вдруг трогают именно как беззащитно звучащий и бесстрашно решившийся на «неблагородство» голос подростка, голос, который кажется исходящим не извне этой самой «жизни взрослой», не из поэтического пространства, а как бы изнутри ее, по-прежнему чуждой, и тем с ее чуждостью примиряет.

Школа внушала нам, что поэт — это человек, который *естественно* говорит стихами. Но чтобы стихи производили впечатление имеющей вид обыденной, ораторской, часто на грани клише речи, а не искусства, требуется большое, иногда изощренное, *искусство*. Начав писать в 40-е годы, Некрасов должен был отталкиваться от поэзии 20—30-х. Первая, еще ученическая, книга стихов «Мечты и звуки» полна баллад вроде «Встреча душ», «Рыцарь», «Ворон» и т. д., неприкрыто, почти неприлично подражающих Жуковскому. Заданная им линия никак творчески не развивается, начинающий поэт только эпигонствует. Через почти три десятилетия давно сложившийся, «в силе», Некрасов является уже как продолжатель Жуковского, но это продолжение — абсолютно неожиданное, новаторское.

«Раз в Крещенский вечерок», — начинает Жуковский знаменитую «Светлану». «Дело под вечер, зимой», — вторит Некрасов в «Генерале Топтыгине». И так далее, повторяя метр и чередование длинных и коротких стихов баллады Жуковского, он переводит сюжет — зимнюю ночную скачку троек — из фантастической в анекдотическую. В «Светлане»:

Сели... кони с места враз;
Пышут дым ноздрями;
От копыт их поднялась
Вьюга над санями;

в «Топтыгине»:

Рявкнул мишка! — понеслась
Тройка как шальная!

Некрасов не скрывает ни рифм, ни размера, ни заимствованных образов:

Кони мчатся по буграм; Топчут снег глубокий...	Быстро бешено неслась Тройка — и не диво: На ухабе всякий раз Зверь рычал ретиво...—
Кони борзые быстрей...	

как не скрывает и пародийного приема. Если у Жуковского конец истории:

Глядь, Светлана... о Творец!
Милый друг ее — мертвец!
Ах!.. и пробудилась,

● Русская поэма: четыре опыта

а конец баллады:

Сдвинув звонки чаши, в лад
 Пойте: многи леты!—

то у Некрасова:

И Топтыгина прогнал
 Из саней дубиной...
 А смотритель обругал
 Ямщика скотиной...

Роль страшного седока играет вместо призрака, принимаемого за мертвого жениха, ряженный дрессированный медведь, принимаемый за генерала.

Естественно ожидать такого же патентованно «некрасовского» снижения темы и в «Морозе, Красном Носе». Стараниями уже хорошо знакомой читателям «угрюмой музы» первый вариант поэмы, опубликованный в 1863 году, включал в себя болезнь, смерть и похороны Прокла. Можно было предположить, что, если Некрасов станет дописывать, он разовьет тему «мороза» в ключе, близком к стихам «О погоде», в которых

Ежедневно газетная проза
 Обличает проделки мороза.

То есть что-то наподобие

Разыгрались силы Господни!
 На пространстве пяти саженей
 Насчитаешь наверно до сотни
 Отмороженных щек и ушей.
 Двадцать градусов!—

и так далее в доведенной поэтом до совершенства фельетонной манере. Тем более что «О погоде» в значительной степени также занято смертью и похоронами.

Но Некрасов и на этот раз предельно неожидан. Схема еще раз выворачивается наизнанку, переводится, если пользоваться терминами фотографии, с негатива на позитив. Как и в «Светлане», фантастика сна в «Морозе», так сказать, *правдива*. Только у Некрасова она правдива совершенно в той же мере, что и реальность, предшествующая сну, тогда как у Жуковского пробуждение в реальность — на фоне фантастики — выглядит литературной, почти формальной припиской. У Жуковского убедителен в обеих ипостасях — спутника и покойника — мертвый жених и неубедителен живой; у Некрасова жених сновидения — Мороз — подлинен так же, как мертвый супруг Прокл. Взятые в отрыве от всей поэмы последние семь глав — начиная с появления Мороза — это баллада, но баллада, освободившаяся от жанровых условностей. Однако такова она только как часть целой поэмы, и это — очевидное новаторство поэта.

Вся же поэма, по сути, представляет собой большую метафору, в которой то, что, и то чему уподобляется, постоянно меняются местами: это смерть и зима. Об этом заявляет первый же образ — гроб в сугробе. Снежный саван накрывает избу, в которой шьется холостяной саван покойнику. Из той же «белой холстины платок» на голове Дарьи «не белей ее щек», уже тронутых, стало быть, опять-таки и стужей, и смертью. Когда «сковывал землю мороз», Прокл отправляется в извоз, то есть еще и уходит от деревенского холода, зима всегда его враг: «метели пронзительный вой и волчьи горящие очи», «едет он, зябнет», «зиму не видел детей». В конце концов именно «зима доконала его» и, едва успев расправиться с ним, сразу дает знать, что это не последняя ее жертва: пока хоронили, «ай, ай! как изба настудилась». «Мертвый могильный покой» в начале второй части — это пейзаж «равнины под снегом». И наконец Прокл в завязке поэмы «одумал с сырою землей» ту же «думушку», что в развязке Дарья с Морозом.

Жизнь и счастье, которое она приносит, целиком отнесены к лету. Освобожденные героини от горя и боли принимает образ погружения в тепло, в «жаркое лето», хотя физически она для этого должна отдаться зиме. Зима — условие и средство доставки в летнее «довольство и счастье». Поэт делает знак, что героиня словно бы что-то знает об этом интуитивно, к этому предуготована, ее появление в лесу:

Не псать по дубровушке трубит,
 Гогочет сорви-голова,—
 Наплакавшись, колет и рубит
 Дрова молодая вдова,—

уподоблено появлению через несколько страниц там самого Мороза:

Не ветер бушует над бором,
Не с гор побежали ручьи,
Мороз-воевода дозором
Обходит владенья свои.

Он тоже «трещит», «палицей бьет», он обещает «алмазы, жемчуг, серебро» — как бы взамен той «жемчужины крупной», которая выкатилась у нее из глаз.

Эта сродность Дарьи Морозу проявляется и в параллелях, напрашивающихся при чтении глав IV («тип величавой славянки») и XXXI («воевода Мороз»):

С красивою силой в движеньях...
Красавица, миру на диво...

Навряд тебе парня сильнее
И краше видать привелось...

Но грязь обстановки убогой
К ним словно не липнет...

Дворец отведу голубой...

В игре ее конный не словит...

А пьяных, и конных, и пеших
Дурачить еще веселей...

Коня на скаку остановит...

На страх седоку и коню...

С походкой, со взглядом цариц...

Войди в моей царство со мною
И будь ты царицею в нем...

Чтобы Дарья была под стать Морозу, возводящему «дворцы изо льда» и «мосты ледяные», поэт гиперболизирует ее силы и сноровку:

Я видывал, как она косит:
Что взмах — то готова копна!

Она и сурова подобно ему — чтобы не сказать безжалостна:

У ней не решится соседка
Ухвата, горшка попросить;
Не жалок ей нищий убогий...

В итоге, если в Первой части она «сердито глядит» на деревенского парня-«шута», то во Второй, принимая заигрывания «парня» Мороза,

...любо ей было
Внимать его сладким речам.

«Величавая славянка» Некрасова близка скорее классичности крестьянок Венецианова, нежели натурализму деревенских портретов передвижников. Ее образ *реалистичен*, но в какой-то степени соотнесен и с *мифом*, бывшим частью горячо проповедуемой и обсуждавшейся в те годы славянофильской идеи. Не в том, разумеется, смысле, что поэт *сочинял* образ в соответствии с прочитанными статьями славянофилов, а в том, что усвоенное из прочитанного-услышанного *сказалось* в поэме так же, как сказывается в стихах всякий сердечный опыт поэта. IV глава до некоторой степени — демонстрация этой *идеи*: «И по сердцу эта картина всем любящим русский народ!» — словно бы отношением к героине проверялась также и партийная принадлежность. Как «славянка» Дарья должна была *любить* Мороза еще и как «божество» культа. Вместе с тем культ всегда мотивирован, особенно такой, как культ зимнего холода в России. Некрасов использовал для своей поэмы сюжет народной сказки, но в отличие от сказки поэма от начала до конца развивается одновременно в двух планах: Дарья-славянка — еще и крестьянка, Мороз — еще и мороз.

«Мороз, Красный Нос» — далеко не единственная русская поэма, герой которой одушевленная стихия, вспомним хотя бы балладу Мея «Вихорь», опубликованную за семь лет до того. Сюжетом: приставание Вихря-призрака, *седого*, к молодой крестьянке, ее *страсть* к нему и последующая смерть; и центральным образом: «красотки» Домны, у которой «косы по ладони; грудь как у лебедки; очи с поволокой; щеки — маков цвет», которая «жнет да жнет да вяжет полные снопы», — она прямо предвосхищает некрасовского «Мороза». Но у Мея — любовный дуэт, развивающийся по одной из апробированных линейных моделей: *его* атака — *ее* защита, следствие которой — *его* случайное убийство, следствие которого — *ее* тоска

по нему и смерть. У Некрасова — искусно и нетрадиционно разработанный любовный треугольник.

Огрубленно схема интриги выглядит так: героиня, крестьянка, любит и предана мужу, однако какая-то часть ее *славянской* души, души «красивой и мощной славянки», выходит за границы общепринятой, семейной, бытовой сферы супружеских отношений. Характеристика: «Ты вся — воплощенный испуг, ты вся — вековая истома» — может обозначать и страдающий от рабства, и достаточно сладострастный женский характер. Муж — лишь придаток к героине главы, столь же декоративный, сколь ее маленькие дети. В фольклорных главах Второй части (XIX — XXVI), хотя поэт и указывает, что она «полная мыслью о муже, зовет его, с ним говорит», однако обращение к нему на «ты» регулярно перебивается разговором о «нем» в 3-м лице: «стану я милого звать», «только Дружка одного очи мои не видали», «стану без милого жать», «скучно без милого спать», «я ли о нем не старалась?». Этот прием народной песни отстраняет, отчуждает «ее» от «него»: «он», «милый», «дружочек», становится более безличным.

Ответ Дарьи на «ласковый, тихий» вопрос Мороза: «Тепло ли?» — «Тепло, золотой!» — это еще и разрешение от любовной тоски, тяготившей ее уже при жизни мужа: «Долги вы, зимние ноченьки, скучно без милого спать». Заметим, что она отвечает так именно Морозу, прежде чем он «в Проклушку вдруг обратился». В той сфере «мифологической», которой Дарья касается, не личной, а, так сказать, «племенной» частью души, в которой заяц перебегает дорогу *к беде*, звезда скатывается *к смерти* и *сны в руку*, в которой *окатывают водой с девяти веретен, сеют мак и осыпают хмелем*, в этом душевном слое героини ее жених и супруг — Мороз. Но Некрасов написал образ души цельной, неделимой на части, поэтому Мороз и Прокл — соперники еще до того, как счастливая крестьянская чета с этим сталкивается. Мороз устраняет соперника, «хозяин дал маху, зима доконала его»:

Случилось в глубоком сугробе
Полсуток ему простоять...

Он пытается уйти от гибели, то заключая союз с врагами Мороза, идет «в жаркую баню», пролезает «сквозь потный хомут», то ищет его милости, окунается «в прорубь», но в конце концов погибает. Мороз забирает добычу. Героиня отдается ему по желанию, но это не измена мужу: «седой чародей» явился ей в образе «Проклушки», так же, как он, «целовал» «и те же ей сладкие речи, что милый о свадьбе, шептал».

На протяжении всей поэмы три участника любовной истории свободно переходят из пространства реального во фантастическое и обратно, при этом фантастическое включает в себя и потустороннее. В последних строфах они оказываются по ту сторону окончательно, но, так как все действие поэмы протекало в том же «заколдованном сне», в котором застывает героиня, потусторонность уже не фантастична: белка, сбрасывающая на ее статую ком снега, находится по сю сторону жизни.

Виртуозность, с которой Некрасов умел проходить точно по рубежу меж двух пространств, он продемонстрировал еще раз в стихотворении «Выбор». Правда, это уже пьеска, исполняемая в концерте на бис, скорее всего самым умением и спровоцированная. Водяной, Мороз и Леший по очереди соблазняют «русскую девицу, девицу красную» на любовь, то есть на смерть. «Девица с Лешим решила идти»:

Идут. Навстречу медведь попадается.
Девица вскрикнула — страх обуял.
Хохотом Лешего лес наполняется:
«Смерть не страшна, а медведь испугал!»

Поэт эксплуатирует и закрепляет безукоризненно работающий механизм: в пограничной между реальностью и фантазией области медведь (белка) и одушевленный призрак (Мороз, мертвый жених Светланы) одинаково реальны и одинаково фантастичны, реальность первого и фантастичность другого меняют их места: страшное «здесь» делается нестрашным в соседстве с «нездешним» и наоборот.

Такой подход к Некрасову, такое *чтение* (а не толкование) его стихов отнюдь не отменяют той прочно сложившейся репутации, в рамках которой они — «свидетели живые за мир пролитых слез», а он — певец «судеб народных». То, чем занимается художник, принадлежит прежде всего эстетике и лишь потом этике. Пчела садится на цветы за тем, чтобы высосать нектар, а заодно и опыляет их. Цель поэта — мед поэзии, но он отдает в распоряжение читателя также и питательный сочный урожай заодно опыленного им сада. Некрасов не меньше — а по нашему разумению, много больше — эстет, чем революционный демократ. Гораздо интереснее, нежели с отечественным сверстником, также «печальником горя народного», Никитиным, было бы сопоставлять его с погодком Бодлером.

Не случайно у первого переводчика Бодлера на русский язык, современника обоих, Н. С. Курочкина, он вышел настолько «под Некрасова». Стилистическое сходство поэтики того и другого яснее проявляется при переводе Бодлера трех-сложным размером:

Старичишки в страстях извиваться,
А воришки добычу делить.
(Перевод Анненского)

Целый ряд стихов из бодлеровских «Парижских картин» («Лебедь», «Семь стариков», «Старушки», «Предрассветные сумерки», «Смерть бедняков») соприродны некрасовским; строки, подобные

Всегда во тьме ночной, холодной и унылой,
На людной улице при ярком свете дня,

или

Гнилой октябрь царит над стонущей землею,
И — мертвым холодней в сырых могилах их,
И крик озлобленный голодных и больных...

обнаруживают наглядную близость не только к некрасовской образной и интонационной системе, но и к его нравственной установке.

Не случайно и то, что поэт Андреевский, переводивший Бодлера в 80-е годы и тогда же написавший проницательную статью о Некрасове, отмечал некую «театральность» (читай: *искусственность, эстетизм*) его поэзии, далекой от «простоты» и «наивности». Бодлер объяснял ужас жизни «адам души», Некрасов — «адам» социальной несправедливости. Так принято считать. Но, судя по «Морозу, Красному Носу», Некрасову открывалось немало и из «бездн сердца». Свои отношения с Музой:

Чрез бездны темные Насилия и Зла,
Труда и Голода она меня вела,—

он описывает словами, круг которых взаимодействует с кругом бодлеровских *Разврата, Зла, Разрушения, Ненависти*, которые тот также писал с большой буквы. И в обращении все к той же «Музе мести и печали» признаваясь:

Той бездны сам я не хотел бы видеть,
Которую ты можешь осветить...—

он вкладывает в *мечь и печаль* скорее «инфернальное» в духе Бодлера, чем «революционно-демократическое» содержание. Истерзаннные музы: «согбенная трудом», «бледная, в крови» некрасовская и «продажная», «обезглавленная» Бодлера — сестры, судьбой заброшенные одна в Петербург, другая в Париж. Стихи разных поэтов рождает единый космический ритм — чтобы петь в унисон, им не обязательно знать тексты друг друга. Для этого, как сказал поэт нашего времени, существуют «воздушные пути» или, как сказал нашего времени философ, «тамтамы» поэзии.

«ДВЕНАДЦАТЬ» БЛОКА

Поэма «Двенадцать», по словам близкого свидетеля, была написана в два дня. «Он начал писать ее с середины, со слов: «Ужь я ножичком полосну, полосну!»... Потом перешел к началу и в один день написал почти все: восемь песен, до того места, где сказано: «Упокой, Господи, душу рабы Твоея... Скучно!»» — утверждает Чуковский, в те поры регулярно встречавшийся с Блоком. Пунктуальный Блок, помечая в записной книжке, как вещь создавалась, упоминает о недельном перерыве в «движении» «Двенадцати» после первого приступа поэмы, еще почти две недели она не дает о себе знать, потом два дня бешеного творчества — и запись о завершении ее 28 января 1918 года.

В день, предшествовавший началу поэмы, он сделал наброски драмы о Христе, и в частности: «Иисус — художник. Он все получает от народа (женственная восприимчивость)... Нагорная проповедь — митинг. Власти беспокоятся. Иисуса арестовали. Ученики, конечно, улизнули... «Симон» ссорится с мещанами, обывателями и односельчанами. Уходит к Иисусу. Около Иисуса оказывается уже несколько других (тоже с кем-то поругались и не поладили...). Между ними Иисус — задумчивый и рассеянный, пропускает их разговор сквозь уши: что надо, то в художнике застря-

нет. Тут же — проститутки». Назавтра появляется запись: «Весь день — «Двенадцать»... Внутри дрожит».

Было бы вульгарно думать, что Блок *так* понимал Христа и Евангелие: взятое в кавычки имя будущего апостола Петра означает, что это «Симон» из пьесы, лишь специфически ориентированный на евангельского. Скорее можно предположить, что драма, будь она написана, соответствовала бы жанру религиозной мистерии, — не случайно план пьесы записан сразу после Святков, в продолжение которых такие действия традиционно разыгрывались. Инсценированные в мистериях известные события и притчи Священного Писания в той или иной мере дополнялись современным, иногда сиюминутным, содержанием. Блок «демократизировал» Христа в ренановском духе, изображая Его только как человеческую, хотя и творческую, фигуру в ее взаимоотношениях с народом. В тот период это была центральная тема Блока, которую он развивал главным образом в статьях.

Закончив «Двенадцать», Блок записал в дневнике: «Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг... Сегодня я — гений». Такая оценка собственного труда перекликается с пушкинской, сделанной по окончании трагедии «Борис Годунов», пусть и в другом тоне: «Я перечел ее вслух, один, и бил в ладоши и кричал, ай-да Пушкин, ай-да сукин сын!» Через два года в одной из бесед Блок говорил о поэме как о вершине своего творчества: «Двенадцать» — какие бы они ни были — это лучшее, что я написал. Потому что тогда я жил современностью».

Чтобы прочесть эту вещь так, как ее прочел Блок, чтобы видеть и слышать ее так, как он видел и слышал, современный читатель должен не упускать из внимания еще несколько помет и записей поэта, сопутствующих написанию и последовавшему за ним обсуждению поэмы. В первую очередь это приписка к X главе: «*И был с разбойником. Жило двенадцать разбойников.*»

Упоминание «Жило двенадцать разбойников» указывает на балладу Некрасова «О двух великих грешниках» из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»:

Было двенадцать разбойников,
 Был Кудеяр-атаман,
 Много разбойники пролили
 Крови честных христиан.

Эта баллада, таким образом, служит для Блока камертоном, по которому он настраивает «Двенадцать». Кудеяр, «великий грешник»,

Долго боролся, противился
 Господу зверь-человек,
 Голову ссек полубовнице
 И есаула засек.

Уже раскаявшийся и в отшельничестве умоляющий Бога о спасении, он встречает «пана богатого, знатного, первого в той стороне» и слышит от него:

«Спасения
 Я уж не чаю давно,
 В мире я чту только женщину,
 Золото, честь и вино.
 Жить надо, старче, по-моему:
 Сколько холопов гублю,
 Мучу, пытаю и вешаю,
 А поглядел бы, как сплю!»

В контексте тогдашних мыслей и настроений Блока этот второй «великий грешник», нераскаянный, мог предстать перед поэтом как символический образ «старого мира», упорствующего в ставших нормой пороках, которыми безнаказанно похваляется его исчадие, «первое в той стороне». В то же время признание о «женщине и вине», исполненное для Блока автобиографическим содержанием и творческим смыслом, могло быть воспринято им как глубоко личное... Бывший разбойник «бешеный гнев ощутил, бросился к пану Глуховскому, нож ему в сердце вонзил!» —

Рухнуло древо, скатилось
 С инока бремя грехов!..

Контур баллады о двух великих грешниках явственно проступает за «Двенадцатью»: та же дюжина разбойников — убийство любовницы («голову снес» — «про-

стреленная голова») — убийство «жестокое, страшное» зла — очищение, ведущее к спасению.

Подчеркнуто Блоком примечание «И был с разбойником» сплетено из евангельского стиха, повествующего о распятии Христа вместе с двумя разбойниками: «И сбылось слово Писания: «и к злодеям причтен»» — и ответа Иисуса «благоразумному разбойнику»: «Ныне же будешь со Мною в раю». К тому, как это узловое в истории христианства и человечества событие истолковано и какая роль ему отведена поэтом в «Двенадцати», вернемся позднее.

Не требуется особой догадливости — даже и без таких пояснений,— чтобы в двенадцати людях, идущих за Христом, увидеть подобие двенадцати апостолов. Однако общепринятая расхожая формула, основанная на роде занятий четырех апостолов первого призыва, сводится к тому, что «Христос набрал Себе апостолов из рыбаков», а не из разбойников. Вероятно, не без намека на это художник Анненков на одной из иллюстраций к поэме поместил героев возле дома с адресом «Рыбацкая, 12» (недалеко от дома на Лахтинской, где жил когда-то Блок). Превращая красногвардейцев в апостолов и называя их разбойниками, поэт переносит ударение с *простоты* «избранных Христовых» на их *греховность*. Блок, таким образом, ставит их в центр евангельской проповеди Христа, объявившего, что Он «пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию», открывшему «праведникам», что «мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие», и подтвердившему это на кресте, когда спас первым из человечества разбойника. Для Блока именно они народ Христа, Его люди, именно ради них и пришел Он на землю. Через неделю после опубликования «Двенадцати» поэт записал в дневнике, что «едва ли можно оспорить эту истину (то, что «Христос с красногвардейцами».— А. Н.), простую для людей, читавших Евангелие и думавших о нем».

Черновой пометой в начале 7-й главы «Двенадцать (человек и стихотворений)» Блок скорее всего фиксирует композиционный замысел поэмы: строй и сюжетное движение главок должны уже самим числом выразить процессию революционных стражей. Но не следует упускать из виду и другую возможность прочтения: каждая главка — человек. Положим, 1-я — один из конкретных: старушка, буржуй, интеллигент, поп, барыня, бродяга, а в общем, тот подхваченный стихией «ходок», что «на ногах не стоит»; 2-я — любой из «товарищей» «без креста»; 3-я — любой из «ребят» «красной гвардии», и так далее до 12-й, которая — человек «в белом венчике из роз», принимаемый за Христа.

Если взглянуть на поэму под этим углом, то есть как на шествие двенадцати людей-главок, проходящих мимо и в виде единой, неразделяемой группы, в целом безликой, а точнее, имеющей некое групповое лицо, и в виде последовательности фигур, которые по очереди, как главки, на время чтения каждой очередной выступают на первый план, то дюжина картин, складывающихся в одну общую, в какой-то степени объясняет гармонию «Двенадцати».

Персонажи 1-й главы — те самые «праведники», недовольные выходом из их повиновения тех, кто для них разбойники, кого они называют предателями, большевиками и т. д. Двенадцать, еще не проявленные в 1-й главе как отдельные единство,— из этой же среды: пример тому — «бродяга», принадлежащий одновременно миру уходящему и надвигающемуся. Двенадцать находятся где-то между ними и в этом качестве впервые заявляют о себе как о стихии — как ветер и мороз, завывающие вокруг любого «ходока».

Впервые как единое целое, выделенное из остальных, «двенадцать» появляются со 2-й главы. Их отличие — в откровенном признании их *беззаконности*, их двойной *преступности*: они преступают закон Божий — они «без креста», и закон человеческий — «на спину надо бубновый туз». Знаки принадлежности к двум несоединимым категориям человечества, крест и бубновый туз, перемещающаяся с груди на спину, создают пластический образ сделанного раз навсегда шага. Те, от кого они удаляются, хотят видеть бубновый туз их отверженности. Отброшенный крест расчищает перед ними путь к нищевской свободе, и, согретые «святой злобой», они палат в «Святую Русь».

3-я главка, открываясь зачином солдатской песни, развивается на противопоставлении видимости и сущности служивой доли: служить — голову сложить. Но если первые две строфы обыгрывают традиционное совмещение в службе «горя горького» и «сладкого житья», то последняя, переводя контраст в более общий план стихийности, превращает всю главку в песню мятежную. В ней отчетливо слышен разбойничий посвист, завершающийся кощунственным «Господи, благослови!». Это то, о чем за несколько месяцев до «Двенадцати» Блок писал: «задача русской культуры — ...буйство Стеньки и Емельки превратить в волевую музыкальную волну». «Наши ребята», оказывается, не солдаты, охраняющие принятый порядок, а, напротив, те, которые «пошаливают», *бунтовщики* против порядка, как Стенька и Емелька.

Три следующих главы делают эту заявку на бунт, на несоблюдение закона, конкретной и претворяют в преступление. Их сюжет при этом движется неумолимой логикой преступления, согласно которой «нарушение одной заповеди закона нарушает все».

Прелюбодеяние в 4-й главе разворачивается в 5-й в образ торжествующей блудницы и приводит к убийству в 6-й и воровству в 7-й. Катька — единственная в поэме *личность*, единственная героиня, противопоставленная — и противостоящая — коллективному герою Двенадцати. Она тоже из персонажей 1-й главы — так же, как Ванька и лихач. Но Ванька и лихач — не столько действующие лица, сколько ампула, маски, сценическая пара соблазнителя со слугой. Катька же, по Блоку, воплощает то, что дает миру жизнь и составляет самую жизнь, — как в мире, подлежащем гибели, так и в идущем на смену. Драматический узел поэмы не в Революции, сметающей *прежнюю* жизнь, а в убийстве Катьки, без которой вообще нет жизни.

Переживания убийцы в 7-й главе, бессознательно ощущающего масштаб случившегося, сродни переживаниям Раскольникова, они выходят за рамки любовной утраты. По-видимому, сперва он хочет убежать с места убийства и лишь после уговоров «замедляет торопливые шаги». Платок, который он «замотал на шее», вероятно, принадлежал убитой и, возможно, скрывал на *ее* шее след от ножа, которым он недавно уже пытался свести с ней счеты. Его исповедь о влюбленности пронзительна. Однако кончается она чем-то, чего он не может выразить:

Загубил я, бестолковый,
Загубил я сгоряча...—

и так и не выговаривает, что же он загубил. «Бестолковый» — слово не подходящее к убийству из ревности, но точно соответствующее неведению о том, что за ним стоит. Сюжет не заканчивается на убийстве: пока Петька мучается, все еще поправимо, еще не закрыт путь героя «Преступления и наказания». Но, когда его убеждают, что впереди ждет их «бремя потяжеле», а из контекста следует, что подразумевается бремя Революции, все кончено. «Он голову вскидывает, он опять повеселел...». С этой минуты в силу вступает иной закон — «все позволено!».

Эх, эх!
Позабавиться не грех!
Запирайте этажи,
Нынче будут грабежи!
Отмыкайте погреба —
Гуляет нынче голытьба!

Эти забавы, грабежи и гульба — уже не грех, ибо вступивший в действие закон ими не нарушается.

Вседозволенность конца 7-й главы — веселая, это ее первые шаги. Но она стремительно себя исчерпывает. В 8-й с ней и в ней надо уже просто проводить время. Когда позволено все и нет ни на что запрета, то не порядок ценностей и рангов меняется один в пользу другого, а отменяется само понятие всякого порядка. Почесать себе затылок в прямом смысле слова или в иносказательном, в воровском, раскроить кому-то череп — одинаково скучно и одинаковой скукой порождено. Семечки ли лущить, ножичком ли полоснуть; кровушку ли чью-то выпить, помолиться ли за упокой загубленной души — все равно. «Человек» 7-й главы — великий грешник, но еще кающийся и, стало быть, сохраняющий шанс на спасение; «человек» 8-й — Каин, он проклят извращением порядка вещей, он «изгнанник и скиталец на земле».

Герой «Песни узника» Федора Глинки, от которой берет начало популярный городской романс, использованный Блоком для главы 9-й, тоже Каин:

«Прости отчизна, край любезный!
Прости мой дом, моя семья!
Здесь за решеткою железной —
Уже не свой вам больше я!
Не жди меня отец с невестой,
Снимай венчалное кольцо;
Застынь мое навеки место;
Не быть мне мужем и отцом!»

9-я глава у Блока — это вид «лица земли», с которого человек «согнан» и по которому в то же время осужден «скитаться». Это минус-пространство: город не шумит, как если бы его вовсе не было, что утверждается и исчезновением стража

порядка — городского. В призрачности пейзажа убеждает и фигура «буржуя», который «в воротник упрятал нос», как гоголевский майор Ковалев, кутавший в плащ, когда его «собственный нос пропал неизвестно куда» и стал «сам по себе». «Буржуй на перекрестке» в 1-й главе — типаж, в 9-й — откровенный символ: он «стоит безмолвный, как вопрос», и перекресток уже не улиц, а судеб и эпох.

Первые строчки следующей, 10-й, главы подхватывают этот прием обнаженной символичности происходящего. Вьюга, которую поднял «ветер на всем Божьем свете» в 1-й главе и которая сейчас меняет направления наглядно, как меняет ударения: вьюга — вьюга, — недвусмысленно подает себя как символическую стихию Революции. Начиная с 10-й главы все настойчивей демонстрируется властная поступь «двенадцати», неотвратимость их движения «вперед». Дважды прозвучавший прежде лозунг «Революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!» приобретает убедительную призывность: «— Шаг держи революционный! Близок враг неугомонный!» И все отчетливее на фоне этой декларативно победительной темы слышится другая — каиновой «согнанности» с места. Они не столько идут, сколько их гонят, и гонят неизвестно куда, как ослепших: из-за вьюги «не видать совсем друг друга». В 12-й главе та же «вьюга долгим смехом заливается в снегах» и отчасти как ее насмешка звучит заклинательное «Вперед, вперед, вперед, рабочий народ!». Понукание, слышащееся уже в породившей эти строчки революционной «Варшавянке»: «Марш, марш вперед, рабочий народ!» — в поэме приобретает форму надзирательского окрика.

В 10-й главе возникают первые такты — и музыкальные, и смысловые — пушкинских «Бесов»:

Не видать совсем друг друга
За четыре за шага.

Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!

И особенно примечательно дальше:

Снег воронкой завился,
Снег столбушкой поднялся...

Там верстою небывалой
Он торчал передо мной.

Собственно говоря, хорей «Бесов» открывает поэму «Двенадцать»: «Черный вечер. Белый снег», но, в следующей строке оборвавшись: «Ветер, ветер!» — остается только аккордом. В 10-й заявляя о себе, этот ритм в двух последних окончательно утверждает. «Двенадцать» ведет себя по отношению к «Бесам», как второй голос в двухголосной фуге: «Вьюга мне слипает очи» — ведут «Бесы»; «И вьюга пылит им в очи» — квинтой выше вторят «Двенадцать».

Одна из известных Блоку теософских систем рассматривает ангелов и демонов как эволюцию человека в том или другом направлении, так что каждый человек уже при жизни принадлежит к одному из двух сонмов. Пример естественно-наивной убедительности таких представлений дает Гоголь в «Сорочинской ярмарке», также, как «Бесы», откликающейся у Блока вьюжным ночным эхом. Пушкинские строчки:

Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин,—

могли бы стать эпиграфом к 11-й и 12-й главам «Двенадцати» наравне с «В поле бес нас водит, видно». Одна и та же интонация тревожных вопросов господствует в обоих вещах:

Кто еще там? Выходи!
.....
Эй, откликнись, кто идет?
.....
Кто там ходит беглым шагом,
Хоронясь за все дома?

Что там в поле?
Кто их знает? пень иль волк?
.....
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?

Торжественно повторяющийся афоризм «идут державным шагом» больше показной, чем действительный, это самообман, необходимый «двенадцати», чтобы скрыть неподдельный испуг и растерянность, прорывающиеся в нервных репликах. Их угрозы отдают бравадой: «Все равно тебя добуду, лучше сдайся мне живьем!» — и тотчас меняют тон на более примирительный, «официальный». «Эй, товарищ, будет худо, выходи, стрелять начнем!» Насколько неуверенней, чем «Пальнем-ка

пулей в Святую Русь!», это звучит. Пальба, начатая с куража, кончается пальбой со страха.

Фигура Христа, которой завершаются «Двенадцать» и которая, как оказывается, идет впереди «двенадцати», с момента появления поэмы вызывала самые жаркие споры и самые разные объяснения. В ответ на обвинение в том, что «внезапное появление Христа есть чисто литературный эффект», Блок признавался, что ему «тоже не нравится конец «Двенадцати»»: «Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа». Он записал в дневнике: «Я только констатировал факт: если взглядеться в столбы метели *на этом пути*, увидишь «Исуса Христа». Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак».

Признание уникальное, бесконечно более откровенное, чем откровенны слова самого конкретного объяснения. Имя Иисуса, написанное, как и в поэме, по простонародной (усвоенной от староверов) орфографии и, что важнее, взятое в кавычки, сводит на нет любое намерение подставить вместо этого «Исуса» — Христа евангельского, тем более исторического. Это «Христос» бытовой веры, «Боженька» с иконы — не случайно убийца употребляет слово «Спасе» как междометие, и недаром товарищи образумливают его: «От чего тебя упас *золотой иконостас?*» — а не Господь Бог. То, что он «в белом венчике из роз», говорит не о католической природе этого образа, как указывали некоторые критики, а опять-таки о том, что это образ, сошедший с домашней или церковной иконы, украшенной веночком из бумажных роз. Это тот же «Христос — в цепях и розах», когда «в простом окладе синего неба его икона смотрит в окно», и венчик тот же, что у Девы Марии, когда на клиросе поют «о розах над ее иконой» — в более ранних блоковских стихотворениях.

Блок абсолютно честен и когда, фиксируя видение, «констатирует факт», и когда осмысливает его вне видения: «Что Христос идет перед ними — несомненно. Дело не в том, «достойны ли они его», а страшно то, что опять он с ними и другого пока нет; а надо Другого — ?». Христос подлинный, евангельский, «был с разбойником» — *раскаившимся*; с этими, нераскаившимися, *окаянными*, должен быть *Другой* — вот что ясно поэту. А вид у этого имеющего быть *Другим*, сколько Блок в него ни «вглядывался», опять оказывается тот же, Христа. «И не удивительно, — говорит апостол Павел, — потому что сам сатана принимает вид Ангела света. А потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей правды». Или еще определеннее: «принимают вид Апостолов Христовых». Не это ли для Блока *страшно*? И не об этом ли поэма «Двенадцать»?

На следующий день после окончания поэмы он записывает в дневнике: «Я понял Faust а: „Knutte nicht, Pudel,.“. «Не ворчи, пудель», — обращается Фауст к черному псу, увязавшемуся за ним. Но пес превращается в Мефистофеля. «Мне скучно, бес», — обращается Фауст к Мефистофелю у Пушкина. «Скука скучная, смертная! Скучно!» — вот герои «Двенадцати», убив Катьку на улице и Бога в себе. «Что делать, Фауст? — отвечает пушкинский дьявол. — Таков вам положен предел». И через несколько строчек словно бы описывает трагедию «Двенадцати».

Так безрасчетный дуралей,
Вотще решаешь на злое дело,
Зарезав нищего в лесу,
Бранит ободранное тело.

Гетевский пес на глазах у Фауста растет, заполняет собой все пространство, отступает *назад* и возникает *перед* Фаустом, уже не скрывая, кто он. Возможно, именно поэтому Блок и решился на такую небывалую дотоле рифму: (позади) пес — (вперед) Христос. «Бог лазурный, чистый, нежный» ранних стихов нетронутым перешел в «Двенадцать». Он так же расплывчат и неуловим, но, сопровождаемый «двенадцатью», в новой обстановке, когда идет последний разговор о последних вещах и романтическая вуаль сброшена, он не оставляет сомнений, кого *Другого*

Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной

он маскирует.

«ПОЭМА БЕЗ ГЕРОЯ» АХМАТОВОЙ

Принято говорить об Ахматовой «ранней» — от начала паузы в несколько лет, последовавшей за «Anno Domini», и «поздней» — от середины 30-х годов до конца.

«Поэма без героя» написана Ахматовой «поздней» об Ахматовой «ранней» и хотя бы поэтому стоит особняком в ряду русских поэм.

В России никто из поэтов такого ранга не доживал до такого возраста. Поэма была начата Ахматовой в пятьдесят лет. Меньше чем через два года завершена. Вскоре открылось, что завершение не окончательное. Поэма периодически дописывалась и переписывалась, опять и опять принимая вид доведенной до конца вещи. В общей сложности это продолжалось двадцать пять лет, то есть почти целиком всю вторую половину творческой жизни поэта. Как единое целое Поэма существовала уже в 1942 году, в ней было тогда триста семьдесят строк. За время вставок и исправлений, из которых последние появились незадолго до смерти, всего прибавилось еще столько же, не считая строф, которые Ахматова оставила за пределами текста.

Кроме этого свойства неотвязности от своего создателя, с самого начала в Поэме проявилось и другое столь же сильное: она стала притягивать к себе читательский комментарий — не как естественно сопутствующий фон, а включая его в себя как элемент структуры. Каждый новый читатель ощущал себя вовлеченным в круг остальных, причем знать суждения остальных оказывалось менее важно, чем знать, что таковые существуют и твои — среди них. При этом Поэма начинала странным образом «реагировать» на такую реакцию читателя, учитывать ее и отвечать на нее. Она развивала, подтверждала или опровергала его оценку как тем, что ускользнуло при первом чтении, так и теми изменениями, которые в ней появлялись.

Лучшим, находящимся в особом положении комментатором была, естественно, сама Ахматова. Она собирала читательские мнения, не восторги и общие слова, а конкретные замечания, и записывала их, помещая между собственных заметок о Поэме. Таких заметок наберется десятка три в виде писем к N и NN, быть непосредственным адресатом которых могли бы с более или менее достаточным основанием несколько близких к Ахматовой человек и никто из них не наверняка, и в виде записей, разбросанных в дневниках последнего десятилетия жизни. Прибавим к этому черновик балетного либретто, написанного на сюжет Поэмы.

Среди записей, подводящих итог читательским отзывам, есть такая:

О поэме.

Она кажется всем другой:

- Поэма совести (Шкловский)
- Танец (Берковский)
- Музыка (почти все)
- Исполненная мечта символистов (Жирмунский)
- Поэма Канунов, Сочельников (Б. Филипов)
- Историческая картина, летопись эпохи (Чуковский)
- Почему произошла революция (Шток)
- Одна из фигур русской пляски — раскинув руки и вперед (Пастернак). Лирика — отступая и закрываясь платочком.
- Как возникает магия (Найман).

Когда Ахматова записывала это, мне было двадцать с чем-то лет. Сейчас, читая этот список, я бормочу двестише из Поэмы:

Как же это могло случиться,
Что одна я из них жива? —

и, бормоча, лишний раз ловлю себя на вольном или невольном участии в игре, которую Поэма тридцать пять лет назад затеяла со мной, как затеяет со всеми, когда-либо к ней приближавшимися.

Разговор о магии зашел в одну из наших встреч весной 1963 года. С промежуток в два года Ахматова подарила мне два варианта Поэмы и оба раза подробно расспрашивала о впечатлении. Потом предложила мне все, что я о Поэме говорил, собрать в статью. Я откладывал ее полтора года и в конце концов ограничился отрывочными заметками. В них я, в частности, описывал строфу Поэмы: «Первая ее строка, например, привлекает внимание, заинтересовывает; вторая — окончательно увлекает; третья — пугает; четвертая — оставляет перед бездной; пятая одаряет блаженством, и шестая, исчерпывая все оставшиеся возможности, заключает строфу. Но следующая строка начинается все сначала, и это тем более поразительно, что Ахматова — признанный мастер короткого стихотворения».

Оказалось, что она записала эти мои наблюдения в самый день нашего разговора: архивисты нашли дневниковую запись после ее смерти. «Еще о Поэме. Икс-Игрек сказал сегодня, что для поэмы всего характернее следующее: еще первая строка строфы вызывает, скажем, изумление, вторая — желание спорить, третья — куда-то завлекает, четвертая — пугает, пятая — глубоко умиляет, а шестая дарит последний покой или сладостное удовлетворение — читатель менее всего ждет, что

в следующей строфе для него уготовано опять только что перечисленное. Такого о поэме я еще не слыхала. Это открывает какую-то новую ее сторону».

Запись разнится с моей, но и моя сделана не сразу, так что сейчас не могу сказать, чья ближе к тому, что мною тогда говорилось. Я делал ударение на том, что всякая очередная строфа, будучи завершена и самодостаточна, тем не менее начинается как будто с нуля и как будто независимо от предшествующей, а только что испытанное читателем ощущение возобновляется, потому что хотя она проводит его каждый раз другой дорогой, дающей новое впечатление, но все впечатления — сходной силы и характера. Иначе говоря, Ахматова и остается «признанным мастером короткого стихотворения»: строфы, неотменимо друг с другом связанные и сведенные в единое целое, можно представить себе опубликованными и по отдельности, некоторые попарно, по три, но, так сказать, в отрыве от Поэмы. Каждая строфа, как правило, шестистрочная, выглядит как два заключительных сонетных терцета, то есть антитезис-синтез или кульминация-развязка какого-то стихотворения. Ничего больше от него не осталось, но отсутствующую часть — содержание и фрагменты — читатель может угадать и реконструировать.

Сотворчество с читателем возникает у всякого подлинного поэта — почти у всякого есть какие-то упоминания об этом. У Ахматовой они разбросаны в лирике, статьях и прозаических заметках, а целно и полно выражены в «тайнах ремесла». В предисловии к «Поэме без героя» про это сотворчество сказано с недвусмысленной определенностью: «Их голоса я слышу и вспоминаю их, когда читаю поэму вслух, и этот тайный хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи». «Их» — это первых слушателей поэмы, вскоре погибших во время ленинградской блокады. Или, еще прямее, как записала с ее слов Лидия Чуковская: «Все свои стихи я всегда писала сама, а Поэму пишу словно вместе с читателями».

Теперь, когда самого поэта не стало, а у Поэмы стали новые читатели, пространство, оставленное в ней для них, втягивает в звучание «тайного хора» и их голоса. Среди них есть, так сказать, необработанные — тех, кто откликается непосредственно на красоту, ясность или таинственность стихов; или на рассказанную историю; или в конце концов на сведенный болью, открытый рот трагической маски, в которой застыло лицо автора. Есть и профессиональные — тех, кто улавливает, если использовать ахматовское словцо, «третий, седьмой и двадцать девятый» слой звука в Поэме и отзывается на него более или менее неожиданными сопоставлениями, более или менее основательными догадками. Их продолжает «слышать» поэт, ибо отвечает им, как отвечал античному хору герой, — как при жизни отвечала «первым слушателям» сама Ахматова. В этом смысле после ее смерти и навсегда Поэма стала еще более *без героя*, чем была в годы своего возникновения. В этом же смысле нет разницы между судьбой Поэмы при жизни и после смерти автора: «Ты растешь, ты цветешь, ты в звуке».

Ахматова неоднократно повторяла, что всякая поэма существует ритмом и что технически «метр и строфа делают поэму». Она иллюстрировала это примерами Пушкина, после которого уже нельзя было писать поэмы четырехстопным ямбом, и Некрасова, чей «Мороз, Красный Нос» стал *новой* поэмой благодаря трехсложным размерам. После метрического разнообразия в «Двенадцати» Блока, тактовика и акцентного стиха у раннего Маяковского Ахматова возвращает поэму к регулярному размеру и строфе. Размером стала одна из форм дольника, известного по ее ранним стихам и тогда же прозванного «ахматовским». Это, с малыми отклонениями от ритмического рисунка Поэмы, — «Настоящую нежность не спутаешь», «Как ты можешь смотреть на Неву», и так далее. Или «Новогодняя баллада» 1923 года, размер которой бродит вокруг «Поэмы без героя», как и содержание.

Это стихотворение — конспект Поэмы, ее первый набросок и первая модель:

И месяц, скучая в облачной мгле,
Бросил в горницу тусклый взор.
Там шесть приборов стоят на столе,
И один только пуст прибор.

Это муж мой, и я, и друзья мои
Встречаем новый год.
Отчего мои пальцы словно в крови
И вино, как отравы, жжет?

Хозяин, поднявши полный стакан,
Был важен и недвижим:
«Я пью за землю родных полей,
В которой мы все лежим!»

А друг, поглядевши в лицо мое,
И вспомнив Бог весть о чем,
Воскликнул: «А я за песни ее,
В которых мы все живем!»

Но третий, не знавший ничего,
Когда он покинул свет,
Мыслям моим в ответ
Промолвил: «Мы выпить должны за того,
Кого еще с нами нет».

То же новогоднее собрание тех же теней, та же «одна из всех живая» хозяйка, те же неназванные *муж, друг*, некто, *покинувший свет, не знающий* предстоящего, призывающий *гостя из будущего*. Суггестивный сгусток Поэмы, как сказали бы недавние ахматоведы.

Как-то раз в разговоре о «Божественной комедии» Ахматова упомянула об одном ее издании, в котором на странице помещалась одна-две терцины в окружении объяснений и истолкований, сопровождавших «священную поэму» со времени написания и веками впоследствии копившихся. Не поручусь, что этот разговор касался также и «Поэмы без героя», но в памяти он отложился именно в такой связи. То, что за истекшие тридцать лет написано о Поэме, в соединении с тем, что записала о ней сама Ахматова, и составляет это густое облако комментариев. Издание «Поэмы без героя» в таком виде — дело, по-видимому, недалекого будущего.

Подавляющее большинство комментариев относится к перекличке Поэмы с другими произведениями искусства, в первую очередь литературы. Ставшая почти обязательной в исследовании творчества Ахматовой ссылка на четверостишие:

Не повторяй — душа твоя богата —
Того, что было сказано когда-то.
Но, может быть, поэзия сама —
Одна великолепная цитата,—

неодолимо направляет исследователей к поискам еще и еще чего-то, что «было сказано когда-то» и — не повторено бессильно, нет, а — процитировано в Поэме. Это направление, во-первых, перекашивает картину, делает представление о целой вещи однобоким, а, во-вторых, сужает взгляд, превращает поэзию действительно в «укладку», в сундук культуры, которую поэзия всего лишь искусно спрессовала.

Да, из Поэмы то здесь, то там торчат хвосты цитат, дразнящие даже неискушенный взгляд. Да, она прячет больше, чем открывает, и потому всегда побуждает на все более пристальное вглядывание в ее строчки. Но, замороженное ее вместительностью и многослойностью и словно бы в шоке от ее «культурности», ахматоведение последних десятилетий вписывает Поэму целиком в систему координат, на которую проецируется, по сути, лишь одна ее сторона. Данте, говорит Мандельштам, «меньше всего поэт в «общеевропейском» и внешнекультурном значении этого слова». А читать «Поэму без героя», не держа в уме мандельштамовский «Разговор о Данте», по-видимому, и бесплодно, и ущербно для понимания Поэмы.

До сих пор самым условным, самым приблизительным образом, только увеличивающим чувство досадной неудовлетворенности, истолковывалась строфа, в которой Поэма говорит о себе, не игриво «отступая и закрываясь платочком», а настойчиво и как бы сдерясь на читательское непонимание:

Но она твердила упрямо:
«Я не та английская дама
И совсем не Клара Газуль,
Вовсе нет у меня родословной,
Кроме солнечной и баснословной,
И привел меня сам Июль».

То есть не английская романтическая поэма начала XIX столетия, в которой автору не без оснований виделось ее происхождение, и не драматические пьесы Проспера Мериме, которые он написал от имени актрисы странствующего театра Клары Газуль, а?.. Ответить на это «а?» Ахматова оставляет читателю.

Книжка «Théâtre de Clara Gazul», к некоторым экземплярам которой прилагался портрет Мериме в женском платье, был первой его мистификацией, за которой последовала другая, «Guzla» — «Гузла, или Сборник иллирийских стихотворений». Как известно, на нее попался Пушкин, переведя их на русский язык как «Песни западных славян». Guzla — полная анаграмма Gazul, так что одним из самых

* Хотя это бросается в глаза, впервые в связи с приведенной строфой Поэмы об этом упомянул в недавнем разговоре молодой поэт Григорий Дашевский.

простых, «механических» ответов на «не Клара Газуль, а?...» напрашивается» «... а Гузла».

Сопоставление «Поэмы без героя» с такой с первого взгляда далекой ей вещью, как оказывается, не нелепо и не произвольно. Формальное сходство лежит на поверхности — размер большинства «Песен западных славян» близок размеру Поэмы, многими строчками прямо совпадая с ним:

Она чует беду неминучу...

Но никто барабанов не слышит...

Стал на паперти, дверь отворяет...

На помосте валяются трупы...

Лучше пуля, чем голод и жажда...—

и так далее. Но проводить дальнейшие аналогии, сближать тексты по сюжетным и иным признакам означало бы пустить дело по одной из тех же *культурных* тропок, убеждая себя и других, что «Гузла» — *еще один* источник Поэмы. Между тем строфа, в которой Поэма ведет речь о самой себе, выделяется среди соседних большей интонационной определенностью: это речь менее *образная*, более *прямая*.

Влияние строфики «Второго удара» Михаила Кузмина на строфику Поэмы бесспорна, и, вероятно, об этом Ахматова «проговаривается» в «Решке»:

Оправдаться... но как, друзья?

Так и знай: обвинят в плагиате...

Однако некоторая шутовская и легкая насмешка, сквозящая в этом признании, убеждают в том, что Ахматова не придавала серьезного значения лежащему на виду «плагиату», который, принимая во внимание ее резко отрицательное отношение к Кузмину, казалось бы, должен был ставить ее в весьма двусмысленное положение. Не могло не вызывать у нее протеста и сопоставление ее поэзии с кузминской, признанно «салонной», так как ударяло по больному месту, набитою официальными обвинениями в салонности и камерности. Она, однако, предпочла лишь отшучиваться, ибо знала, каково другое, подлинное происхождение Поэмы, знала, что время поставит Кузмина среди ее «предтеч» примерно на то же место, что занимает, скажем, Чино де Пистойя среди предтеч «Божественной комедии», — и, легко предположить, в глубине души не очень заботилась о кузминском «следе».

«Солнечная и баснословная» генеалогия Поэмы была куда существеннее. Решка — не зеркальное отражение «орла», а обратная сторона: проставленной на ней ценой она лишь *соответствует* неопределенной ценности символического знака на обороте. Стало общим местом говорить о двойничестве персонажей Поэмы, о двух и более исторических лицах, претендующих на роль каждого из них. Двоятся и двойники: «изящнейший сатана», который «хвост запрягал под фалды фрака», — и «демон», у которого «античный локон над ухом» также словно бы «тайнственно» прячет что-то, — отчего в двойники ему напрашивается и «козлоногая», в чьих «бледных локонах злые рожки» выставлены напоказ. Таким же образом любовный треугольник «Девятьсот тринадцатого года»: Корнет — Красавица — Демон — *находит соответствие* в «треугольнике» «Решки»: Июль — Поэма — Бес творчества.

То, что «парадно обнаженная» «смиреница и красotka», «Путаница» с «черно-белым веером» Первой части и «столетняя чаровница», которая «кружевной роняет платочек» и «брюлловским манит плечом», — двойники, не вызывает сомнений. Красота олицетворенная и красота искусства — одной природы. Потому героиня Поэмы и сама Поэма, обе «пришли ниоткуда», обе не имеют «родословной» — как всякая красота и всякое искусство. Потому же Демон-Блок Первой части есть наглядное олицетворение вакхической «бесовской черной жажды» творчества, которую испытывает создатель «Поэмы без героя».

Книга собирателя народных сказок и исследователя народной поэзии А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на природу», игравшая столь заметную роль в символистской среде, проливает свет на «солнечные и баснословные» истоки Поэмы: «Русская сказочная царевна *Золотая коса*, *Непокрытая краса*, поднимающаяся из волн океана, есть златокудрый Гелиос. ... Слово *краса* первоначально означало свет («красное солнце») и уже впоследствии получило то эстетическое значение, какое мы теперь с ним соединяем... Потому-то сказочная царевна Солнце в преданиях всегда является ненаглядной и неописанной красавицей». Действие «Поэмы без героя» происходит главным образом в ночное время, ее дневной ландшафт

мрачен, автор «гонит» ее «на чердак, в темноту». Солнце появляется только дважды: так Корнет называет «красавицу» и Поэма — себя самое.

В родственной северо-германской мифологии божеству солнца был посвящен Иулов праздник, или Иул (допустимо произношение «Иуль») продолжавшийся со дня зимнего солнцеворота (23—25 декабря по новому стилю) до Крещенского Сочельника (5 января по старому, юлианскому календарю, равно как и по принятому на Западе нынешнему, григорианскому). Именно в этом промежутке 1940—1941 года и «пришла» *чаровница*, и «привел» Поэму «Июль». Заметим, что время рождения Поэмы, в которой «зеркало зеркалу снится», зеркально отражает день рождения Автора — 23 июня, праздник Купалы, также солнечного божества, символизироваемого тем же колесом, что и Иул.

Этим объясняются строки из зачина поэмы 1940 года «Путем вся земли» («Китежанка»), подготавливающей появление «Поэмы без героя»:

По январям и июлям
Я проберусь туда...

Никому не придет в голову отрицать «культурную» ткань «Поэмы без героя». «Английская дама» и «Клара Газуль» — среди ее родни, но «Гузла» могла быть выбрана ею в непосредственные предки как вещь, имеющая начало литературное, однако имитирующая и принятая за что-то другое, за фольклор, за *басни*, то есть «баснословная» в первом, буквальном значении этого слова, а затем преобразенная снова в литературный гений Пушкина и оказавшаяся «баснословной» уже в новом, переносном значении «необычайности».

В каком-то смысле жизнь поэта после определенного возраста — вторая. Около сорока он умирает со своими сверстниками — Пушкиным, Блоком, Мандельштамом, — но, продолжая жить, начинает «большую паникиду по самой себе», как сказала Ахматова о своей поэме «Китежанка». «Китежанка» появилась за полгода до первых стихов «Поэмы без героя», это был подступ к ней. «Новый» период жизни и творчества требует новой формы, а в «Китежанке» была новизна свежести, непохожести, но не новаторства.

Осенью 1940 года Ахматова приглаждалась к поэмам современников — Хлебникова, Пастернака, Маяковского, Цветаевой, Багрицкого. В сентябре она читала Данте с французским подстрочником и в разговоре с Чуковской заметила: «У Данте все было домашнее, почти семейное». Впоследствии, высеивая само предположение, что поэму можно написать «обыкновенными кубиками», сказала: «Греки писали емким гекзаметром, Данте терцинами, где были внутренние рифмы, где все переливалось, как кожа змеи. Пушкин, пускаясь в Онегинский путь, создал особую форму». С напрашивающейся поправкой: «древние» вместо «греки» эти слова указывают на ориентиры, по которым определяла «свое место под поэтическим солнцем», место среди *поэм*, «Поэма без героя».

Онегинская строфа как образец ядра, протема *бесконечной самодвижимой* поэмы, будучи творчески усвоена Ахматовой, легла в основу замысла, воплощенного в строфу ее Поэмы. Переливающаяся кожа змеи — это, с одной стороны, Герийон из XVII песни «Ада», образ, который в «Разговоре о Данте» Мандельштам выбирает как центральный для описания поэтического метода «Божественной комедии»; а с другой — с наименьшим основанием может служить характеристикой самой «Поэмы без героя», «такой пестрой (несмотря на отсутствие красочных эпитетов)». И, наконец, «емкий гекзаметр» указывает на начало европейской поэмы как жанра, на первую «поэму» — вергилиевскую «Энеиду».

Вергилий становится вожатым Данте, предварительно предъявив свой послужной список, дающий права на это место: «Рожден sub Julio... Я в Риме жил под Августовой сенью... Я был поэт и вверил песнопенью, как сын Анхиза отплыл на закат...». На что Данте отвечает: «Ты родник бездонный, откуда песни миру потекли». Авторитеты Данте и Вергилия, «Рожденного *при Юлии*», стоят за признанием Ахматовой, что ее Поэму, находящуюся в ряду тех же «песен миру», что «Энеида» и «Божественная комедия», «привел... сам *Июль*». Для Данте упоминание об отплытии «сына Анхиза» и Венеры, Энея, означает помимо того, что перед ним Вергилий, еще и уровень предлагаемой ему задачи — «вверить песнопенью» нечто равное расскажу о создании Рима; для Ахматовой — «вверить песнопенью» то, что после отплытия случилось с Дидоной и со всем оставленным за кормой. «Гость из Будущего» Поэмы, как известно, — «Эней» двух ее стихотворных циклов и серии отдельных стихотворений, а «Дидона и Эней» — среди главных сюжетов ее поэзии.

Не будет натяжкой допустить, что «Божественная комедия» для «Поэмы без героя» — то же, что «Энеида» для «Божественной комедии». «Я сразу услышала и увидела ее всю», «я вижу ее совершенно единой и цельной», — писала Ахматова о Поэме, а в воспоминаниях о Лозинском приводит его слова о принципе переводческого подхода к «Божественной комедии»: «Надо сразу, смотря на страницу, понять, как сложится перевод. ...Переводить по строчкам — просто невозможно». То же ут-

верждает в «Разговоре о Данте» Мандельштам: «Вникая по мере сил в структуру «Divina Commedia», я прихожу к выводу, что вся поэма представляет собой одну, единственную, единую и недробимую строфу».

О процессе сочинения Поэмы, как признается автор, «под диктовку» или, как говорит применительно к «Комедии» Мандельштам, «под диктовку самых грозных и нетерпеливых дикторов», Ахматова сообщает: «Редчайшие рифмы просто висели на кончике карандаша». А в связи с тем же Лозинским, хотя и по поводу другого его перевода, но сделанного непосредственно перед началом работы над Данте и услышанного ею, когда работа была уже в разгаре, она замечает: «Ни одной банальной рифмы!». Примечания Лозинского к «Аду», перевод которого был темой его бесед с Ахматовой в 1940 году, открываются заметкой о том, что, приурочив свое путешествие к году, уже минувшему ко времени создания «Комедии», Данте получил возможность «прибегать к приему «предсказания» событий, совершившихся позже этой даты». «Ощущение Канунов, Сочельников — ось, на которой вращается вся вещь... — записывает Ахматова о Поэме. (Ветер завтрашнего дня)».

Замечание Мандельштама о том, что в «Комедии» «группа сравнений, отличающаяся необычайной щедростью и ступенчатым ниспадением из трехстишия к трехстишию, всегда приводит к комплексу культуры, родины и оседлой гражданственности», с тем же основанием может быть отнесена к Поэме. Но трехстишия терцин, итальянских *terza rima*, звучат в просодии русского стиха достаточно чужеродно, особенно если стихотворение достаточно продолжительно. Ахматовские «терцины» решают задачу *бесконечности, недробимости* текста не на дантовский манер, когда средний стих предыдущего трехстишия программирует первый и третий стихи следующего, а за счет «ступенчатого ниспадения», «перетекания» темы, образа, фразы за границы каждого очередного трехстишия. И — вернемся к ахматовской характеристике техники Данте — за счет внутренних рифм, которыми так насыщена «Поэма без героя».

Здесь уместно вспомнить строчку из приведенной в начале этого очерка ахматовской заметки «О поэме»: «— Музыка (Почти все)». Профессионально музыкально-ведческий подход (такой, как в тонком и убедительном исследовании Бориса Каца в книге «Б. Кац, Р. Тименчик. Анна Ахматова и музыка. Л., «Советский композитор», 1989, стр. 249 и далее) хорошо объясняет «чересполосицу» набегающих одна на другую тем, смущающую читателей, недовольство которых выразил за всех в начале «Решки» редактор: «Там три темы сразу! Дочитав последнюю фразу, не поймешь, кто в кого влюблен», и т. д.

Ахматова дала Первой части подзаголовок «Петербургская повесть» — в след за Пушкиным, назвавшим так «Медный всадник». Действие в «Поэме без героя» достаточно статично, особенно в сравнении с пушкинской поэмой. Точнее будет сказать, что движение в «Девятысот тринадцатом годе» ощущается как сдерживаемое, которое всегда наготове. Но когда в главе третьей («Были святки кострами согреты») оно получает волю, в нем отчетливо проявляется ритм конского скака, так называемый «в-три-ноги»: безударная начальная гласная, нагоняемая ближайшей ударной (вЕтер рвАл), сливаются в переднюю половину скачка, и их преследуют два удара «задних копыт» (со стeнЫ афИши).

Появляющийся среди гостей первой главы Поэт («Ты как будто не значишься в списках»), на роль которого с одинаковым правом могут претендовать Маяковский, Хлебников, Гумилев, Сологуб, — это прежде поэт «движения», путешественник. И кто более Данте «износил сандалий» «за время поэтической работы, путешествуя», согласно восторженной реплике Мандельштама, «по козьим тропам Италии» — по «цветущему» лугу Земного Рая, по огненным и болотистым «пустыням» Ада! И не он ли поэтому в Поэме «полосатой наряжен верстой», похожей на «переливающуюся кожу змеи»?

Неостановимый в течение десятилетий рост Поэмы, удлинивший ее текст вдвое по сравнению с первым «окончательным» вариантом 1942 года, основан на «принципе аэростата», вместимости которого, как известно, больше объема, минимально необходимого для полета. Иначе говоря, Поэма «летит» при объеме в триста семьдесят строчек так же, как в семьсот сорок. Дополнительно поступающий воздух разглаживает морщины на оболочке, делая возможным прочесть прятавшиеся в них строки. Первоначальный вариант трехстишия из главы второй был:

Все уже на местах, кто надо,
Пятым актом из Летнего сада
Пахнет... Пьяный поет моряк.

Дыхание Поэмы расправляет складку многоточия, выводя на поверхность стих, в котором зарождается из предреволюционной атмосферы 1905 года фигура моряка, матроса, становящаяся центральной ко времени Революции 1917-го:

Все уже на местах, кто надо,
Пятым актом из Летнего сада
Пахнет... Призрак цусимского ада
Тут же.— Пьяный поет моряк.

«Божественная комедия» среди прочих титулов получила титул «энциклопедии средневекового мирозерцания». Тот же метод оценки применил Белинский к «Евгению Онегину», назвав его «энциклопедией русской жизни». Есть соблазн включить в традицию такого подхода к поэзии и «Поэму без героя». Поэма — летопись событий XX столетия. Реализация эстетических принципов «серебряного века». Организм мировой культуры. Поэма еще и свод всех тем, сюжетов и приемов собственно ахматовской поэзии: в ней, как в каталоге, заложены, соответствующим образом перекодированные, отдельные книги ее стихов, «Реквием», все крупные циклы, некоторые из вещей, держащиеся обособленно, пушкиниана. Поэма к тому же и уникальное поле для гессевской «игры в бисер».

Остережемся, однако, от энциклопедизации ее. «Так ли уж бесспорно поэтическая речь целиком укладывается в содержание культуры? — напал на Мандельштам на «культурологов» Данте. — Втискивать поэтическую речь в «культуру» ... несправедливо потому, что при этом игнорируется ее сырьевая природа». Не для «игры в бисер» она создавалась, хотя автор предвидел и такую ее судьбу в долговременной перспективе. В продолжении тридцати лет после смерти Ахматовой Поэма *разби-ралась*, теперь, кажется, настает время попытаться собрать ее — вместе с результатами анализа. «Говорят, вы написали поэму без чего-то? — обратилась однажды к Ахматовой эстрадная декламаторша. — Я хочу это читать». Поэма, начинаясь с мнуса-чего-то, «кого-то, встречей «с тобой, ко мне *не пришедшим*» — и кончаясь уходом «от того, *что сделалось прахом*», на всем своем протяжении имеет дело с тем, чего в данную минуту нет, чего не хватает. «Без чего-то» — ее содержание, которое, стало быть, никогда не может быть исчерпано. Но форма, пространство, вся сущность целиком и каждый оставленный след даны этому «чему-то» всей полностью того, что в Поэме есть. И мы хотим *это* читать.

В день, имеющий точную дату, «посередине жизни», как Данте, Ахматова сошла «под темные своды» к умершим — как он «к погибшим поколениям». Ахматову, когда она приступала к Поэме, как мы помним, привлекало то свойство Данте, что у него «все было домашнее, почти семейное». После него «все уже стало общим, отвлеченным, потеряло домашность». Мандельштам разбил все множество вопросов, обращенных к Данте во время его «путешествия с разговорами», на две основные группы: «ты как сюда попал?» и «что новенького из Флоренции?». Автор «Поэмы без героя» все время отвечает на подобные, хотя и не заданные впрямую, вопросы: «как это получилось?» и «к чему привело?». И ответы эти также «домашние, почти семейные».

Заглавие «Решка» для Второй части предполагает между прочим, что Первая часть, как подобает поэме, которую «привел сам Юлий Цезарь», то есть поэме «имперской», — это «Орел». «Над дворцом черно-желтый стяг» — преемник дантевского «священного стяга» (VI песнь «Рая»), украшенного римским орлом, символом государственности и власти. Но в то же время посвящение, предварявшее первые варианты «Эпилога»: «Городу и другу», — открыто полемизирует с торжественным «*urbi et orbis*» («городу и вселенной»). Величественная формула римских понтификсов приобретает «домашний», «уютный» смысл: это город и друг, одинаково «милые», или просто «милый» город-друг.

Как и в «Комедии», в Поэме сиюминутное врывается в «вечное», реальность в фантазмагорию:

А для них расступились стены,
Вспыхнул свет, завывли сирены
И, как купол, вспух потолок.

Что это, описание начала маскарадной «петербургской чертовни» или воздушной тревоги и бомбардировки Ленинграда, подобной бомбардировке Лондона, описанной почти в то же время Элиотом в «Четырех квартетах»?

Ахматова, в шутку говорившая, что напишет книгу о сплетне с эпиграфом «Ничто так не похоже на правду, как неправда», но имевшая при этом в виду сплетню не только как клевету, а и как — по определению Анненского — «реальный субстрат фантастического», в «Поэме без героя» передала «петербургскую историю» с поправкой на «петербургскую молву» о ней. Или, если угодно, с поправкой на ход времени, который неизбежно превратит всякую историю, в том числе и Историю с большой буквы, в легенду. Мы вправе целиком отнести к Поэме мандельштамовское наблюдение о том, что разъяснительный комментарий к «Комедии» входит в саму ее структуру и «выводится из уличного говора, из молвы, из многоустой флорентийской клеветы».

Впрочем, Ахматова об этом прямо и сказала — только не упомянув Поэмы: «Во Флоренции во дворце Уффици в нишах стоят статуи Данте, Петрарки, Бокаччо, Микель-Анджело, Леонардо. Я думала, это головы великий людей. Итальянец сказал: «Нет, это просто уроженцы Флоренции». То же 10-е годы!»

С. С. ДЗАРАСОВ

Что же с нами происходит?

ЭКОНОМИКО-ФИЛОСОФСКИЕ РАЗДУМЬЯ

Кто волки, а кто зайцы?

Что же с нами происходит, почему опять — уже который раз — наши лучшие надежды по преобразованию общества терпят фиаско? Не только многолетний опыт «строительства социализма и коммунизма», но и горбачевская перестройка, а теперь вот и ельцинские реформы завершились глубоким разочарованием народа. Только недобросовестные дельцы, хорошо нагретые руки на несчастьях народа, или безразличные к его судьбе фанатики реформ, влюбленные в свою «историческую» роль, могут отрицать или не замечать, что мы вновь оказались у разбитого корыта.

Непростой разговор на эту сложную тему хотел бы начать с одного простого, но любопытного материала, опубликованного в «Общей газете». Две наиболее ярко светящиеся телезвезды — Евгений Киселев и Николай Сванидзе — ведут на ее страницах похвально откровенную беседу о своем понимании свободы слова и собственной роли как комментаторов популярных телеканалов. Ничего сенсационного произнесено не было. Высказываний подобного рода в нашей прессе полно, и в качестве примера можно было бы сослаться на кого-то другого, украшенного большими регалиями или властными полномочиями.

Но взгляды и позиции популярных тележурналистов, мне кажется, более символичны для наших сегодняшних реалий и способны лучше всего служить отправной точкой для рассуждений на избранную тему. В иные времена интеллигенция до дыр зачитывала произведения Вольтера и Руссо, Канта и Гегеля, Белинского и Добролюбова, Герцена и Чернышевского, Маркса и Бакунина, Плеханова и Ленина, Струве и Тугана-Барановского, других их последователей и оппонентов. В общении с монбланами духа и мысли, путем обобщения опыта всемирной истории она искала ответы на волновавшие ее проблемы, до хрипоты спорила о том, кто прав и не прав, какие практические выводы вытекают, например, из гегелевской триады, этического учения Канта, анализа капитала Маркса и т. д.

В XIX и начале XX века, включая первые годы революции, русская интеллигенция пыталась понять происходящее на основе передовых достижений общественной мысли своего времени. Мыслящие люди, озабоченные не только собственным благополучием, но прежде всего идеалом служения отечеству, с жадностью набрасывались на отдельные издания и толстые литературные журналы, откуда только и можно было черпать духовную пищу для осмысленной жизни и плодотворной деятельности. А. Герцен в «Былом и думах» описывает, с каким интересом революционная молодежь 40-х годов прошлого века изучала произведения немецких философов, в особенности Гегеля. «Толковали же они об них, — вспоминал он, — беспрестанно, нет параграфа во всех трех частях «Логики», в двух «Эстетики», «Энциклопедии» и пр., который бы не был взят отчаянными спорами нескольких ночей... Все ничтожнейшие брошюры, выходившие в Берлине и других губернских и уездных городах по немецкой философии, где только упоминалось о Гегеле, выписывались, зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней» (А. И. Герцен. Соч., М., 1956, т. 5, с.15).

То же самое относилось и к тем литературным журналам, на страницах которых выступали духовные пастыри эпохи. «Статьи Белинского, — пишет А. Герцен

там же, — судорожно ожидалась молодежью в Москве и Петербурге с 25 числа каждого месяца. Пять раз хаживали студенты в кофейные спрашивать, получены ли «Отечественные записки», тяжелый номер рвали из рук в руки. «Есть Белинского статья?» — «Есть», — и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами» (там же, с. 26).

Знаю, что на это скажут: «То было время информационного голода, а теперь мы всем перенасыщены».

Не так просто. Еще совсем недавно с таким же нетерпением мы в наши шестидесятые ожидали «Новый мир» со стихами Твардовского, рассказами Солженицына, статьями Лакшина и других авторов. Я уже не говорю об интересе к произведениям самиздата и тамиздата.

«То было время тоталитаризма и жесткой цензуры, — скажут мне, — когда дышать было нечем, народ сидел на скудном сусловском пайке, и мы находились в постоянном поиске глотка свежего воздуха и куска непресной пищи. Теперь свобода — читай, смотри, слушай что душе угодно».

Верно, определенная свобода слова у нас есть. Но вопрос в том, как мы ею распорядились. Кто оказался в состоянии пользоваться ею, а кто нет, и каковы ее плоды. Судить-то надо по плодам. На вопрос Е. Киселева, должно ли быть телевидение политически нейтральным, Н. Сванидзе отвечает решительным «нет». Нельзя же, говорит он, безучастно повествовать о том, как волк встречает в лесу зайца и безжалостно его съедает.

Конечно, если общество так устроено, что состоит из волков и зайцев, и антагонизм между людьми так же неискореним, как между другими животными — одни обязательно должны поедать других, — то честь тому, кто становится на сторону жертв, а не палачей. В таком деле бесстрастным быть действительно нельзя. Надо сделать все возможное, чтобы зайцеподобных существ не постигла судьба динозавров и общество не превратилось в одно сплошное самопожирающее волчье царство. Но такое миропонимание, возникшее более ста лет назад и получившее название **социального дарвинизма**, не получило, однако, сколько-нибудь широкого признания. Общественная мысль с разных сторон атаковала эту теорию и показала полную несостоятельность механического перенесения законов природы на более сложный мир общественных отношений, где наделенный волей и сознанием человек действует не только по законам стихийного, но и сознательного регулирования своих взаимоотношений с другими людьми.

«А не придираетесь ли? — могут спросить меня. — Тележурналисты навряд ли имели в виду столь высокие материи. Они скорее преследовали более приземленную цель: просто и образно сказать, что нельзя быть к «доброе и зло постыдно равнодушным»».

Если бы так, то с этим нельзя было бы не согласиться. Но надо глубже вникать в то, что, кого и как нам показывают и говорят, чтобы понять, насколько все сложнее. Подбор материала, угол освещения, формулировка вопросов, акцентированность и тональность выступлений со всей ясностью выдают их политическую ангажированность. Под зайцами они всегда имеют в виду «своих», а под волками «чужих». Так что с таким принижением теле- и других комментаторов до уровня невинных овец никак согласиться не могу.

Предпринятый выше исторический экскурс не был случайным. Вместе со своими идейными братьями и сестрами теперь *они* наши духовные пастыри, наши руссо и гегели, белинские и чернышевские. То, что они пишут, говорят и показывают, острой реакцией отзывается в умах и сердцах миллионов людей, а толстые тома философских, культурологических, политических, экономических концепций, которые наработаны человечеством за три с лишним тысячелетия, в лучшем случае пылятся, а в худшем — разворовываются в наших разоряющихся книгохранилищах. К оценке лиц, представляющих средства массовой информации, надо подходить не с точки зрения их формальных претензий, а той реальной роли, которую они играют в жизни общества. Независимо от того, как они интеллектуально подготовлены, претендуют быть философами или нет, но фактически в каком-то смысле они ими являются. На уровне массового сознания никто лучше них не выражает повседневные реалии нашей жизни. Так что попрошу к ним относиться со всей серьезностью.

Рассуждения двух телекомментаторов вокруг волка и зайца тем и интересны, что являются типичными для той части интеллигенции, которая неотступно придерживается радикального подхода к преобразованиям нашей жизни, последовательно отстаиваемого «Выбором России» и в духе которого они и ведут свои передачи. Находясь в гуще повседневных событий, принимая и перерабатывая массу текущей информации, они не могут не видеть, что реформы успеха не имеют. Пытаясь найти этому какое-то объяснение, они пришли к выводу, что причина в «волках», которые помешали бедным «зайцам» осуществить задуманные ими хорошие реформы. На самом деле успеху реформ никто не мешает. Но нет таких ста мудрецов и тысяч богатырей, которые бы ложно воспринятую идею превратили в процветающую практику. Частная собственность и дикий рынок, ставшие предметом нового религиозного поклонения, отнюдь не обладают такой чудодейственной силой, которая бы «невидимой рукой» навела идеальный порядок в экономике, дабы все блага зем-

ные полились полной рекой. Очередная утопия. Происходящее вокруг, мне кажется, полностью подтверждает ее химерический характер. Пути решения нашей проблемы гораздо сложнее и отнюдь не вытекают с очевидной простотой из одной худосочной формулы монетаристского, марксистского, кейнсианского или какого-то еще иного толка, хотя в каждой из них можно найти какие-то здоровые зерна. Но зерна эти пали уже далеко не на благодатную почву и теперь покрыты не столько пылью времени, сколько густым слоем наносов, охотно тиражируемых СМИ.

Не так-то просто в этом хаосе разномыслия разобраться, кто «волк», а кто «заяц», на чью сторону становиться и против кого быть. Каждому это по-разному представляется со своей «кочки». Претензия на благородное пристрастие на деле оборачивается хорошо знакомой нам по прошлому большевистской партийностью. Как и раньше, она означает такую обработку людских голов, которая «облегчит» им восприятие событий в удобной им версии. В советское время именно такая пища набилась нам оскомину. Тенденциозный подбор фактов и односторонность информации только раздражали нас и давали эффект, обратный тому, чего добивались идеологические наставники. Тогдашний агитпроп тоже, как известно, имел собственную концепцию «зайца и волка» и никакого «объективизма» в освещении событий и толковании их смысла не допускал. Все должно было и делалось с позиций глубокой партийности. К этому призывал Ленин еще в начале века в известной работе «Партийная организация и партийная литература». По его мнению, объективности как таковой не существует, она открывается и выражается прогрессивной в данных условиях политической партией, во главе которой стоит он сам. Все остальные — сикофанты и ренегаты, способные выдавать лишь ложь в целях обмана народа и защиты интересов буржуазии.

Новые власти и ангажированные ими СМИ не вправе претендовать на роль такой политической силы, с позиции которой якобы только и видно, где истина, а где заблуждение, в чем правда, а в чем ложь. Нам же, рядовым гражданам, они отводят роль не субъекта, а лишь объекта воздействия.

Роль средств массовой информации в жизни общества вообще, в осуществлении свободы слова вовсе не в том, чтобы наставлять нас, вбивая нам в голову свои — чаще всего малокомпетентные — представления, а в том, чтобы правдивостью информации помочь понять зрителю наши насущные проблемы. Не лгнуть к власти в качестве ее четвертой или иной по порядку силы, а быть голосом и совестью народа.

Идет ли нам на пользу этот поучительный урок? Как видно, нет. Телеканалы и пресса, представляющие доктрину стоящих у власти политических сил, пользующихся малой поддержкой народа, считают себя вправе навязывать народу негодные ему реформы. Как бы ни оценивать результаты думских выборов 1995-го и президентских 1996 года, почти половина избирателей выступает против проводимых преобразований. Следовательно, не гражданское согласие, а гражданский раскол и противостояние являются их объективным результатом.

Традиционно присущие нам рефлексы, как видно, остаются и держат нас за фалды. Очень легко объявить себя демократом, но очень нелегко им быть.

Кто они, наши духовные пастыри?

Проблема духовного и нравственного обнищания индустриального общества, достижения прогресса слишком дорогой ценой, потерей моральных устоев занимает многих мыслителей прошлого и настоящего, и здесь не место подробно говорить об этом. Но об одном хотелось бы сказать, а именно о противоречивой роли современных средств массовой информации как масштабного способа повседневного воздействия на эмоции и разум людей. Несомненно, что с одной стороны в этом их положительное значение — происходящее в мире стало оперативно доступно всем. Но, с другой стороны, они явились немаловажным способом осередничивания людей на уровне примитивных и общедоступных сведений о сложных процессах жизни и тем самым духовной деградации общества.

Кругозор не только большинства людей, но интеллектуальной элиты, сознание которой в прошлом возвышалось над повседневными нуждами, теперь ограничивается корыстными интересами и банальными новостями. Они заменили ей духовные поиски и лишили вкуса к самостоятельному мышлению. Об этом свидетельствует, в частности, то, с какой легкостью наше общество приняло монетаристский дилетантизм тех, кто проводил реформы, поистине судьбоносные для нашего народа. Оговорюсь сразу, что монетаризм является одним из главных течений современной экономической теории и в качестве такового заслуживает серьезного внимания, впрочем, лишь наряду с другими, порою противоречащими ему подходами. В том, что серьезная концепция трансформировалась в легковесную политическую агитку, велика «заслуга» наших СМИ. Зомбируя общественное мнение в заданном направлении, они скорее мешали, чем помогали нам найти верную дорогу к истинной цели.

Телевидение и другие возможности массового идеологического воздействия на людей выдвинули на авансцену нашей жизни духовных пастырей особого рода. Мало кого из них привлекают утомительные попытки постичь смысл истории с помощью научных ребусов и экскурсов в философию и экономику. Зрителям и читателям и вовсе не надо трудиться на «интеллектуальной кухне» — эрзац-пищу стали готовить фабрично, одновременно на всех и преподносить в готовом виде.

Конечно, было бы несправедливо нынешнюю тенденциозность отождествлять с прежней. Слава Богу, былого однообразия и духоты больше нет. Но от желанной свободы, равного доступа к информации, непредвзятой объективности в освещении и анализе событий мы еще далеки. В прошлом духовные наставники нам внушали одно, а теперь нечто другое. В самом пересмотре взглядов не вижу ничего плохого, наоборот, честь и хвала тому, кто имеет мужество побеждать самого себя. Но делается другое, вместо одной догмы в прежней манере под видом защиты невинных овечек от опасных зверей навязывается другая догма.

А где же свобода слова, кто ею может пользоваться?

А как же быть, когда производство катастрофически упало и продолжает падать, размеры потребляемого пирога снизились до критического предела, зарплату не выдают месяцами и люди недовольны не только в милиции, но и везде. Где же вы видели такую рыночную экономику, чтобы правительство выступало в роли пожарной команды по мобилизации ресурсов на зарплату? Где автоматизм действия рынка, на который были все надежды? Те, кто закрывает глаза на реальные факты и цифры, аргументы и логические соображения, может быть, и грамотны, но добросовестными их признать трудно. Они не думают и не объясняют ни нам, ни себе, почему все-таки рыночный механизм не работает. Боюсь, что новые наставники не ходят под властью новых догм и их распаленные религиозные эмоции мешают им рационально мыслить и понять происходящее. Что для коммунистов национализация, то для демократов приватизация. Один и тот же идеологический, если не сказать теологический, подход.

Между тем как с точки зрения экономической науки, так и здравого смысла ни национализация, ни приватизация не могут быть самоцелью. Есть нечто более важное, чему они могут и должны быть подчинены: **Эффективность экономики и благосостояние народа**. Этой главной цели в каких-то случаях и обстоятельствах больше и лучше служит одно, в каких-то — другое, а в каких-то — их разумное сочетание. Рыночная экономика западных стран отнюдь не является монолитно частной, как часто ее изображают, а как раз сочетанием разных форм собственности и предпринимательства.

Прошу прощения за банальность, но приходится к ней прибегать. Жизнь слишком сложна, чтобы ее противоречивые явления можно было загнать в прокрустово ложе слепо принятых схем и догм. И когда СМИ берутся кого-то наставлять во имя их непререкаемости, как в данном случае, то они только мешают обществу понять себя и разрешать свои проблемы. Кто идет вперед, а кто тащит нас назад, невозможно установить по принципу верности или неверности принятой догме. Например, настаивая на своей судейской роли в определении волков и зайцев, в праве одних прибрать к рукам богатства, созданные трудом других, отстаивая несменяемость существующей власти, уважаемые телекомментаторы не помогают, а скорее мешают нашему продвижению вперед. Отражаемое ими миропонимание, согласно которому вмиг совершившееся разделение общества на меньшинство бешено разбогатевших и громадное большинство обнищавших является естественным и якобы необходимым для прогресса общества, глубоко чуждо либеральной традиции, является историческим и теоретическим анахронизмом.

Правда, такой анахронизм соответствует интересам той части общества, в руках которой теперь оказались основные богатства страны. А ведь, борясь за власть, весь так называемый демократический лагерь, к которому принадлежал и автор этих строк, пел другую песню, в которой было полно критики (во многом обоснованной) марксистско-ленинской теории **классовой противоположности и борьбы**, исключавшей возможность мирного решения проблем и достижения социального партнерства. Но то было тогда. Теперь, как видно, иначе. Идея согласия и партнерства разных социально-политических сил, о которой мы так много говорили, получается, теперь уже не нужна.

Создалась пикантная ситуация. Вместе с отказом от коммунизма, казалось, мы выбросили и теорию классовой борьбы и встали на путь поиска гражданского мира и согласия. Но теперь выходит, что для многих это была уловка, ширма в борьбе за власть. Апологетику насилия, которую вытолкнули в дверь как теорию классового и социального антагонизма, теперь протаскивают в окно в обличье неприкрытого социал-дарвинизма. Что призывы к насилию раздаются со стороны неисправимых сталинистов и воинствующих националистов неприятно, но понятно. Они всегда к этому прибегали. Но более чем странно, что жажда насилия овладела умами и сердцами довольно значительной части интеллигенции, размахивающей знаменем демократии. Например, многие были шокированы призывами к насилию, которые в дни октябрьского противоятия властей в 1993 году раздавались с общественных трибун, телеэкрана, газетных страниц.

А что же вы хотите, уступить власть тем, кто устроил бы кровавую баню, развязал бы гражданскую войну, ликвидировал бы все наши демократические завоевания? — обычно следовало.

Нет, не хочу. Я отноюсь не поддерживал Верховный Совет. Наоборот, осуждал многие его призывы и действия как незаконные и аморальные. Но это никак не делает меня сторонником того дикого насилия, которое было применено. Что касается высказанных опасений, то ведь это навеянные страхом плоды фантазии. Что было бы, если бы расстрела не было, точно знать невозможно. Зато известно другое. Путем расстрела законодательного органа государства, какие бы плохие с чьей-то точки зрения люди в нем ни заседали, сохранить, а тем более укрепить демократию невозможно. И не говорите, что это делалось во имя... демократии. Нет, во имя другого — сохранения власти и нажитых с ее помощью богатств. Тут проказница история зло посмеялась над нашими либералами. Большевики выгладят куда более гуманными: не решившись расстрелять неугодное им Учредительное собрание, они ограничились его разгоном.

Западный либерализм отличался гуманизмом, воспевал человека, его права и свободы независимо от его социального и материального положения. Российские либералы, наоборот, любят оперировать понятиями элиты и люмпенов. Первые — это те, кто обладает властью и богатством и перед кем лебезят и пресмыкаются, а вторые — те, кто всего этого лишен и за это достоин презрения. Западный либерализм добивался размытия крайностей и повышения роли средних слоев в жизни общества. На этой основе постепенно смягчались классовые конфликты и со временем были достигнуты социальный мир и партнерство между трудом и капиталом. Российский либерализм, наоборот, усиление социального и имущественного неравенства считает за благо и тем закладывает источники социального и классового противостояния, льет воду на мельницу политического экстремизма и коммунистической ортодоксии.

В такой ситуации источники насилия не устраняются, а сохраняются. И тут возникает вопрос принципиального характера. Если мы отвергаем насилие как способ решения внутриполитических проблем, то понятно, что мы отвергаем и оправдывающую его теорию классовой борьбы. Но тогда и политика должна быть соответствующей, — не усиливающей, а ослабляющей разрыв между богатыми и бедными. Если же проводится политика углубления пропасти между бедными и богатыми, то тем самым сохраняются источники насилия и более понятными становятся призывы к его применению. Но тогда возникает два вопроса. Первый: почему на словах выступаем против теории, которой придерживаемся на практике? Второй: чем концепция социального дарвинизма лучше концепции классовой борьбы?

Из марксистов явно лишь сталинисты пытались увековечить классовую борьбу утверждением, что она обостряется по мере продвижения к социализму. Остальные же склонялись рассматривать ее как исторически преходящее, т. е. временное, явление, обусловленное классовой эксплуатацией. По мере исчезновения классов и ликвидации эксплуатации человеком человеком, утверждал марксизм, преодолевается социальная и классовая противоположность и устанавливается бесклассовое общество, впоследствии получившее название «морально-политического единства народа». Социальный дарвинизм смотрит на мир иначе. Он выводит антагонистические отношения между людьми из природы человека и тем, по существу, увековечивает их, отрицает какие бы то ни было способы избавления общества от вечной вражды между людьми в борьбе за существование.

Разумеется, идеализировать прошлое не следует. Дури и жестокости и в прошлом было немало. Деньги и власть и раньше развевали общественные нравы и мораль. И все-таки одна из трех дочерей короля Лира устояла перед соблазнами мелких страстей и сохранила верность долгу.

Реальные исторические условия лепят людей. Обстановка высокого духовного поиска смысла истории, глубокая озабоченность судьбой своего народа и страны формировала в прошлом один тип общественного и политического деятеля. Обстановка поиска собственного благополучия и карьеры, пренебрежения общественными идеалами и моральными ценностями формирует другой тип общественно-политического деятеля сегодня.

Кого бы ни взять из нашего прошлого — монархистов, кадетов, эсеров, меньшевиков, большевиков, — они были зачастую представлены незаурядными лидерами, жизнь и деятельность которых ярко подчеркивала исторический смысл их общественного служения. Как бы к ним ни относились, как бы по-разному ни оценивали последствия их действий, но чести широкого внимания в прошлом удостоивались люди, в той или иной мере овладевшие основными достижениями человеческой культуры и по ним сверявшие свою деятельность. Нечего и говорить, как бесконечно далеки мы оказались от этих высоких стандартов сегодня. Компетентность и верность идеалам полностью заменены мелкой суетой в борьбе за депутатские и министерские кресла, махинациями за овладение куском народного добра. Общественный идеал перестал быть главным мотивом политической деятельности, он заменен параноической жадностью власти, необузданными амбициями и мелким тщеславием.

Вместо того чтобы пороки называть их собственными именами, им придуманы новые названия, прикрывающие их подлинное содержание. Так, порок параноической амбициозности в наших условиях перелицован в добродетель, и, по Оруэллу, ему дано благозвучное название «харизмы». Макс Вебер, введший это понятие в оборот, перевернется в гробу, если узнает, какой извращенный смысл ему дан нашей прессой. Под харизмой (по-гречески означающей божественный дар) он понимал дарованную природой экстраординарную способность личности понимать и свершать нечто недоступное заурядной массе людей. Надо думать, Вебер и сам бы не стал к таким относить людей типа Герострата, но в последующем Эрих Фромм это явление подверг более детальному психоанализу и на историческом материале показал, что личность может выделяться из общей массы не только в силу своего творческого дарования, но и своего порока, присущей ей деструктивности.

Множество людей, утверждает Фромм, страдают комплексом внутренней неполноценности — садизмом и мазохизмом, — и им страдания других людей, равно как и картины различных разрушений, доставляют истинное наслаждение. «Начиная от жестоких зрелищ в Риме и до практики современных полицейских команд, — пишет он, — пытки всегда применялись под прикрытием осуществления религиозных и политических целей, иногда же — совершенно открыто ради увеселения толпы. Римский Колизей — это на самом деле один из величайших памятников человеческого садизма» (Эрих Фромм. *Анатомия человеческой деструктивности*. М., 1994, с. 247).

Садистов и мазохистов чаще всего влечет в общественно-политическую сферу, где их внешняя активность и агрессивность становятся способом компенсации того, чего им внутренне недостает. На множестве примеров Фромм показывает нарциссизм, болезненную самовлюбленность такого типа людей, для которых окружающий мир — лишь средство удовлетворения своих низменных страстей вплоть до сексуальных извращений, к чему они, как правило, очень склонны опять же в силу своих психических особенностей. Он приводит признания Керна, убившего германского министра иностранных дел Ратенау, относительно мотивов своего преступления. «Я хочу власти, — говорит он, — хочу испытать всю сладость жизни, все радости этого мира... Разве существует большее счастье, чем в нас самих, когда у нас есть власть и сила и право сильного, которое пьянит нас и наполняет нашу жизнь» (там же, с. 242). Фромм подверг детальному психоанализу и таких властолюбцев, как Гитлер, Сталин и другие, выделившихся из общей массы деструктивных личностей, и вскрыл, что политические идеи и лозунги служили для них прикрытием их психических отклонений, садистско-мазохистских страстей, свойственной им самовлюбленности и ксенофобии, полного презрения к людям.

Погруженный в повседневные личные и житейские нужды, обычный человек и представить себе не может, насколько отличен мир его представлений и ценностей от того, в котором живут власть имущие. Прежде всего сам механизм отбора людей во власть действует так, что приближает к ее кормилу тех, кто ее безмерно жаждет.

Власть, как известно, действует как сильнейший наркотик, постоянно необходимый и потребляемый для ощущения радости своего господства над людьми. Люди для правителя совсем не то, что они друг для друга. Ему они нужны не для общения, как нам с вами, а как средства воздействия на них и использования в собственных интересах. Их боли и страдания его мало занимают, его занимает другое: как и чем они могут ему служить. Мы уже не говорим о том нередком случае, когда на троне оказывается личность типа Калигулы, Нерона, Борджиа, Гитлера, Сталина и множество других, которым, как свидетельствуют факты их личной жизни, боль и страдания подданных доставляли садистское наслаждение.

Только не нужно думать, что это относится лишь к тем, кто достиг вершин деспотической власти. Достичь такой неограниченной власти удастся немногим, но садистскими чертами характера обладают многие. Сколько раз мы замечали, как ничтожный начальник измывается над подчиненными из одного желания показать им свою власть. Получившие широкое распространение в российской предпринимательской практике заказные убийства также являются типичным проявлением садизма со стороны как заказчиков, так и исполнителей. Дело нельзя сводить к одной выгоде от устранения неудобного лица. Далеко не всякий ради выгоды решится на такую жестокость. На нее решаются те, кто, помимо выгоды, испытывает удовольствие от ощущения своего силового превосходства.

Спрос на таких нестандартных в смысле деструктивности людей особенно возрастает в периоды глубоких общественных кризисов, когда рушатся старый порядок и связанные с ним социальные опоры и нравственные критерии. Позиция и поведение значительной части населения в таких условиях отклоняются от нормы, становятся иррациональными, деструктивными, и они обращают свои взоры на разного рода шарлатанов, астрологов, хиромантов и ясновидящих, возвращающих людям эрзац-надежду. Властолюбцы, гложимые жаждой господства над людьми, относятся к той же категории. Их ничем не подкрепленные, но щедрые обещания как нельзя лучше импонируют опустошенным душам растерянной части общества. Боюсь, как бы превозносимые нашей прессой «харизматики» не были замешены на этом тесте.

Послушайте, что говорят и пишут СМИ об игроках нашей политической сцены. Мало интересуются их культурой, компетентностью, верностью определенному идеалу, моральным обликом. Где молчаливо, а где с откровенной циничностью все нормальные требования к ним сведены к одному: есть у того или иного извращенно толкуемая «харизма» или нет, что на деле оказывается способностью лгать, притворяться, презирать общественные идеалы и этические нормы, продаваясь одним, подкупая других, и напролом подниматься по лестнице власти. Будто бы никакими другими качествами, кроме жажды власти и денег, политический деятель не обязан обладать.

Антидемократизм «демократов»

Основное, что, на мой взгляд, показал десятилетний период перестройки и преобразований, достаточно просто и банально: мы обнаружили у себя, прежде всего в нашей интеллигенции, нередко в формируемых из ее рядов структурах власти и политических движениях крайне ограниченный потенциал демократии. Беда не только в том, что коммунисты, разумеется, никогда не станут демократами. Еще большую трагедию мы обнаружили в том, что демократы не являются таковыми. Это не значит, что мы не имеем никаких достижений. Мы завоевали свободу для выражения своей воли и предпринимательской активности. Не так мало...

Но тем, кто пришел к власти в результате августовского (1991 г.) переворота, был предоставлен великий исторический шанс повернуть развитие России на путь рынка и демократии, равноправного и конструктивного сотрудничества с европейской и другими мировыми цивилизациями.

Если бы начатые преобразования были подлинно демократическими, проводились в интересах большинства народа, то они получили бы его широкую поддержку и, несомненно, имели бы эффект прорванной плотины. Таковыми были реформы Эрхарда в ФРГ. Ускоренным ростом экономики и благосостояния народа сопровождаются реформы в КНР.

Иначе и не бывает. Ведь реформы становятся нужными для устранения преград, вставших на пути социально-экономического развития. Устранил преграды — и развитие ускорилось. Так было во всех названных выше случаях. Но того роста экономики, который произошел в эрхардовской Германии или современном Китае, нам, при нынешнем курсе, ожидать не следует. Давно пора взглянуть правде в лицо. Мы проводим не реформы, а революционный слом экономики и всего уклада нашей жизни в интересах ничтожного меньшинства и в ущерб громадному большинству народа. Как во всякой революции, власть используется для передачи собственности из одних рук в другие, из рук государства в руки частных владельцев. То, что это происходит под флагом реформ, сути дела не меняет. А ведь революции, как принято говорить, в белых перчатках не делаются, т. е. демократическим путем не осуществляются.

Как же тогда наша «реформа-революция» будет сочетаться с демократией?

В этом-то и вопрос. Историческое формирование рыночной экономики обычно предшествовало демократии, которая как раз возникала на ее основе. Только мы взяли и то, и другое делать одновременно, что само по себе чрезвычайно осложняет нашу ситуацию. Если бы при этом мы избрали путь постепенных, медленных преобразований, то это куда бы ни шло. Даже в этом случае нас ожидали трудности решения отмеченной выше двоякой задачи. Но проблема неизмеримо осложнилась радикальностью преобразований, по существу, насильственной приватизации в пользу меньшинства. Большинство обездоленных с этим никогда не согласится, и надо ожидать обострения борьбы между теми, кто захватил собственность, с одной стороны, и теми, кто остался ни с чем, — с другой.

В такой ситуации у власть имущих не останется другого средства сохранения своего положения, как свергивать демократию и прибегать к авторитарным методам правления. Первый шаг в этом направлении сделан, мы уже имеем авторитарную конституцию. Понадобятся и другие.

Возможно ли другое, более благоприятное развитие событий в сторону укрепления демократии?

Было бы возможно, но только в том случае, если бы экономика встала на путь подъема и жизнь народа стала улучшаться. Но для такого оптимизма никаких оснований нет. О том, что ситуация начала улучшаться, должны свидетельствовать реальные условия нашей жизни. Пока же ясно одно: одним стало незаслуженно хорошо, а другим незаслуженно плохо. В такой ситуации надо скорее ожидать неблагоприятное развитие демократии.

Передо мной официальное издание Госкомстата России. Смотрим таблицу потребления продуктов питания по годам. В 1990 году мы в среднем потребляли 69 кг мяса, а в 1995-м — уже 52, по молоку потребление снизилось с 386 до 246,6 кг, по рыбе с 20,3 до 9 кг, по яйцам с 297 до 196 шт. и т. д. Зато потребление картофеля возросло со 106 до 107 кг, и понятно почему.

То, что полки магазинов были пусты, конечно, плохо, и я не намерен это оправдывать. Верно, что прежнее коммунистическое руководство заботу о благе народа подменяло демагогией. Но верно и другое — полки магазинов надо наполнять не путем снижения народного потребления, а ростом производства и прежде всего собственного — вот такая реформа нам нужна.

«Развалы» последствия

Не хочется загружать статью цифрами. Но приведем хотя бы некоторые. Если уровень 1989 года принять за 100, то в 1995 году объем внутреннего валового продукта составил 40, промышленного производства — 41, сельскохозяйственного — 64, а капиталовложений — всего 28%. Такой глубины падения производства не знала даже Великая депрессия 1929—1933 годов, представляющая особо мрачную страницу в истории капитализма. Никто не в состоянии оспорить ту правду, что после 1991 года по всем показателям социально-экономического развития страна резко опустилась вниз и неотступно продолжает катиться в этом роковом направлении. Никаких предпосылок экономической стабилизации не создается, да они и не могут быть созданы в рамках проводимого курса — и вся демагогия на этот счет представляет собой чистейший обман.

За приведенными далеко не полными цифрами скрывается самая безрадостная, если не сказать трагическая, перспектива. Возьмем только один показатель капложений, объем которых теперь составляет только четверть к прежнему. На что они идут? В их и без того ничтожном объеме выросли расходы на строительство жилья, офисов, покупку дорогостоящей мебели, восстановление Белого дома, ремонт здания Госдумы, строительство непонятно для чего нужного подземного города на Манеже в Москве, войны и восстановление Чечни и т. д.

На долю же производства остается мизер, ни в какой степени не способный возместить колоссальные износ и проедание основного капитала, не говоря о модернизации производства. А ведь основные фонды и есть материальный фундамент экономики, и если они разрушаются, то на какой базе может произойти стабилизация? Наоборот, происходит рост аварий и несчастных случаев. Как им не быть, если станочный парк, подвижной состав, трубопроводы и многое другое не обновляются, ремонтные работы не осуществляются, не говоря о профилактике. Поезда и самолеты изношены, а обновления нет. Ездить и летать стало опасно. Расходы на науку сократились в 20 раз, образование и культура пришли в упадок.

Можно ли преобразования, приведшие к такому обвальному разрушению всей социально-экономической структуры общества, называть реформой? Нет. Реформой называют такие последовательные преобразования, которые шаг за шагом снимают преграды, возникшие на пути развития общества. Поэтому обычно они имеют эффект прорванной плотины (реформы Эрхарда в ФРГ, современный Китай) и через короткое время споры об их необходимости прекращаются. Наши же преобразования, явившиеся шоковым ударом по экономике и обществу, открывшие путь грабежу и преступности, представляют собой не реформу в общепринятом смысле, а предпринятую в интересах узкого меньшинства форму организованного насилия над экономикой с тягчайшими последствиями.

Это относится к оценке как нашей внутриэкономической ситуации, так и к процессу нашего вхождения в мировую экономику. На этот счет также первоначально существовали довольно упрощенные представления. Стоит снять железный занавес, открыть границы, предоставить всем право свободно выходить на внешний рынок — и все пойдет как по маслу. В таком случае, казалось, российская экономика прямо включится в мировую, а иностранные капиталы и «ноу-хау» широкой рекой польются в нашу страну.

После четырех с половиной лет преобразований можем констатировать, что ничего подобного не произошло. Недавно газета «Известия» привела интересные данные на этот счет. За последние пять лет США вложили в экономику коммунистического Китая более 100 млрд. долл., а демократической России — всего два-три млрд. долл. Парадокс объясняется просто. Международный капитал в данном случае руководствуется не симпатиями или антипатиями, а экономическим расчетом. В Китай его привлекает политическая устойчивость страны и гарантия нормальных условий функционирования. У нас же нет ни того, ни другого.

Почему же? — возникает естественный вопрос.

Потому что преобразования во внешнеэкономической сфере страдали тем же пороком, о котором говорилось выше, — крайним радикализмом. Многим ошибочно казалось: чем решительнее будут перемены, свободнее движение товаров, капиталов и людей через наши границы, тем скорее повысится эффективность экономики. В практике передовых стран так оно и происходит. Но мы-то страна не передовая в смысле культуры и традиции частного предпринимательства, а как раз наоборот. Полученную свободу большинство российских предпринимателей использовало не для технической модернизации экономики, повышения ее роста и эффективности, а совсем для другого — отхватить себе как можно больший кусок народного

● Что же с нами происходит?

добра и спрятать его подальше от глаз народных, лучше всего куда-нибудь за границу. Какой рост, какая эффективность, кто о них заботится сегодня?

От свободы во внешнеэкономической деятельности развитые страны выигрывают. Потому они за нее выступают. Неконкурентоспособные не могут себе позволить такую свободу, если не хотят проводить самоубийственную политику. Они должны проводить политику государственного протекционизма и сравняться с нами по своему научно-техническому уровню, структуре экономики и конкурентоспособности товаров и услуг. Тогда, пожалуйста, бросайся в море и, не боясь конкуренции, пускайся в свободное плавание. А до тех пор сочетай известную свободу в одном с жестким протекционизмом в другом.

Конечно, если бы мы были более развитой в научно-техническом отношении страной, имели цивилизованные на уровне мировой культуры и стандартов законодательство и предпринимательство, то осуществленные преобразования, надо думать, придали бы нашей экономике новые импульсы и был бы обеспечен более значительный, чем раньше, рост производства. Был бы достигнут такой уровень валютных поступлений, который позволил бы провести техническую модернизацию, масштабное освоение высоких технологий. Растущую на этой основе экономику, наверное, было бы тогда нетрудно повернуть лицом к мировому рынку и выбросить туда как можно больше товаров, и разных. В таком случае российская экономика могла стать конкурентоспособной и органически включиться в мировую. Но мы же не пошли по этому пути! Мы пошли по пути бездумной и неподготовленной либерализации в надежде, что желанные цели будут достигнуты «невидимой» рукой рынка.

Впрочем, невидимая рука как-то действует, но только против нас. В российской и мировой печати называются разные цифры ежегодной утечки из страны многомиллиардных средств. На мой взгляд, наибольшее доверие вызывает сумма в 20 млрд. долл., называемая «Финансовыми известиями», тем более что она приводится и рядом зарубежных изданий. Это значит, что за последние годы за рубеж ушло и там осело более 100 млрд. долл. российских средств. Выходит, не западные капиталы пришли к нам, а наоборот, российский капитал финансирует западную экономику. Такова цена, которую нам приходится платить за наше согласие перестраивать свою экономику и осуществлять реформы по стандартам и рекомендациям, мягко говоря, не соответствующим нашим условиям.

Мы и сегодня платим за это не только утечкой капиталов и мозгов, но и все более углубляющейся зависимостью от ведущих государств и финансовых организаций Запада. Об этом свидетельствует колоссальный рост нашего внешнего долга.

«Разве правительство наше не понимает, — спросят, — что гигантское государство не может жить в долг, или нет экспертов, которые бы ему это разъяснили?»

Почему же, и эксперты есть, и само понимает. Но, связавшись с ложной концепцией, оно другого выхода себе не оставило и теперь тонет в море бюджетного дефицита. А ведь, когда тонешь, не будешь думать о том, кому расплачиваться за оказанную помощь, кто-нибудь да найдется, лишь бы сейчас спастись.

С легкой руки радикальных теоретиков мы отказались от многих государственных доходов и вступили в полосу хронического и растущего бюджетного дефицита. Ужесточением налогового пресса проблема не решается. И вот теперь государство прибегает к двум разорительным мерам. Доходы от приватизации и внешние кредиты вместо того, чтобы служить технической модернизации экономики, используются для покрытия бюджетного дефицита.

Что бы вы сказали о крестьянине, хозяйство которого разоряется, а он занимает деньги и растрчивает вместо того, чтобы купить на них лошадей или плуг?

А ведь мы сейчас избрали такой же образ действий. Берем иностранные кредиты и покрываем ими свои текущие потребности, т. е. проедаем, не думая о завтрашнем дне. Да еще каждый новый кредит властями и удобными им средствами массовой информации преподносится как очередное спасение. О том, что это все-таки долг и его когда-то придется платить, никто не говорит.

А не худо бы подумать о том, что надо что-то предпринять сегодня, чтобы сделать свою экономику более конкурентоспособной на мировом рынке, иначе мы никогда не сможем расплатиться по всем долгам. Но, к сожалению, такой вальс сморяющей стратегии у нас нет. Прожили день — и ладно. В результате долговая петля затягивается все туже и туже. Судите сами. В 1985 году, когда началась перестройка, внешний долг СССР был 29,5 млрд. долл., что в расчете на каждого из нас составляло 106 долл. Для такой страны в то время цифра, прямо скажем, небольшая. За пять лет внешний долг страны увеличился более чем в два раза и дошел до 65 млрд. долл. Но особенно преуспело в этом направлении нынешнее правительство. Оно довело долг до 130 млрд. долл. С учетом принятия Россией долгов бывшего СССР и сокращения населения вдвое на каждого из нас теперь, по моим расчетам, приходится 876 долларов внешнего долга.

Много это или мало и вообще, что эти цифры означают для нашего будущего? Для страны, чья экономика на подъеме и за счет издлий высокой технологии она достаточно ориентирована на внешний рынок, валютные доходы которой исчисляются сотнями миллиардов долларов, это, может быть, и не так много. Для нас же,

чья экономика на развале, кому нечем торговать на мировом рынке, кроме сырьевых товаров, это непосильно тяжелое бремя.

Сделаем простой расчет. До начала реформ объем производимого национального дохода в расчете на душу населения составлял свыше 8 тысяч долл. Сейчас этот показатель по моей оценке снизился вдвое и составляет где-то около 4 тысяч, и это еще не предел. До какой точки падения дальше опустимся, когда, на каком уровне остановимся и за счет чего будем расплачиваться, никто не знает, и, боюсь, сегодня никто и не думает. И вот какая мысль приходит мне в голову: как же, интересно, будут реагировать те, кому сейчас 10—15 лет, когда вырастут и столкнутся с тем, что не менее четверть производимого ими в год надо отдавать зарубежному дяде в погашение того долга, который отцы и матери, дедушки и бабушки переложили на их плечи?

Справедливость требует сказать, что не только мы должны, но и нам должны. Но нашими дебиторами в основном являются развивающиеся страны, возврата от них вряд ли дождешься. Санкции против них невозможны.

Теперь подведем некоторый итог. Мы начали преобразования с лозунгом войти в мировую (понимай, западную) цивилизацию. По истечении пяти лет стало ясно, что наша односторонняя зависимость от Запада возрастает, внутри страны формируется глубоко архаичный и реакционный криминально-распределительный капитализм, основанный на грабеже населения, перекачивании многомиллиардных средств из своей страны за рубеж, из сферы производства в сферу паразитического потребления. Неспособность к созиданию придает нашему капитализму паразитический характер.

Две культуры — два вида предпринимательства

Почему же реформы, о которых говорилось выше, имели быстрый успех, а нынешние преобразования не только не имеют, а ведут нас от плохого к худшему? Должно же быть какое-то объяснение тому, как и почему мы все-таки угодили в такую безысходную ситуацию.

Есть глубокое различие между российскими условиями и западными, и мы не должны были сломая голову браться делать то же самое, что они. Но главное, что не учли реформаторы, — это глубокое отличие нашей культуры от западной.

Рынок и демократия возникли на Западе не вдруг в порядке подражания чужому привлекательному опыту, а являются, как убедительно показал Макс Вебер, органическим результатом многовекового развития протестантской рационалистической культуры. Она складывалась в Европе и Америке в течение 300—400 лет после Реформации путем развития унаследованных ими от прошлого трех рационалистических начал: коренящейся в античности фундаментальной и экспериментальной науки и техники, римского права и рационального способа ведения хозяйства. Они были синтезированы на базе протестантского мировоззрения и этики, которые и возвели экономический успех в религиозно-этическое призвание. Прямое и повседневное воздействие протестантских религиозно-этических установок на жизнь и хозяйственную деятельность Вебер и называл «духом капитализма».

В числе множества примеров подобного рода он приводит проповедь Б. Франклина, обращенную к молодым предпринимателям. «Остерегайся считать своей собственностью все, что ты имеешь, жить сообразно с этим». Иначе говоря, не думай, что все отданное Господом в твои руки — твое, оно на благо всем. «Наряду с прилежанием и умеренностью ничто так не помогает молодому человеку *завоевать себе положение в обществе*, как пунктуальность и справедливость во всех делах. Поэтому никогда не задерживай взятых тобой взаймы денег ни на один час сверх установленного срока, чтобы гнев твоего друга не закрыл для тебя навсегда его кошелек» (М. Вебер. Избранные произведения. М., «Прогресс», 1990, с. 72). Честность увеличивает капитал — вот основной смысл этой проповеди.

Трудолюбие, умеренность, честность и другие христианские добродетели проповедует и православие, но не для регулирования социальных отношений, а для ухода из мира земного и погружения в мир Божий. «Основная, наиболее глубокая черта характера русского народа, — пишет Н. Лосский, — есть его религиозность и связанное с нею искание абсолютного добра, следовательно, такого добра, которое осуществимо лишь в Царстве Божием» (Н. О. Лосский. Условия абсолютного добра. М., 1991, с. 240). Мы и коммунизм-то приняли потому, что он соответствовал нашему представлению о таком беспроblemном царстве. Но правовые нормы и этику деловых и хозяйственных отношений коммунизм не создал. Не имеет их и православная церковь из-за своей обращенности исключительно в Царство Божие и ухода от земных проблем.

Обращенность к небу, постоянная мечта о возвышенном стали основой высоких взлетов творческого духа, принеших русской культуре мировую славу и признание. Не раз устремленность к сверхличной цели помогала русскому народу перенести величайшие исторические испытания и катастрофы. Однако необходимо видеть и другое. Это высокое достоинство нашего народа имеет и свою обратную сто-

рону. Слишком часто мы предаемся мечтам о несбыточном вместо повседневной кропотливой работы по решению мелких и нудных житейских дел. Типичным воплощением такого духа является Обломов.

«Частичная обломовщина, — пишет Н. Лосский, — выражается у русских людей в небрежности, неточности, неряшливости, опаздывании на собрания, в театре, на условленные встречи. Богато одаренные русские люди нередко ограничиваются только оригинальным замыслом, только планом какой-либо работы, не доводя ее до осуществления» (Н. О. Лосский. Условия абсолютного добра. М., 1991, с. 272). Приведенные слова по крайней мере частично объясняют, почему у нас в свое время не развивалось и сейчас плохо прививается капиталистическое предпринимательство.

Сказывается различие наших культур, традиций и менталитета народов. Очень важным для понимания этих различий является разнонаправленность аскезы, проповедуемой разными ветвями христианства. Протестантство требует аскезы во имя устройства лучшей жизни на земле, воздержания в потреблении во имя накопления благ для ближних. Поэтому оно нуждалось, выработало и утверждало в жизни нормы права и морали для регулирования возникающих в связи с этим социально-хозяйственных отношений. С православием дело обстоит иначе. Оно проповедует отрешенность от мира, уход от него, полное погружение в духовное созерцание Бога. Поэтому оно не нуждалось и не выработало нормы регулирования этих отношений.

Если иметь в виду не бумажный свод законов и декларации государственных и политических институтов, а массовое сознание и повседневную практику, то надо признать, что в нашей истории и культуре не было источников возникновения и утверждения тех морально-правовых норм и правил, которые лежат в основе частнокапиталистических отношений на Западе. Православие в них не нуждалось, а коммунизм хотя и нуждался, но для их соблюдения широко использовал принудительную силу государства. В результате соблюдение норм права и морали не стало правилом нашей жизни ни в дореволюционное, ни в советское время. В условиях такой неотрегулированности общественных отношений у нас утвердилась отличная от Запада традиция самодурства, произвола и массового воровства. Без воровства прожить на Руси было невозможно. А теперь во множестве расплодился миллионеры и миллиардеры с криминальным прошлым и настоящим, и никто не интересуется, откуда и почему. Нигде в мире нет такого примиренческого отношения к грабежу и бандитизму, как у нас.

Оказавшись в руках частных владельцев, многие российские предприятия стали работать куда хуже, чем раньше. Зачастую не видно ни модернизированных новыми хозяевами производств, ни освоенных ими высоких технологий, ни решенных социальных проблем. Чаще российский предприниматель воспринимается не как новый капитан экономического и научно-технического прогресса, а как хапуга, мошенник и мот. Его вызывающая роскошь и презрение к человеку видны на каждом шагу. Сколько банкиров, владельцев компаний и чиновников не считают себя связанными чем-либо, кроме своих интересов и страстей, не несут при этом никакой ответственности перед обществом!

В этом их глубокое отличие от западного предпринимательства, которое имеет успех не потому только, что держит богатства в своих частных руках, а прежде всего благодаря тому, что проникнуто ответственностью за судьбу своей страны, ее технической и социальной прогресс. Это воспитано и укоренилось в течение веков вместе с протестантскими традициями и стало составной частью западной рационалистической культуры. То, что порой воспринимается в западных людях как скупость, на самом деле является рационализмом и бережливостью. Наша же так называемая широкая душа с необузданностью и расточительством воспринимается ими как варварство и досадное неблагоразумие. Вот и сейчас Запад немало шокирован тем, с какой бесшабашностью «новые русские» справляют пир во время чумы, какие деньги швыряют на покупку дорогостоящих лимузинов, на фешенебельных курортах, в ресторанах и игорных домах, проявляя полное равнодушие к судьбе своей страны и страданиям народа.

Многие оправдывают подобное марксовым описанием первоначального накопления капитала. Да, такое было в Англии в X—XVIII веках. Но ряд других исследователей убедительно показывает, что основной причиной возникновения капиталистического предпринимательства была хозяйственная этика, согласно которой обман — великий грех, прямая дорога, ведущая в ад, и богоугодны лишь те земные блага, которые являются плодами праведного труда и служат благу всех людей. Именно такое понимание частной собственности утверждали и апостолы либеральной концепции свободного предпринимательства. Так, известный теоретик либерализма Л. Мизес пишет, что «частная собственность не является привилегией владельца частной собственности, а является общественным институтом, служащим благу и выгоде всех, несмотря на то, что она может в то же время быть особенно приятной и полезной для некоторых» (Л. Мизес. Либерализм в классической традиции. М., 1995, с. 35).

Современное российское предпринимательство далеко от такого понимания частной собственности. «Благо и выгода всех» его не занимает. Оно рассматривает

частную собственность не только как привилегию, а как свою добычу и никаких общественных функций, кроме собственного обогащения, за ней не признает. И это потому, что наш предприниматель вырос и воспитан в условиях иной, чем на Западе, системы ценностей. Труд никогда не был делом чести, а богатства не приобретались праведным путем. Потому и говорится: от трудов праведных не наживешь палат каменных. Таково российское сознание.

Конечно, и западное общество далеко от идеального, не все нажито честным путем. Но такое там больше исключение, чем правило. Западные предприниматели создавали свои состояния так или иначе, соблюдая принятые в обществе правовые и этические нормы. У нас же наоборот. Даже принятые правовые нормы сплошь и рядом нарушались, а о морали нечего и говорить. Подлог и подкуп были и остаются основными методами проводимой у нас приватизации. Потому-то частная собственность, в особенности крупная, не получила в сознании народа общественное, моральное признание.

Приватизация и криминализация

Без частной собственности и предпринимательской свободы рынка быть не может. Это известно всем, и нет нужды здесь на этом останавливаться. С самого начала поэтому была ясна также необходимость приватизации определенной части государственной собственности. Но в свете того, что мы видим сейчас, следует сказать об ее экономическом смысле. В чем он усматривается мировой наукой и практикой?

Сейчас, когда я пишу эти строки, вновь держу в руках двухтомное издание Всемирного банка об организации и технике осуществления приватизации в разных странах. Пересказывать, конечно, не буду. Нигде ничего похожего на нашу приватизацию нет, и никому ничего подобного не было рекомендовано. Нам говорили, что приватизация необходима, что вполне естественно вытекало из логики развития рыночных отношений. Но конкретные формы приватизации никто нам не навязывал, и мы не вправе вину за последствия сваливать на кого-либо, кроме своих соотечественников.

Теперь, когда последствия приватизации стали более или менее очевидными, следует напомнить истины, которые давно получили хотя и не абсолютное, но достаточно широкое признание среди специалистов. Экономический смысл приватизации (ее необходимость) вытекал из тотального огосударствления собственности и обусловленного этим жесткого директивного планирования и управления, сковавших творческую инициативу и свободу. В ходе исторического соревнования такая экономика — ее принято называть командной или административной — оказалась менее эффективной, чем рыночная, основанная на частной собственности и свободном предпринимательстве. Достоинства же рыночной экономики как раз вытекали из свободной конкуренции. Мало сказать, что она способствует развитию творческих потенций и дарований предпринимателя. Она к этому вынуждает, благодаря чему и достигается более высокий уровень эффективности. Иначе говоря, частная собственность и свободная конкуренция, обуславливая друг друга, создают **принудительную систему повышения эффективности производства, всей экономики.**

Если частная собственность эту свою основную общественную функцию — о ней говорил Л. Мизес (служить благу всех) — не выполняет, то к ней применимы слова, сказанные В. Маяковским про корову: если у тебя нет ни молока, ни вымени, то черта ли в твоём коровьем имени? В таких случаях частная собственность не только в практике социалистических, но и капиталистических стран заменяется государственной собственностью. Размеры статьи не позволяют мне привести множество данных о значительной доле государственной собственности в экономике стран с традиционной рыночной экономикой (Австрия, Франция, Италия, Япония и др.). Я ставлю этот вопрос перед радикалами-приватизаторами и прошу их объяснить себе и другим: почему же эти страны прибегают к огосударствлению части своей собственности? Не знаю, как они на него будут отвечать, но знаю, как на это отвечает мировая наука и практика: потому что в одних случаях более эффективна частная, а в других государственная собственность.

Когда мы, в том числе и автор этих строк, предлагали начать приватизацию, то имели в виду не тотальный переход всего и вся из государственной в частную собственность, а ликвидацию государственного монополизма в хозяйственной деятельности, предоставление трудовым коллективам и талантливым организаторам, выявленным системой честной конкуренции, возможности проявить частную инициативу и смекалку, и не для личного только, но и общественного блага. Мы вовсе не имели в виду, что созданные многолетним трудом народные богатства станут легкой добычей мафиозно-криминальных элементов, лишенных элементарных понятий о праве и морали и во имя собственного обогащения не брезгающих ничем. Мы хотели призвать на авансцену хозяйственной жизни тот тип предпринимателей, ко-

торые сколачивают состояние трудом и смекалкой, побеждают конкурента качеством и эффективностью, а не шантажом, мошенничеством и физической расправой.

А что же мы видим на практике?

К вершинам власти и богатства большей частью поднялись не талантливые организаторы экономики, двигающие технической прогресс, науку и культуру, модернизирующие экономику, а люди с сомнительной репутацией. Их забота о собственном обогащении и демонстрация роскоши — дорогостоящих дворцов и лимузинов, как и их огражденность от народа свирепой охраной, не предвещают ничего хорошего для нашей страны и ее будущего. Совершенно очевидно, что мы свернули на путь, ведущий не к Храму, а к обрыву.

За все это мы, выступавшие за перестройку и реформы, не можем снимать с себя ответственность на том основании, что имели в виду одно, а получилось другое. Тогда надо оправдать и большевиков. Они ведь тоже вовсе не намерены были сделать себя и свой народ жертвой сталинских преступлений. Но, встав на путь насилия и антидемократизма, они потеряли контроль над развитием событий, и логика вещей привела их к печальному исходу. То же самое теперь грозит и нам. Словесные споры по этому поводу отступают перед неоспоримой реальностью нашей жизни: объем производства и его эффективность, а также уровень жизни основной массы населения продолжает снижаться. Зато криминализация общества резко возрастает.

В ходе размышлений и рассуждений вокруг такого рода фактов и явлений нашей жизни обычно выдвигается то соображение, что частная собственность во всем мире доказала свои преимущества. Но ведь мы не можем утешать себя тем, что она хороша на Западе или еще где-то, если она не плодоносит у нас. Остается отметить только особую необходимость тщательного и всесторонне взвешенного подхода к процессам приватизации в стране с отсутствием традиций частного предпринимательства. Мы проводили ее в соответствии с присущей нам традицией грубого произвола, который мы обозначили как радикальность. Мы не сделали то, что вытекало из азбуки экономической науки и мирового опыта: проводить приватизацию постепенно, по мере подготовки экономических предпосылок и законодательной базы и непременно по ходу и результатам рыночной конкуренции.

Рыночный метод, при котором формирование класса частных собственников ставится в зависимость от их способностей одержать победу в конкурентной борьбе, отнюдь не соответствовал интересам нового правящего слоя. Те, в чьих руках оказалась власть, решили момента не упускать и риску себя не подвергать. Раздел собственности, рассудили они, слишком серьезное дело, чтобы пустить на самотек, предоставить его произволу рыночной конкуренции, мало ли куда выведет капризная фортуна. Потому они решили: дело надо брать в свои руки и осуществлять его в собственных интересах.

Так и было сделано. Вместо рыночного был принят административно-номенклатурный метод приватизации, проводимый через властные структуры. Риска никакого, а лакомства все твои. Новая власть использовала богатый опыт старой. Была развернута широкая пропагандистская кампания, в ходе которой население убеждали, что приватизация приведет к быстрому и коренному улучшению его материального положения. Бывший Верховный Совет принял закон, согласно которому подлежащую приватизации государственную собственность предстояло разделить на равные части по числу граждан страны и каждому зачислить его долю на индивидуальный приватизационный счет в банке. Все взрослые граждане, говорилось в ходе этой кампании, отныне становятся частными собственниками и впервые получают возможность вести свои дела по собственному усмотрению.

Равное право граждан на равные доли собственности практически неосуществимо, и в этом не могло быть иного смысла, кроме демагогического. Главное же было в другом — идея равной собственности противоречила интересам правящего слоя, который не хотел ее отдавать ни широким массам народа, ни удачливым конкурентам. Важно не каждого сделать собственником (это невозможно и не нужно), а сконцентрировать капитал в руках нового класса собственников, создание которого режим рассматривал как свою социальную опору.

Для практического осуществления этой задумки был изобретен своеобразный механизм — так называемый ваучер. Им подменили первоначальную идею о праве каждого на равную долю собственности. Долой индивидуальные приватизационные счета! Только ваучер! Он великолепно имитировал ценную бумагу, не будучи таковой, чем напомнил мне трудовень в колхозе. Я по нему ничего не получал, но его числяли. Так и ваучер. Никто по нему ничего не получит, но всем дают. Он подлежал — по выбору граждан — либо продаже на свободном рынке, либо обмену на акции в так называемых инвестиционных фондах.

Номинальная стоимость ваучера составляла 10 тысяч рублей. Обещано было поднять его рыночный курс до стоимости двух автомобилей «Волга». Однако в начальный период продаж и покупок основной массы ваучеров его стоимость составила три-четыре-пять тысяч рублей, т. е. сумму, на которую можно было купить разве что чашечку кофе. Лишь к концу срока обмена его курс поднялся до стоимости нескольких чашек. Смысл ваучера был вовсе не в том, чтобы стать ценной бу-

магой, а как раз в том, чтобы ею не стать. Подобно тому, как трудодень в колхозе прикрывал передачу выращенного урожая государству, так и ваучер прикрывал передачу государственной собственности в руки «новых русских».

После ваучерной начался денежный этап приватизации, когда акции приватизированных предприятий приобретались непосредственно за деньги. Инсценировались так называемые аукционы, во время которых разыгрывалась конкуренция между покупателями, чего в действительности не было. Роли распределялись заранее, и игра велась в основном втемную. Но кое-что просачивалось и в печать. Например, «Комсомольская правда» от 29 сентября 1995 года писала о том, как продавали Краснодарскую табачную фабрику породнившейся американской компании «Филипп Морис». Как положено, был разыгран публичный аукцион. Откуда-то узнавший об этом, но не посвященный в тайны российского бытия владелец другой американской табачной компании решил принять участие. Ознакомившись с Краснодарской фабрикой и узнав, что ее собираются продавать за какие-то 65 миллионов долларов, он пришел в полнейшее изумление. Явившись на аукционный спектакль, он решил побить своего зарвавшегося конкурента, нагло обманывающего русских простодиль, и предложил за фабрику аж 167 миллионов долларов. Но не тут-то было! Жюри, как выяснилось, испытывало такую любовь к «Филипп Морис», какую никакими сверхсуммами поколебать было невозможно. Вместо 167 фабрика была продана за 65 миллионов.

Да, итоги приватизации следует признать формально высокими. Около 60% предприятий стали негосударственными, а около 40 миллионов человек акционерами. Но давайте посмотрим, что за ними скрывается. Крайне неблагоприятная ситуация. Основная масса акционеров является собственниками лишь формально, никакого участия в делах и принятии решений не принимает, а на свои акции имеет символически мизерные доходы, а то и вовсе никаких. Масса народа потеряла даже те социальные гарантии, которые имела при государственной собственности. Лишь 10—15% населения, составляющие его номенклатурно-криминальную прослойку, выиграли от приватизации — к ним перешла собственность, они и получают львиную часть доходов общества.

Но беда не ограничивается только тем, что одним досталось все, а другим ничего. Чтобы всем сестрам досталось по серьгам — такое невозможно вообще. Подобное требование не может быть критерием оценки той или иной общественной системы. Главное в другом: каким путем овладевают властью и собственностью имущие их? От ответа на этот вопрос зависит и то, что они собой представляют, каков их политический и нравственный образ, что от них ожидать и какую роль они способны играть.

Размышления по этим коренным вопросам нашего развития не дают оснований для оптимистических выводов. О том, насколько демократично вцепиться во власть и любыми средствами держаться за нее, речь пойдет ниже. Здесь хотел бы сказать, что несправедливый характер приобретения собственности исключает выдвижение на общественную арену социальной силы, способной выполнять историческую задачу.

Почему западное предпринимательство смогло, а российское не может быть инициатором и движущей силой прогресса?

Потому что западное предпринимательство является результатом естественного отбора и рассматривает себя как наиболее ответственную часть общества, уязвляет свое будущее с будущим страны. Современное же российское предпринимательство создано искусственно в результате сговора между номенклатурой и уголовщиной, по природе своей криминально и живет одним днем. Оно не чувствует ответственности за свою страну и даже за собственное будущее. Коррупция и шантаж стали основными источниками формирования российского предпринимательства.

Криминальность является сущностной чертой не только его возникновения, но и функционирования. Уклонения от уплаты налогов и невообразимый на Западе внебанковский оборот считаются нормальными у нас. Мы почти привыкли к тому, что чуть ли не каждый день случаются нападения, ограбления, убийства, изнасилования. Вооруженные гранатами и автоматами охранники в камуфляжной форме стали обязательным украшением не только крупных фирм, но и мелких магазинов, кафе и даже больниц и санаториев... Заказные убийства бизнесменов и рэкет стали обыденной повседневностью нашей жизни. Сложилась разветвленная сеть военизированных молодежных организаций, специализирующихся на такого рода занятиях.

В нашей не имеющей традиций частного предпринимательства стране рыночная свобода воспринята как вседозволенность, а частное присвоение — как узаконенное воровство. В результате число преступлений возросло настолько, что никаких судов и следователей на них не хватит. О росте масштабов преступности нельзя судить по данным официальной статистики. Они не дают полного представления о всей криминальной ситуации. Рост числа преступлений, несомненно, вызывает большую тревогу. Тем не менее есть и нечто более угрожающее. Это те преступления, которые зафиксировать невозможно, которые остаются скрытыми и из тени оказывают свое злое влияние на ход экономического и социального развития.

Как сообщил Ю. Батулин, около 40 тысяч предприятий различных форм собственности сегодня контролируются преступными сообществами. Подкупленные чиновники оказывают содействие каждой четвертой преступной группировке. Преступники имеют глаза и уши во всех звеньях коррумпированного государственного аппарата.

Экономическая преступность угрожает нашей национальной безопасности. Мы не приблизились к правовому государству, скорее отделились от него. Вместо тоталитарного мы оказались под властью криминального государства.

Угроза и гарантия демократии

Наибольшую угрозу российской демократии сегодня чаще всего связывают с возможным возвратом к власти коммунистов. Несомненно, что для этого есть определенные основания. За годы своего господства коммунисты показали себя как последовательные антидемократы. Их антидемократизм, переросший в жестокость, явился коренной причиной их исторического провала. По всему видно и то, что они не сделали выводы из факта своего всемирно-исторического поражения и приписывают собственную вину другим. Как видно по их программе, высказываниям лидеров, общепартийным лозунгам, они продолжают цепляться за сталинизм, принесший нашему народу неисчислимые беды и страдания. Пока не осудят сталинские преступления, не сделают надлежащие выводы из прошлого, они не могут встать на путь поиска гражданского согласия, а без этого нельзя рассчитывать на ту степень народной поддержки, которая необходима для их конструктивной роли в жизни общества. Пока российские коммунисты держатся за обанкротившийся сталинизм, их дело обречено, ибо назад историю повернуть невозможно. Чтобы пойти вперед, надо встать на путь разработки и осуществления новой модели общества.

Какой она должна и может быть?

Есть немало людей, предлагающих отбросить всякие суждения о концепциях и моделях общества как неких химерах, вводящих людей в заблуждение, и руководствоваться одним лишь здравым смыслом. Подобная профанация кажется мне более чем странной. Она перечеркивает все достижения мировой науки и культуры и представляет дело так, будто человечество может достигать вершин прогресса на основе пары-тройки удобных кому-то житейских истин. Если все так просто, то человеческий прогресс становится непонятым. Если все те, кто разрабатывал философские концепции и модели экономического развития, занимались пустым и ненужным делом, то почему они получили историческое и мировое признание, вместо того чтобы быть выброшенными из памяти как сущие бездельники. Очевидно, потому, что взаимоотношения людей в обществе гораздо более сложны и несколько банальных житейских представлений, кстати, весьма разных у разных людей, не помогут разъяснить сложные, противоречивые явления общественно-политической и экономической жизни.

Никакая совместная жизнь в обществе невозможна без минимума согласия, которое достигается благодаря тому, что люди придерживаются некоторых общих ценностей. Они вырабатываются и воспринимаются опытом, религией, наукой, искусством. Концепции и модели также являются средством поиска таких скрепляющих общество ценностей. Поэтому никакими очевидными для всех житейскими премудростями их заменить невозможно.

С этой точки зрения наше коммунистическое прошлое заслуживает более глубокого анализа и осмысления. Если коммунизм (социализм) был абсолютным злом и никаких ценностей ни в теории, ни в практике не содержал, то почему он так долго держался? Почему еще и сегодня немалая часть людей, исчисляемая в нашей стране миллионами, придерживается коммунистической ориентации? Почему в ряде бывших социалистических стран мы наблюдаем пусть не полный, но все-таки частичный откат к тому, от чего всеми силами надо было бы убежать, если бы коммунизм был абсолютным злом? Антикоммунизм не дает ответы на эти вопросы.

Той же односторонностью страдает коммунистический догматизм, игнорирующий реальный опыт современного исторического развития и потому вступивший в конфликт с исходными основами своего учения. Он умудрился не заметить слона — современную научно-техническую революцию, которая согласно коммунистическому догматизму в рамках капитализма не могла произойти. Между тем мировая революция, которую ожидали марксисты, произошла не в виде пролетарской, а научно-технической революции, полностью обновившей прежний социальный идеал. Вступая в конфликт с историческим материализмом Маркса, происходящие в мире процессы современные коммунисты объясняют не объективными обстоятельствами (волей народов к миру, свободе и демократии), а чисто субъективными обстоятельствами «мирового сионизма», «западных спецслужб» и т. п.

Как оголтелый антикоммунизм, так и современный догматический коммунизм смотрят на мир и происходящие у нас перемены крайне тенденциозно, фанатично абсолютизируя одно и игнорируя другое. По представлениям коммунистов нынешние перемены быть не могли. Но они все же произошли. По представлениям же

противников коммунизма, дело обстоит наоборот. После своего краха коммунисты должны были уйти со сцены. Из этого, в частности, исходил нынешний избирательный закон с пятипроцентным барьером вхождения в Думу. По мысли его творцов, коммунистам больше не суждено было его перепрыгнуть. В действительности же произошло иначе.

Почему реальности жизни так безжалостно отбрасывают представления как одних, так и других?

Потому что истинный коммунизм (социализм) не однороден, а глубоко противоречив. Он содержит в себе не только насильственную сущность, но и привлекательные идеалы свободы, равенства, прогресса. Его цели благородны, а методы достижения бесчеловечны. Столь же противоречиво он совмещает в себе, казалось бы, несовместимое: согласитесь, что он принес нашему народу не только невиданные злодеяния... Одни видят в нем только одно, а другие, наоборот, только другое. Между тем мне кажется, есть и то, и другое.

Коммунизм явился феноменом последних полутора веков. Он больше, чем какое-либо иное социально-экономическое явление, определял ход истории XX столетия. Его не удалось задуть в колыбели, как к тому призывал Черчилль, четырнадцать стран, наступавших на только что родившуюся советскую власть, были разбиты вместе с внутренней контрреволюцией. Позднее возник фашизм как средство борьбы и расправы с коммунизмом. Но развитие событий продиктовало и другую логику: Запад был вынужден поддержать СССР во второй мировой войне, ибо государство «победившего социализма» представлялось решающей силой в деле спасения мировой цивилизации от фашистского варварства.

Тем не менее крах коммунизма — исторический факт. Но он мог произойти главным образом в силу внутренних обстоятельств, противоречия между его идеалом и его реальностью. Именно это противоречие характерно для всех коммунистических реформаторов: Гомулки, Бухарина, Хрущева, Горбачева, Нады, Дубчека, Дэн Сяо Пина и миллионов их последователей. Они мучились этим противоречием и искали выход из него путем той формулы, которую в дни перестройки яснее всего выразил М. С. Горбачев: больше социализма, больше демократии.

Теперь либеральные публицисты издеваются над этой формулой. Социализм и демократия, говорят они, несовместимы. Это, конечно, так, если иметь в виду сталинский социализм, унаследованный нами в брежневскую эпоху. Но исторический опыт социализма гораздо богаче и включает также практику европейской социал-демократии. Никогда нельзя считать случайностью тот факт, что многие коммунистические партии восточно-европейских стран (Польша, Венгрия, Чехия, Литва и др.) эволюционизировали в сторону социал-демократии. Почему? Потому что коммунизм (марксизм) содержал в себе семена этого перерождения. Я уже не говорю о таких классических социал-демократиях Запада, как австрийская и германская, которые с самого начала росли на гуманно-демократических идеалах.

Вот почему мне кажется, что и в наших условиях гарантией демократии является не та или иная личность, на которую многие возлагают все свои надежды, а социал-демократизм с его российской спецификой. Если же гарантией демократии в России считать исключительность одного-единственного смертного человека, то истинной демократии мы вряд ли дождемся.

Реформистское крыло КПСС во главе с М. С. Горбачевым при поддержке народа начало перестройку, потому что по-старому жить большинство страны уже не хотело. Наш демократизм состоял в том, что мы активно поддержали перемены и тем выделились как «демократы». Ничего другого у большинства из нас не оказалось — ни вдохновляющих идей, ни программных разработок, ни — самое печальное — верности этому высокому идеалу. Это не случайно. Идеалы и традиции западной демократии не выработаны и не выстраданы веками нашим народом и не сформировались в особый тип культуры, как это имело место на Западе. Оттого, что горячие головы радикалов хотели бы принять эту культуру в одночасье и сразу завести у нас западный образ жизни, это не произойдет. Скорее всего произойдет другое: оголтелый антикоммунизм расчистит поле для произрастания ядовитого национал-шовинизма. Демократию России нельзя навязать, как ее не удалось навязать Веймарской Германии. Если мы будем насильно изгонять социалистическую идеологию, то ее место займет националистическая, что намного хуже и опасней.

История открыла перед нами другую возможность — социал-демократизм. На такой путь встали многие страны Восточной и Центральной Европы. Коммунистический догматизм и экстремизм там если не исчезли, то по крайней мере потеряли сколь-нибудь заметное влияние. И это потому, что реформы имели там больший успех, чем у нас. Ничто так не способствует возрождению коммунизма, его перерождению в шовинизм, как провал наших реформ. Не народ, а псевдодемократы виноваты в том, что сегодня еще многие миллионы избирателей голосуют за коммунистов. Проклятиями в адрес прежней практики коммунизма, его преступлений делу не поможешь. Коммунизму надо противопоставить понятную и приемлемую народом социал-демократическую альтернативу роста экономики и благосостояния.

Разумеется, речь идет не о механическом переносе на наши условия западно-европейской теории и практики. Агрономы знают, что каждый сорт культурных растений должен быть опробован в данных условиях почвы, климата — температурного режима, количества осадков и т. д. Это тем более относится к социально-экономическим идеям и практике. Европейский социал-демократизм также должен быть «районирован» в российских условиях с учетом всего нашего исторического, в том числе коммунистического прошлого.

Можно ли запретить коммунизм и марксизм?

В свете сказанного, на мой взгляд, критически следует отнестись к огульно-бездумным требованиям о запрете коммунизма и марксизма. Они представляются мне не полемической крайностью, а скорее выражением глубоко сидящего в мозгах антидемократизма. Требование запрета какой бы то ни было идеологии нелепо, оно возможно только в условиях тоталитаризма.

За полтора столетия своего существования марксизм получил широкое развитие и неоднозначное толкование. Поэтому следует прежде всего разобраться в том, что под ним подразумевается. В Советском Союзе, а вслед за ним и в международном коммунистическом движении утвердился канонизированный марксизм, который состоял из определенного набора догм, воплощенных в кратком курсе истории КПСС. Недаром этот курс назывался у нас «энциклопедией марксизма-ленинизма». Нечто подобное было и в других так называемых «социалистических» странах. Сложилось новое каноническое учение, положениям которого был придан характер вечных, непререкаемых истин — они обязаны были приниматься на веру, и всякое сомнение в них считалось святотатством.

Канонизация марксистского учения придала всему коммунистическому движению черты и свойства религиозного движения. Компартии стали формироваться и действовать по образцу и подобию религиозных орденов. Встав во главе КПСС, Сталин открыто отстаивал необходимость ее деятельности по примеру ордена меченосцев. Весь ритуал внешней и внутренней деятельности компартий — верность принятым догмам, нетерпимость ко всякому инакомыслию, поклонение идолам, принятие в члены, исключение, наказания, покаяния — носил ярко выраженный религиозный характер. Коммунизм и сегодня есть не что иное, как разновидность религиозной идеологии. Так что лучше всего признать реальность такой, какая она есть. Наряду с исламским фундаментализмом, православной ортодоксией, католическим клерикализмом в мире существуют коммунистический фундаментализм и ортодоксия. Ее также нельзя запретить, как любую другую религию. Нужно с принятием в цивилизованном обществе уважением относиться к ее ритуалам, храмам, святым местам, включая Мавзолей Ленина.

От канонизированного марксизма необходимо отличать классический и научный марксизм, созданный Марксом и Энгельсом и благодаря трудам и разработкам их многочисленных последователей ставший заметным достижением мировой культуры. Любителям крикливых нападок на Маркса и марксизм хотелось бы мягко заметить, что критика Маркса вполне возможна и в современном изменившемся мире даже необходима. Но ни один из тех, кто добросовестно изучал хотя бы одну из необычайно обширных кругов проблем, которые были предметом внимания Маркса, по выражению Иозефа Шумпетера, не мог не подпасть под его интеллектуальное обаяние, настолько пленительна его эрудиция, неумолимы логика, аргументация.

Приведу оценки тех научных авторитетов, с которыми мало кто возьмется спорить. Лауреат Нобелевской премии Пол Самуэльсон — один из самых известных сегодня экономистов, а написанный им учебник, пожалуй, наиболее популярный в мире. Так вот, он утверждает, что в истории экономической мысли выделяются три фигуры, разработавшие основы и несущие конструкции этой науки: Смит, Маркс и Кейнс. Множество других, далеких от марксизма, но широко признанных в мире западных ученых утверждают примерно то же самое. Марк Блауг, профессор Лондонского университета, признанный в мире авторитет в области истории экономической мысли, пишет: «Что бы ни думали о конечной обоснованности марксизма, надо иметь довольно слабые умственные способности, чтобы не увлечься героической попыткой Маркса дать обобщенное и систематизированное толкование «законов движения» капитализма» (М. Блауг. Экономическая мысль в ретроспективе. М., «Дело», 1994, с. 207).

Научный подход отличается от религиозного тем, что он слепо не возносит и не поносит, а критически осмысливает и ценит по заслугам. Именно так относились к Марксу и марксизму многие выдающиеся философы и социологи современности — Шумпетер, Арон, Поппер... Так, Карл Поппер считал Маркса ложным пророком, ибо «его пророчества не сбылись». Но ценность мыслителя определяется не этим. «Чтобы справедливо судить о марксизме, — пишет он, — следует признать его искренность. Широта кругозора, чувство фактов, недоверие к пустой и особенно мора-

лизирующей болтовне сделали Маркса одним из наиболее влиятельных в мире борцов против лицемерия и фарисейства. У него было пылкое желание помочь угнетенным... Он затратил гигантские усилия для того, чтобы выковать, так сказать, научное оружие для борьбы за улучшение доли громадного большинства людей. Я считаю, что искренность в поиске истины и интеллектуальная честность отличают его от многих его последователей» (К. Поппер. Открытое общество и его враги. М., 1992, т. 2, с. 98).

Таковы же оценки многих других немарксистов. Современную общественную мысль невозможно представить без того вклада, который внесли в нее Маркс и марксизм. Подчеркиваю еще раз. Я имею в виду не проповедников религиозных догм, а тех, кто синтезировал в марксизме лучшие мировые достижения и в свою очередь марксистской интерпретацией обогащал мировую гуманитарную мысль. Такими были в прошлом: Бернштейн, Каутский, Гильфердинг, Плеханов, Ленин, Струве, Туган-Барановский, Богданов, Мартов, Потресов, Маслов и многие другие. Ничего не выиграем, а много потеряем, если отбросим Троцкого, Бухарина и его школу, Базарова, Громана, которые дали лучшие разработки возможного, но, увы, не состоявшегося развития советской экономики. А как быть с Булгаковым, Бердяевым, Кондратьевым, Чаяновым, Юровским и многими другими российскими мыслителями, которых нельзя назвать марксистами в обычном смысле, но которые испытали его сильно плодотворное влияние, чем они сами немало гордились?

Синтез марксизма с лучшими достижениями общественной мысли характерен и для современного западного марксизма в лице Грамши, Лукача, Адорно, Маркузе, Сартра, Фромма и других. Их работы служили идейной основой еврокоммунизма, и суловский неосталинизм испытывал перед ними дикий страх. Недаром труды этих марксистов не издавались, были запрещены в Советском Союзе, потому что отрицали тот канонизированный марксизм, который господствовал здесь.

Подводя итог, надо признать, что марксизм явился таким выдающимся достижением общественной мысли, оказал такое глубокое влияние на социально-экономическое и духовно-интеллектуальное развитие человечества, что ни вычеркнуть, ни запретить его теперь невозможно. Если кто-то считает, что он тем не менее плох, то можно рекомендовать лишь одно — разработать и предложить хорошую идеологию, более соответствующую требованиям времени. Кстати сказать, марксизм как раз имел успех там, где он был запрещен (например, в России), и оставался малопривлекательным там, где к нему был неограниченный доступ (например, в Англии).

Влияние коммунистов, как отмечалось, можно ослабить и свести на нет одним путем: успешным решением социальных проблем, повышением народного благосостояния. Если народ будет доволен своей жизнью и судьбой в условиях рыночного хозяйства, коммунистическая партия окажется ему ненужной. Что касается марксизма, то здесь, думается, дело сложнее. Марксизм — не только идеология, но, как мы пытались показать выше, и наука, во всяком случае — определенный этап в ее развитии. Поэтому его нельзя выбросить из мировой культуры, его лучшие достижения вошли в учебный и научный арсенал не только российской, но и мировой общественно-экономической мысли.

Критическая переработка марксизма, отказ от его антидемократических компонентов и его обогащение за счет послемарксовых достижений мировой общественно-экономической мысли по примеру европейской социал-демократии могут сделать его могучим идейным оружием борьбы за демократию в наших условиях. В марксистской традиции есть много такого, что вооружает нас в этом направлении. Возьмем, например, идею признания социально-экономических прав трудящихся, без чего современная демократия невозможна. Именно это чрезвычайно актуально для сегодняшней России.

Мы не можем вывести свою страну из кризиса и направить ее по пути возрождения, если одна политическая сила на основе своих догм и пристрастий будет отсекал другую от этого процесса. Пребывание одних у власти, а других в оппозиции должно вести не к губительному расколу и враждующему противостоянию, не к подавлению одних другими, а взаимному признанию свободного выбора народа. Получившие большинство на выборах вступают во власть, меньшинство уходит в оппозицию не для того, чтобы ставить палки в колеса государственной машины, а для разработки и предложения альтернативных решений, составляющих шанс победы на следующих выборах.

Чуда от только что избранного президента ожидать не следует. Он не решит всех наших проблем. Нам следует требовать одного — создания и укрепления демократического механизма смены власти. От насилия как способа решения проблем мы должны отказаться навсегда. Нам надо идти другим путем — изменения Конституции таким образом, чтобы был гарантирован как приход к власти, так и уход по истечении положенного срока.

Вячеслав КУРИЦЫН

Великие мифы и скромные деконструкции

Наша тема: взаимодействие русской литературы с самой собой. Ряд новых текстов, появляющихся начиная с семидесятых и по сей день, тех текстов, с которыми часто связывается формирование актуального облика отечественной словесности, крепко связан и с великой русской традицией и часто возникает как результат диалога (спора, ругани, полемики, милой беседы, любви) с этой традицией. Наша цель — выяснить, какие именно главные мифы школьного учебника становятся предметом этого диалога.

Поэму Венедикта Ерофеева «Москва—Петушки» Андрей Зорин назвал «пра-текстом русского постмодернизма» — назвал в тексте, который никогда не был написан и от которого остался только след в программе конференции «Постмодернизм и мы» (1991). С тех пор «постмодернистность» поэмы стала общим местом — нам любопытно, на каких именно основаниях.

Несколько исследователей видят одно из таких оснований в юродстве героя поэмы (о юродстве писали О. Седакова, М. Липовецкий, М. Эпштейн), а юродивый смеясь плачет и переворачивает сущности, чтобы их обновить. «„Москва—Петушки„ становится переходным мостиком от духовного учительства русской классики к безудержной игре постмодернизма, а позиция юродивого как нельзя лучше соединяет в себе оба берега — и нравственную проповедь, и игровую свободу». Нам такой подход представляется если не излишне механистичным (два берега, средостение), то слишком публицистическим — он предполагает обращение к таким ненадежным, малодифференцированным категориям, как «духовность» и «игра». Во всяком случае, следует сказать, что такой подход существует.

Можно рассматривать поэму Ерофеева как «полистилистический» опыт — создание такого художественного поля, где мирно бы уживались евангельский, соцреалистический, народно-обценный мифы, а также «школьный» миф о мировой истории. Если у Сорокина такая работа производилась позже ради растворения любого дискурса в тотальном письме, где нет места авторскому отношению, то у Ерофеева дискурсы не столько уравниваются, сколько сопологаются (комический эффект в знаменитых рецептах коктейлей), а «отношение», пафос торчит из каждой строки. Но это не отношение, чреватое иерархией, оно как раз терпит веселую неудачу, пытаюсь основать иерархию («Если человеку по утрам бывает скверно, а вечером он полон и замыслов, и грез, и усилий — он очень дурной, этот человек... Вот уж если наоборот — если по утрам человек бодрится и весь в надеждах, а к вечеру его одолевает изнеможение — это уж точно человек дрянь, делега и посредственность... Конечно, бывают и такие, кому одинаково любо и утром, и вечером, и восходу они рады, и закату тоже рады, — так это уж точно мерзавцы, о них и говорить-то противно. Ну, а уж если кому одинаково скверно и утром, и вечером — тут уж я не знаю, что и сказать, это уж конченный подонок и мудазвон»), это абстрактное отношение вообще, пафос как таковой. Ему трудно разрешиться конкретной моралью: если у Сорокина насилие в финале текста понятно и естественно, поскольку являет собой просто сгущение тотальности всего корпуса письма, то у Ерофеева концовка выглядит вполне традиционно-трагически, то бишь поэма завершается предполагающим «серьезные» разговоры Большим (или Глубоким) Смыслом: итог, на наш взгляд, несколько неуклюжий (пафос-вообще свелся к пафосу, взыскующему конкретизации). Однако именно такой «серьезный» финал позволил поэме стать культурным текстом в глазах тех культурных слоев, что не мыслят культуру вне «духовной» проблематики (а эта традиция здесь невероятно сильна), позволив отечественному постмодернизму присвоить себе весьма статусный «пра-текст».

«Москва—Петушки» успешно интерпретируется в православном контексте: как с упором на проблематику юродства, так и без. Текст может быть прочитан с учетом проблематики эстетической реабилитации советской культуры. А. Зорин: «Слова, призванные служить лжи, расколдовываются, приручаются и делаются пригодными для человеческого употребления». Наконец, можно при желании говорить, что ерофеевский пафос утверждал частной-низкой практики перед духовной-высокой. Простое пьянство — вот что метафизично, а вся метафизика поверяется пьяной практикой. «Это я очень хорошо помню: был Гегель. Он говорил: „Нет различий, кроме различия в степени, между различными степенями и отсутствием различия,». То есть если перевести это на хороший язык: «Кто же сейчас не пьет?»

Предположим, что российский алкогольный миф — ключевой для «Москвы—Петушков». Его специфическую российскость автор подчеркивает неоднократно. «Почему-то никто в России не знает, отчего умер Пушкин, — а как очищается литература — это всякий знает», «Все ценные люди России, все нужные ей люди — все пили, как свиньи. А лишние, бестолковые — нет, не пили». Алкоголь — важная составляющая российского державного текста: чарки, кубки и водка как национальный символ. Показательно, что на рубеже девяносто пятого—девяносто шестого годов, когда поиски новой объединительной общенациональной идеи приобрели отчетливую ориентацию на советскую эстетику и даже на коммунистический если не идеал, то стиль, активизировался интерес к алкогольной тематике — в телевизоре стали модны программы про водку, в роскошно изданной книге «Здоровая чаша» приводятся знаменитые тосты Сталина и Хрущева и подробно сообщается, что когда пили в Кремле — от Грозного до Ельцина, а газета «Неделя», публикуя вполне информационный каталог российских напитков, придает этому безобидному акту специальный культурный статус: просит нескольких писателей сочинить к каталогу лирический комментарий. Е. Попов: «Эх, пуншики, пуншики родные! Когда я был молодым человеком, то потреблял их в больших количествах, особенно работая геологом вдали от больших городов. Так и вижу: стоят в поселковом магазине эти симпатичные бутылочки разного цвета малой крепости. Истинно, кто выпивание начал с пуншиков, тот не спился, а кто начал с одеколона — наоборот».

Не менее важен, однако, алкоголь как основа мифа андеграундного: читатели Ерофеева, легендарные поколения «дворников и сторожей», выработали культуру питья с глубоким политическим подтекстом — это означало не служить советской власти и, во-вторых, крепить узы романтической диссидентской дружбы. Где-то в месте встречи державной и неофициальной пьяных мифологем возникали милые артефакты вроде фильма «Ирония судьбы», чья мораль сводилась, в общем, к следующему: нажрись, как свинья, и обретешь счастье. Собственно говоря, цитата из Попова — артефакт того же рода.

Впервые поэма «Москва—Петушки» была опубликована — с сокращениями — в 1988—89 гг. в журнале «Трезвость и культура», где автор предисловия к публикации С. Чупринин описал ее как бичевание порока. В тех же тонах была выдержана рецензия В. Лакшина, где всерьез сообщалось следующее: «Повесть написана почти два десятилетия назад. И водка уже к тому времени была грозным бичом страны. Беду подтверждала даже официальная статистика. В СССР на душу населения в 1950 году приходилось 3,4 литра спирто-водочных изделий, в 1960 г. — 6,7 литра, в 1970-м — 9,5, в 1973-м — 10,2 литра...». Позже над такими вульгаризациями от души поиздевались некоторые болельщики поэмы. Мы, однако, считаем возможным вновь указать на антиалкогольный пафос «Москвы—Петушков».

Благодаря алкоголю герой поэмы не доехал до райских Петушков и принял смерть в адской Москве, но что в этом случае значит «благодаря алкоголю»? Заявленное с самого начала поэмы неумение героя обращаться с пространством связано с его откровенно пренебрежительным отношением к этому пространству, к миру феноменов вообще. «Но ведь не мог я пересечь Садовое кольцо, ничего не выпив? Не мог». Но откуда такая уверенность? Герой выступает перед нами в сильной позиции знающего наперед — он знает, какие отношения существуют между его «я» и Садовым кольцом: он не помнит чувственного факта, но поскольку знает заранее, постольку своему знанию доверяет больше, чем телу: не мог не выпить не потому, что тело стало на сто грамм тяжелее, а букет во рту пополнился новым ингредиентом, а потому что «не мог». «Значит, я еще чего-то пил».

В раннем кино был такой гэг — овеществление метафоры «залить глаза»: персонаж брал рюмку и выливал содержимое в глаз. После чего можно показывать, как видит этот персонаж мир: расплывчато до полной дезориентации. Веничка Ерофеев в прямом и переносном смысле слова залил глаза. Он не видит, что происходит вокруг.

Первый же абзац поэмы посвящен тому, что герой не может увидеть Кремль: с упором на невозможность увидеть, а не попасть к Кремлю. Вводя на кабельных работах в Шереметьево дни, посвященные игре в сикку, герой остается все с той же скромной визуальностью — «мы за сикой белого света не видим». Веничка сравни-

ваит себя с сосной, которая «смотрит только в небо, а что у нее под ногами — не видит и видеть не хочет». В Америке герой НЕ ВИДЕЛ ни одного негра. И так далее.

Жанр путешествия по железной дороге предполагает, казалось бы, какое-то внимание к пейзажу за окном. Тем более если учитывать в качестве интертекста поэмы «Путешествие из Петербурга в Москву», где рассказчик тем и занят, что описывает то, что видит окрест.

В нашей поэме герой, обижаясь на ангелов, говорит: «Я лучше сяду, к сердцу прижму чемоданчик и буду в окошко смотреть». На этом его интерес к окошку заканчивается — он не смотрит туда вообще. Солидную часть пути он даже проводит в тамбуре, где окна нет совсем. На протяжении всей железнодорожной поэмы нам ни разу не предлагается вид из окна, за исключением того случая в конце, когда герой видит проплывающую не с той стороны надпись «Покров» и понимает, что поезд идет соответственно не в ту сторону. Причем по сюжету посмотреть для этого в окно героя заставил сфинкс, а если считать, что сфинкс — порождение воображения героя, то это лишь усугубляет дело: сознанию его столь непривычен акт зрения, что оно вводит как бы другого, который подталкивает к совершению такого акта. Это о «картинке» в окне — помимо этого, герой смотрел туда еще однажды, чуть раньше, но обнаружил полную темноту, то есть невозможность проявить способность к зрению.

Та же неспособность сыграла, кстати, губительную роль в другом интертексте «Москвы—Петушков», в рассказе Амброза Бирса «Сальто мистера Свиддлера». Надо попасть из пункта А в пункт Б: из Москвы в Петушки или, в случае Бирса, из одного маленького городка в другой, где назначена казнь невинного человека и куда нужно доставить только что полученное в А помилование. Герой идет из А в Б по железнодорожному полотну, но успеваает как раз к казни. На полпути его догоняет местный придурок, паясничает, валит героя на землю и убегает дальше. Герой отряхивается и идет за ним. Как и в «Москве—Петушках», он не понимает до последней минуты, что продолжает движение в другую сторону. Он не смог УВИДЕТЬ пейзаж по двум сторонам полотна, не смог увидеть, что придурок побежал обратно в А. Слабое зрение означает смерть.

Если Веничка и проявляет склонность к зрению, то к прозрению, к зрению метафизическому, к способности увидеть больше, чем вещь, то есть просто-напросто не увидеть вещей. Он смотрит на приемщицу стеклопосуды, а видит сквозь нее остров Капри и Максима Горького, который велит не брать сдачи, то есть видит не видимый мир, а некую литературу. Сосна смотрит в небо. В позиции, из которой «удобнее всего рассмотреть», он застаёт себя лишь однажды, но предметом рассмотрения оказывается абстракция — истина как таковая. От господина он просит «света», то есть преодоленного зрения или дозрения. Даже когда в начале поэмы он успокаивает себя тем, что видит аптеку и то, как «п...р в коричневой куртке скребет тротуар», он принимает решение об ориентации в пространстве вне зависимости от того, чем оно наполнено, а в соответствии с абстрактными добродетелями: «Если хочешь идти налево, Веничка, иди налево, я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо — иди направо».

Единственное, на что Веничка все время смотрит, — это на глаза других персонажей поэмы. Причем глаза русского народа — напоминая, народа принципиально пьяного — Веничка описывает как малоспособные к активности, в том числе, можно предположить, и к зрительной. «Публика посмотрела в меня почти безучастно, круглыми и как будто ничем не занятыми глазами... Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые... Они постоянно навькате, но — никакого напряжения в них». Допустим, «нравится» потому, что и собственные глаза Венички, как правило, «ничем не заняты». Но в постоянном интересе к чужим глазам мы можем углядеть некое завистливое изживание своей неспособности к зрению, потребность в зрении: потребность, во-первых, зреть самому и потребность, во-вторых, видеть взгляд другого. Как можно видеть взгляд другого? Пример приведем из романа «Пушкинский дом», к которому мы обратимся после «Москвы—Петушков». «Взгляд его метался и скользил и все время как-то умудрялся обогнуть Леву, не попасть в глаза, и Лева показалось, что взгляд этот оставляет как бы вьющийся по комнате след, цвета белка, резиновый жгут». Такого зрения на зрение Ерофеев, конечно, представить себе не мог. Мы предполагаем, что он тянулся к нему (последнее предсмертное ощущение героя поэмы — именно зрительное), но не мог преодолеть слабости зрения. В поэме есть персонаж, который смотрит «такими синими, такими разбухшими глазами, что из обоих этих глаз, как из двух утопленников, влага течет ему прямо на сапоги». Веничка способен подчеркнуть брутальную физичность глаз и слез, но не может концептуализировать физичность собственно взгляда, имеющего свои отношения со временем и пространством.

Существует концепция, согласно которой переход от модернистского сознания к постмодернистскому есть переход от алкогольной культуры к наркотической. Алкогольная культура — это навязывание себя миру, с ударением и на «навязывание» и на «себя». Пьяная и модернистская культуры убеждены в цельности и значимости

«я». Героиня «Москвы—Петушков», которой по пьянке проломили череп, слышит от своей бабушки: «Вот видишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках своего „я,!“» Сам герой напрямую связывает алкоголь с цельностью личности: «Если б я сейчас выпил, я не был бы так расщеплен и разбросан...» В мифологию вошла пьяная фраза «Ты меня уважаешь?» — алкогольный человек требует признания значимости своей яйности. Более того, пьяная культура необычайно активна. Пьяному нужно все время что-то делать, куда-то идти, не сообразуясь со временем и пространством. Один из персонажей поэмы строит целую теорию, где, в частности, утверждает, что пьяный человек «подвижен и неистов». Он, как и модернист, агрессивен и жаждет изменить мир — в «Москве—Петушках» пьяная компания устраивает революцию в отдельно взятом районе и объявляет войну Норвегии (об этом писал в неопубликованной работе «Степаноразинское общество» А. Верников).

Наркотическая культура не изменяет, а ощущает мир: в наркотическом состоянии резко обостряются обоняние, осязание, зрение, вкус, материальность мира начинается восприниматься очень фактурно и пластично, как бы «медленно» и подробно, более того — начинает активно восприниматься собственное восприятие, что и порождает такие фигуры, как зрение на зрение. Кроме того, вовсе уже не представляется ценностью цельность личности, ценностью начинает казаться как раз возможность существовать в разных личностях, говорить с самых разных идеологических позиций, менять точки зрения и т. д. и т. п.

Нам ничто не мешает предположить, что трагедия Венички Ерофеева состоит, в частности, в том, что его наркотические интенции не могли быть последовательно воплощены в тех жестких алкогольных формах, в которых он волей судьбы и сюжета оказался. «Все на свете должно происходить медленно и неправильно», пусть примеров медленности и неправильности не так уж много (единственный, пожалуй, пример медленного зрения — сцена с виртуально падающей люстрой). Но, в общем, Веничка говорит достаточно много антиалкогольных текстов. Он вполне алкогольно активен, но последовательно критикует традиции активизма: и в знаменитой сентенции «Я согласился бы жить на земле целую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть место подвигу», и сомневаясь в статусе сверхчеловека, который «свалился бы после первого стакана охотничьей, так и не выпив второго», и унижая пьяное подвижничество районных революционеров, чьего переворота никто не заметил. Возможность человека пребывать в нескольких личностях («Может, я играл в бессмертную драму «Отелло, мавр венецианский»? Играл в одиночку и сразу во всех ролях? Я, например, изменил себе, своим убеждениям: вернее, я стал подозревать себя в измене самому себе и своим убеждениям: я себе нащептал про себя — о, такое нащептал! — о вот я, возлюбивший себя за муки, как самого себя,— я принял себя душить. Схватил себя за горло и душу. Да мало ли что я там делал?») он вспоминает, входя в вагон из тамбура и подозревая, что на него смотрят как на алкоголика, который в тамбуре пил и боролся с тошнотой, что вполне соответствует истине. Веничка считает почему-то нужным опровергнуть такую тупую трактовку, но он не думает: «Я не такая личность, я другая личность», он думает: «Я не такая личность, может, я могу быть сразу разными личностями»: смущение в алкоголе влечет за собой смущение в своей идентичности. Очень уместен текст: «стал подозревать себя в измене себе и своим убеждениям...»

В поведении героя поэмы очень много, так скажем, не-пьяного. На это обратил внимание М. Эпштейн, говоривший в связи с образом Венички о «потусторонней деликатности»: категория, сомневающаяся в статусе потусторонности вообще, ибо потустороннее любит проявлять себя только в активистской трансляции, что никак не соотносимо с деликатностью. Замечая, что герой поэмы «пьет больше своих предшественников, но уже не пьянеет и этим напоминает трезвого, только с другого конца, не до, а после», Эпштейн объясняет эту тяжкую формулу диалектикой похмелья, которое преодолевает активизм и трезвости, и пьяности. «Опьянение сбило спесь с трезвого, а протрезвление сбивает спесь с пьяного, и теперь, сквозь муки стыда, открывается третья стадия великого синтеза — похмелье». И хотя нам кажется использование известной триады в качестве объясняющей модели достаточно дурным тоном, мы все же полагаем, что это весьма остроумная попытка объяснить непьяность Венички в терминах пьяной культуры. Тем более что из всех трех предположенных состояний похмелье с его активным переживанием своей телесности ближе всего к состоянию наркотическому.

Важная особенность последнего — невозможность определения четкого основания для высказывания. Любая мысль, приходящая в голову, показавшаяся бы в другой ситуации «серьезной», быстро обнаруживает свою ненадежность и полную обусловленность контекстом, на место ее приходит следующее соображение, но и оно тут же «деконструируется» и т. д. После такого опыта меняется отношение к системности: систему можно строить ровным счетом на любом основании, и она не будет менее «правильна», чем любая другая система. Таковы легендарные графики в «Москве—Петушках», за которые героя сняли с бригадирства. Таковы загадки Сфинкса — «знаменитый ударник Алексей Стаханов два раза в день ходил по ма-

лой нужде и один раз в два дня — по большой. Когда же с ним случался запой, он четыре раза в день ходил по малой нужде и ни разу — по большой. Подсчитай, сколько раз в год ударник Алексей Стаханов сходил по малой нужде и сколько раз по большой нужде, если учесть, что у него триста двенадцать дней в году был запой». (Любопытно, что эти загадки имеют современный интертекст — «Задачник» детского писателя Г. Остера. «Пушкин родился в 1799 году, а Лермонтов на 15 лет позже. Сколько лет было бы Пушкину и Лермонтову вдвоем в 1850 году, если бы Мартынов и Дантес промазали?»)

Мемуаристы свидетельствуют, что уже не герой, а автор Ерофеев обладал тягой к ненормативному классификаторству. «Помню, например, длиннейший список нормальных температур диких и домашних животных, который он знал, как таблицу умножения (кошка? 37,8; лошадь? ...и т. п.). Любимым принципом упорядочивания был, кажется, простейший — календарный.

Каждое лето он вел дневник грибника. Возвратившись с добычей ... он открывал записную книжку и, тщательно рассортировав находки и пересчитав каждую кучку, вносил в соответствующие графы (далее таблица, сколько в какой день найдено отдельно белых, подберезовиков, свинушек, лисичек и сыроежек. — **В. К.**)

Такие отчеты он составлял из года в год и вдумчиво сопоставлял данные разных лет — по рыжикам на 3 августа, например. Фиксировал он и уличную температуру — ежедневно, в один час. Зная эту страсть, мы как-то подарили ему «Дневник наблюдений за природой» для начальной школы. И он честно заполнял все, что там требовалось: температуру, облачность, осадки, силу и направление ветра — на каждый день; даты прилета и отлета птиц, появления первых медвяниц и первых желтых листьев... Никакие внешние и внутренние обстоятельства не могли победить этой пунктуальности».

Отдельно обратим внимание на любовь к грибам — организму, вызывающему стойкие наркотические ассоциации. Но решающее слово, если здесь уместна такая конструкция, и в жизни, и в поэме осталось на стороне алкогольной культуры.

Очень важное значение водка играет и в другом уже упоминавшемся «мифологическом» тексте — в романе Андрея Битова «Пушкинский дом». Практически все концептуальные дискуссии и большинство ключевых сцен героя пьяны, очень пьяны или немного выпивши, алкоголь — принципиальная составляющая образов нескольких центральных персонажей (дядя Диккенс, дед). Нам известна только одна работа, где отмечена эта роль водки, что, в общем, несколько странно, соображение это лежит на поверхности (причина, видимо, в том, что русская критическая традиция нацелена на изъяснение Смыслов и достаточно равнодушна к непосредственной телесности). Автор этой работы К. Мамаев обращает внимание на две любопытные для нас вещи. Первое: «Водка... открывает в рационально-скептическом повествовании возможность пафоса», что весьма кстати при «деконструкции» мифа о великой русской литературе, ибо пафосность — одна из доминант этого мифа. Кроме того, Мамаев замечает, что пьяные люди в «Пушкинском доме» не опускаются (кроме последних глав) до «антиобщественного поведения», но теряют ответственность перед словом, порождают изрядный, заядлый, настойчивый текст, то бишь собственно литературу. Ту русскую литературу (по Мамаеву, «лит-ру»), выяснению отношений с которой роман и посвящен.

Поскольку сам роман эксплуатирует мотивы и темы школьной, в основном, литературы (названия частей и глав: «Что делать?», «Пролог»), «Отцы и дети», «Герой нашего времени», «Фаталист», «Невидимые глазом бесы», «Маскарад», «Дуэль», «Бедный всадник», «Выстрел», «Медные люди», «Двенадцать...»), то мы обозначим миф о русской литературе в самом тривиальном и зажеванном виде — как о литературе, замещающей социальную, духовную и философскую практику. Замещающей жизнь символической фигурой, свою и человеческую телесность рассматривающей в связи с метафизическим абсолютом. Речь не о том, такова ли «реальная» русская литература, а о том, что этот миф очень влиятелен, а особенно влиятелен именно в школе, то есть там, где во многом формируется вообще представление о культуре как системе.

Некую подчиненность-зависимость тела от концепта «русской литературы» эффектно описал Виктор Ерофеев в рассказе «Отщепенец»:

«Пушкин... Какое русское ухо не наострится при звуке этого священного звука?

Нет такого уха.

Гоголь... Какой русский глаз не блеснет от этого магического слова?

Нет такого глаза.

Достоевский... Какая русская душа не задохнется от одного только воспоминания о нем?..

Толстой... Какое русское сердце не забьется ускоренно при встрече с графом?

Блок... Какой русский мозг...

Лермонтов... Какое русское горло...»

Этот достаточно длинный список заканчивается обобщающим «великая русская литература» и соответствующей апелляцией к «обобщающей» же части тела, занимающей в своей облагороженной транскрипции достойное место в понятии «фаллоцентризм», понятии, описывающем как раз метафизическое господство активистского и абсолютистского Слова. Любопытно, что в «Пушкинском доме» мы встретим только что воспроизведенную риторическую фигуру, очевидно, совершенно органичную для описываемого мифа: «Там бережно хранятся, исследуются и т. д. рукописи и даже некоторые личные вещи, принадлежащие давно почившим, от одних имен которых не может не забиться всякое русское сердце».

Но поскольку великая русская литература духовна, соборна и питаема истиной, постольку она являет собой некий абсолютный смысл, смысл вообще, свет и святость в принципе, некоторую энергию истины, собственно Логос. Это вещь идеальная, закрытая, законченная, авторитет ее безусловен, — нас не лишают творчества, мы можем отнестись к этой вещи сколь угодно творчески, но наше творчество будет оцениваться по отношению к ее, этой вещи, готовому-состоявшемуся-уже-произшедшему смыслу. Возможно, миф принял именно такой вид при советском времени (когда утверждались Лучшие и Главные писатели, административно-абсолютные величины; манифестацией самого механизма и самой возможности такого утверждения была столетняя годовщина смерти как раз Пушкина), но важнее, что как-то он его принял. Дед говорит Лева: «Вот вы считаете, что семнадцатый год разрушил, разорил прежнюю культуру, а он как раз не разрушил, а законсервировал ее и сохранил... И авторитеты там замерли несдвинутые, неподвижные: там все на том же месте, от Державина до Блока». Допустим. Это и есть лит-ра.

Вот что значит традиционный концепт музея — вещь состоялась, обрела смысл, смысл закончился, произошел, завершен, закрыт, понят (или концептуализирован как непознаваемый), институирован — вещь отправляется в музей. «Мы склонны в этой повести, под сводами Пушкинского дома, следовать освященным, музейным традициям...».

Лева — хранитель концепта музея. Ему досталась, может, и не сладкая, и нелегкая, но вполне понятная судьба: с понятными ценностями, приоритетами и переживаниями. Лева ЗНАЕТ, какие чувства должно переживать не в опыте, ибо он способен мыслить смысл как готовый и где-то существующий: словно можно его брать и пользоваться. Смысл, по Лева, рождается не в контексте, не в процессе, не в мысли, а порождается, затвердевает и дальше существует как вещь. Лева ЗНАЕТ, по какой модели он должен встретиться с дедом или общаться с отцом, ибо эти модели описаны в литературе, они уже каким-то образом существуют — сами по себе, вне контекста. Впрочем, фактурнее всего его приверженность смыслу-вещи проявляется даже не в судьбоносных фрагментах, а в бытовых мелочах и культурных привычках.

«Из газет Лева любил читать некрологи ученых... В некрологах ученым находил он необыкновенно приятный тон благопристойности и почтения...» Подчеркивается, что именно ученым, а не политикам: автор объясняет это тем, что в семье о политике не принято было говорить-думать, мы предложим другое объяснение: политик имеет дело с жизнью, частью которой он является и которая никогда не закончена. Для него нет музейного смысла-вещи, на который можно смотреть со стороны. Мифология же науки предполагает цельный, готовый, закрытый объект, обладающий достаточной неизменностью и статичностью, чтобы о нем можно было вынести четкое, строгое, ценностное суждение. И тем более «правилен» мертвый ученый — он сам как смысл завершается, к нему уже ничего нельзя добавить, сочинение его некролога — это погружение его в витрину музея (эта тема труппа нам еще не раз пригодится). Строго говоря, и нежелание интеллигентной семьи говорить в тоталитарные годы о политике обеспечено фигурой музейности: есть некие готовые и надежные нравственные смыслы, которыми — в силу их готовности — мы можем пользоваться именно что как вещами, а в соприкосновении с тотальной политической практикой ни одного готового смысла нет, потому следует существовать вне этой практики.

Другой пример: маленького Леву «поразило у Тургенева слово «девицы» и что девицы эти время от времени пили «подслащенную воду». Воображая и прощая Тургеневу это, Лева полагал, что его время лучше тургеневского тем, что этих вещей в нем нет, тем, что в то время надо было быть таким великим, седым, красивым и бородатым, чтобы написать всего лишь то, что в наше время так хорошо усваивает такой маленький (пусть и очень способный) мальчик, как Лева». В Тургеневе есть два типа вещей: те, что благополучно сгинули (неправильные девицы) и те, что благополучно же — понятно — сохранились. Первые вещи не смогли обрести (для Левы) музейного статуса (ценности, авторитета и внятности либо непознаваемости: для подслащенной воды непознаваемость слишком жирна), потому они умерли правильно. Мудрое сегодня резонно их в себе не имеет. Не предполагается, что правильные вещи исчезнут, — мудрый музей этого не позволит. Зато предполагается власть музея над теми вещами, что в него попали: они попали в понятном,

классифицированном виде, музей не только закрывает, но и редуцирует смысл, смысл скручен и схвачен, он понятен ребенку.

На чем именно, на каком предмете Лева возмущается производимым им же самим вдвоем с Митишатьевым разгромом музея Пушкинского дома? На разбитой посмертной маске Пушкина — тут Лева опомнился, понял, что натворил. Но посмертная маска — апофеоз закрытого смысла. Во-первых, закрытым смыслом является сам труп — человек произошел, его можно изучать и концептуализировать. Во-вторых, нам мало закрытого смысла, снимая маску, мы еще хотим сберечь само закрытие: ведь посмертная маска фиксирует, сохраняет собственно смерть, или момент смерти, или тот эффект, что произвела смерть на некогда живое лицо, посмертная маска оставляет для истории торжество смерти, ее способность производить труп. В-третьих, посмертная маска — сильная трактовка статуса маски: она мыслится не как одна из возможных масок, не как нечто отличное от лица, изменяющее или искажающее лицо, то есть не как нечто открывающее возможность многих смыслов по поводу одного лица, — она мыслится как уподобление, как инструмент уподобления, повторения, а не различения, как запечатывание смысла через точное и окончательное — посмертность есть род достоверности — совпадение.

Любопытно, что и сам Лева Одоевцев мог синхронно восприниматься как сущее совпадение. Юрий Карабчиевский назвал его аж «типическим героем в типических обстоятельствах». «Речь идет о типе мышления, об особенностях восприятия, о системе реакции, которые отличают наше общество, точнее, интеллигенцию, еще точнее — поколение, родившееся в «роковом» году или около него». Это и есть концепт музея — мыслить поколениями и типическими обстоятельствами.

Рабочая и вполне грубая гипотеза состоит в следующем: роман посвящен тому, как молодой человек с представлениями о том, что существуют представления о мире, точные высказывания, некие истинные жесты, правильные поступки и музейные — то бишь проверенные веками и традициями — ценности, сталкивается с тем, что ни на что нельзя указать как на ценность, как на смысл-вещь, как на истинное представление, как, наконец, на состоявшийся и законченный текст.

Очень серьезный «разгром музея» — это встреча с дедом. Полная несостоятельность впрок заготовленной концепции встречи: тут дело даже не в том, что Лева приготовил не ту концепцию, а в том, что не бывает поведения истинного, а бывает только поведение уместное. Собственно говоря, главная претензия деда к условно обществу — то, что в нем, в обществе, излишне авторитетны представления о правильности/неправильности. «Значит, милочка, берешь кастрюлю, лучше такую, а не такую, зажигаешь огонь — во-от такой, посолишь столько, нарубишь того и сего, так и столько, положишь сначала то, потом уж то — не перепутай — борщ! вот если все так и сделаешь, как я сказала, то все и пальчики оближут и не нахвалятся... Как они любят перечисления того, что им понятно! как славно мыслить борщом, где все, как надо, уложено! ну, что за удовольствие жить в этом мире, когда все так складно получается...». Или о справедливости/несправедливости. «Я не принадлежу к этим ничтожным, без гордости, людям, которых сначала незаслуженно посадили, а потом заслуженно выпустили».

Лева говорит с дедом «из знания», из заранее существующего представления о таком разговоре — именно за это он получает от деда. Дед живет не существующими, а текущими словами: «Все, происходящее по судьбе с человеком, должно стать его жизнью... Я прекрасно работал, был хороший прораб, я умел думать материалом жизни, не все ли равно каким: словом или грунтом и стройматериалами». Даже территориально он живет не в музее: он получает в Ленинграде квартиру в окраинной новостройке, а Лева приезжает к нему из центра-музея.

Очень показательны в этом смысле похороны деда: «Все пришли к человеку, что-то когда-то написавшему, и скорбь походила на воодушевление по поводу, что он никогда уже больше ничего не напишет». Здесь мы можем не только повторить сказанное выше в связи с некрологами и посмертной маской (человек умер, смысл закрыт, с ним можно обращаться как с готовой вещью), но и добавить, что дополнительную ироничность этой ситуации придает бахтинский контекст. Битов пишет, что образ деда отчасти «навевя» судьбой Бахтина (вопрос о «похожести» деда на Бахтина нас сейчас совсем не волнует) — тем фактурнее ситуация, ибо Бахтин как раз отрицал закрытые смыслы, причем не только теоретически, но и сугубо «практически», всю жизнь примеряя разные именно «маски» — в их не посмертном, завершающем, а живом, дифференцирующем значении.

Другой мощный сюжет, размывающий представление о законченных смыслах, — история Левиных любовью, уроки того, что отношения не «существуют», а всегда определяются здесь-и-сейчас. Еще один — отношение к вещам, которое демонстрировал дядя Диккенс: вещь для него не объект, а субъект диалога. «Туалет его был повестью о природе вещей, и, казалось, он имел дело с самым понятием каждой вещи, а не с материальной ее формой. Когда он (дядя Диккенс) надевал рубашку, то он как бы понимал рубашку, повязывал галстук — это было то, как он понимает галстук». Наконец, такого же рода уроки — уроки того, что вещи не про-

сто существуют, а имеют очень конкретную историю своих отношений с человеком — могли проявляться и в сущих мелочах: дома у Левы «такие вещи, как подушки, простыни, вилки-ложки, тарелки, никогда не прибавлялись, не покупались (уже взрослым человеком, когда однокурники-молодожены затащили его в магазин и он чуть присутствовал при «обзаведении»), Лева очень удивился, что этих вещей у кого-то нет и что они продаются и покупаются».

Мы здесь не прослеживаем динамику «сдачи»левой музейных позиций. Стоит только еще отметить, что сдавал их Лева весьма неохотно. Его немножко двойник Митишатъев, воплощенная ситуативность, агитка симуляции, апофеоз невозможности хоть какой-то уверенности («Откуда такая убежденность, что все так, как ты думаешь?..» — «Я как раз все время сомневаюсь...» — «Откуда такая убежденность, что все так, как ты сомневаешься»), освобождал Леву от завороченности музейностью смыслов, то есть в известном смысле же воздействовал на него позитивно: и Лева, страшящийся освобождения, склонен демонизировать Митишатъева, мыслить его как можно противнее, в чем ему помогает автор, достаточно, впрочем, неуклюже слипающийся в этом нашем рассуждении с героем.

Но результат как бы известен: бунт, разгром музея, и не метафорический, а буквальный. Начал разгром именно Лева, а не Митишатъев. Несколькими страницами раньше Лева предпринимал другую попытку войти в музей. Утверждая нечто научное по поводу мраморного/немраморного льва, Лева покидает музейную позицию исследователя-субъекта, внеположенного объекту, покидает в прямом смысле слова — садится на льва. Входит в объект. Он делает из себя цитату: из филолога, изучающего текст русской литературы, он становится частью текста — такой же, как медный всадник на медном коне, как бедный Евгений на мраморном льве (в скобках можно заметить, что это еще и каламбурный жест: Лев на льве, который сам является цитатой пушкинского льва).

Впрочем, в деле превращения мертвого музея в живой, закрытого смысла в открытый, завершенности в принципиальную незавершенность Битов преуспел больше своего героя. Во-первых, структура романа принципиально разомкнута в самые разные стороны. Пример рассовещения — история «души» (первая часть) и история «тела» (вторая часть), два повествования об одном и том же времени, которые ухитряются практически не пересекаться, — Битов отказывается от обобщающего, синтетического высказывания. Далее — вариативность повествования, большое количество версий сюжета: собственно, мы так и не знаем, что «на самом деле» произошло, погиб Лева или остался жить. Далее: неопределенность границ романа — отдельно существует комментарий, отдельно выходила книга «Статьи из романа» (где наряду со статьями «из романа» были статьи, к нему отношения не имеющие), масса вставных текстов, некоторые из которых могут существовать самостоятельно, наконец, концептуализация открытости структуры: «Чтобы можно было, отложив роман, читать свежую и несвежую газету и, наоборот, отложив газету, полагать, что и не прерывались читать роман».

Во-вторых, отказ Битова от завершающей авторской позиции, в пользу разомкнутости вопроса об авторстве. Книгу написало очень много людей. В ней есть рассказы дяди Диккенса и эссе деда (по-моему, рассказы славные, а эссе слабые, но я встречал в критике ровно противоположную оценку, что только укрепляет чехарду точек зрения, если чехарду можно укрепить). Цитаты из словаря Даля и газеты («как появляется в Каракалпакки сонет и какие особые национальные признаки каракалпакского сонета?»). Статья Левы о трех поэтах (мне кажется, один из немногих удачных примеров «интертекстуальной» работы на русском языке, о чем — разговор отдельный). Да и у основного текста романа и комментариев — несколько разные рассказчики.

Автолитературоведение, рефлексия над собственным авторством, сопровождает весь текст «Пушкинского дома». Вот одно из наиболее идеологически внятных рассуждений такого рода. «Нас всегда занимало, с самых детских, непосредственных пор, где прятался автор, когда подсматривал сцену, которую описывает». Когда место для подсматривающего предполагается или хотя бы может быть помыслено — все в порядке. «Зато сколь сомнительны, именно в этом смысле, объективно-реалистические решения, почитающиеся как раз собственно реализмом, где все выдается за «как есть», за «как было на самом деле», путем именно устранения той щелочки или скважины, в которую подсматривает автор, тщательного ее замазывания и занавешивания». Сомнительна, собственно, внеаходимость. Сомнителен субъект, нависший над внеположенным объектом: это претензия на обладание абсолютной точкой отсчета. Жизнь конкретна — тот, кто говорит не вообще, а из внятного единственного пространства и времени.

Битов предлагает нам и конкретный вариант «живого музея»: комментарии «Близкое ретро». Экспонатами этого музея становятся вещи и понятия, не обладающие безусловной исторической или эстетической ценностью: «Автора вдруг осенило, что в последующее небытие канут как раз общеизвестные вещи, о которых современный писатель не считал необходимым распространяться: цены, чемпионы,

популярные песни...». Комментируются «раскидайчик» и бритва «жилетт», обращается внимание на всякие смешные и очень временные понятия вроде «встречаться». Так меняется статус музея — он интересуется уже не «завершенными», «важными» вещами, а вещами трудноуловимыми, случайными, непринципиальными — теми, что и составляют «воздух эпохи», вкус конкретной жизни.

Схожую концепцию — но уже не текста-музея, а собственно музея, «лирического музея», «мемориала вещей» — мы найдем у М. Эпштейна. Это музей, экспонатами которого должны быть «вещи повседневного быта, повсеместного распространения, лишенные особой материальной, исторической или художественной ценности». Но эта «вещь обладает или может обладать лирической ценностью. Это зависит от степени пережитости и осмысленности данной вещи, от того, насколько освоена она в духовном опыте владельца». Таким образом, переживание экспонента, окутывающее вещь, тоже становится экспонатом: это и есть тот живой музей, в котором субъект не противопоставлен предмету, в котором они находятся в конкретных и теплых отношениях. Собственно говоря, эту проблематику — рядовой вещи — активно осваивало искусство концептуализма. Любовь к истории простых вещей — устойчивый мотив прозы, например, А. Кабакова: бутылка, «заткнутая свернутым газетным обрывком и обмотанная поверх него синей пластиковой изолентой, тогда еще только в военной промышленности появившейся, — прочие пользовались черной матерчатой», подстаканники «с выдавленными на них буквами «МПС» и изображениями локомотивов, здания МГУ на Ленинских горах и главного входа на ВДНХ».

В 1969 году (когда писал свой роман Битов) вышла книга Ж. Бодрийяра «Система объектов» (русский перевод — «Система вещей»), где, в частности, концептуализировались новые отношения вещи и человека: если раньше вещь переживала несколько поколений владельцев, то теперь в течение одной человеческой жизни сменяется несколько поколений вещей, что, очевидно, должно было серьезно повлиять на наши отношения с миром. Позже многие повторяли это наблюдение Бодрийяра — см., например, высказывания немецкого ученого Г. Люббе «о сокращении нашего пребывания в настоящем», касающиеся не только вещей, но и структуры отношений: инновации, чье количество возрастает, уменьшают расстояние до того прошлого, которое во многих отношениях уже устарело, — об этом должен свидетельствовать красивый немецкий термин *innovationsverdichtungsabhängige Gegenwartsschrumpfung*. Мы приводим его здесь не столько как концепт, сколько как убедительную визуальность.

Свою концепцию новой мемориальности М. Эпштейн выводит, в общем, из того же самого соображения: «Не вещь меняет хозяев, а хозяин — вещи». «Укоротив срок пользования вещью, человек отчасти снял с нее бремя памяти, но тем самым переложил его на себя». Если в начале века культура стремилась сберечь вещь, атакуемую революционными покорителями бездн, то теперь уже эволюция стремится укоротить наши отношения с конкретной вещью, обнажая ценность и важность этих отношений.

В двух словах — собственно в музейной практике ныне также в моде теории, размывающие границу между «экспонентом» и «экспонатом», предлагающие реальный контакт человека и вещи. Это концепции «новой музеологии» (музей делают не специалисты, а население общины или местности) и «экомuzeя» (люди живут крестьянским, допустим, хозяйством позапрошлого века, являясь одновременно объектом для туристов). Раздаются лозунги типа «Будущее за «демузеизацией» — музеи превращают в учебные центры и даже в промышленные предприятия по своему профилю. Расхожими становятся рассуждения, что музеи должны идеологически двигаться в сторону библиотеки (от закрытой вещи и «научной» классификации к доступной вещи и случайной — алфавитной — классификации). Музей превращается в аттракцион (в римском городе ты сам можешь слепить хлеб, поставить его в древнюю печь и съесть после экскурсии, в лондонском музее естественной истории ты можешь войти внутрь модели листа, увеличенного в 8000 раз, особо сильно аттракционизация в экспонировании еще не отстоявшегося в музеи современного искусства: в нынешней Москве были выставки, на которых произведения возили по залу на колесиках, держали на вытянутых руках спрятанные за фальшстенной солдатой и т. д.). Практики, озабоченные сохранностью экспонатов, тревожатся, что «в последнее время сохраняется тенденция выставлять памятники без витрин»; более мягкий вариант этой тенденции — стремление к незаметности витрин: наивное, но показательное свидетельство потребности в диалоге между вещью и человеком. Статья о необходимости диалогизации музейных отношений появилась, что особо забавно в связи с некоторыми нашими пассажирами, в бахтинском журнале «Диалог. Карнавал. Хронотоп».

Вернемся, однако, еще раз к самому «Пушкинскому дому»: к очень любопытному статусу собственно разгрома музея. Осознав случившееся, Лева ужаснулся и бросился наводить порядок: совершенно фантастическим образом это ему удалось, после праздников музей встретил сотрудников в том же виде, в каком их на празд-

ники проводил. Но был ли в таком случае разгром — если никаких последствий? Или он был только для Левы и Митишатъева, и если учитывать известную «дополнительность» Митишатъева по отношению к Левае, то только для Левы? Но если разгром был только для Левы, то чем он отличается от фантазии или сна? Чем случившееся отличается от неслучившегося?

Игорь П. Смирнов обращает внимание на особый тип постмодернистского сюжета: не-событие как событие и наоборот («В рассказе Е. Попова «Кто-то был, приходил и ушел» героиня не в силах установить, посещали ли ее жилье сотрудники КГБ с целью негласного обыска, и в конце концов эмигрирует», «Одному из двух осужденных на пожизненное заключение персонажей в пьесе Бродского «Мрамор» удается убежать из тюрьмы, после чего он добровольно приходит назад, купив корм для канарейки»).

Еще более яркий пример мы обнаружим в книге Роберта Ирвина «Арабский кошмар». Это название одной весьма странной болезни — большой всю ночь испытывает страшные мучения, а просыпаясь, не помнит об этом. Можно прожить жизнь и не знать, что во сне ты испытываешь нечеловеческие пытки. По каким-то очень периферийным признакам (типа густоты воздуха) люди догадываются, что в городе появился большой арабским кошмаром, но нельзя увидеть этого больного в себе.

Все эти фигуры — сомнение в том, что «реальное» четко отделено от «виртуального». Твои самые сугубые действия (разгром музея) могут оставаться вполне литературой, в то время как можно не предполагать, какой сильной «виртуальной» жизнью ты живешь параллельно с рядовой «реальной» (арабский кошмар). Везде пустота существует вместе с непустотой, и часто различающим фактором оказывается только наш текст. В «Преподавателе симметрии» описана фотография: «Ящик с головой Марии Стюарт... Нет же, это не просто ящик из-под головы. Голова в этот момент, когда было снято, там, внутри».

«Пушкинский дом» был только первым романом в длинном ряду постмодернистской литературы о русской литературе и русской истории как священном тексте: принципиальность этого мифа для отечественного сознания обеспечила множество деконструкций — «Сундучок Милашевича» Марка Харитонов, «Рос и я» Михаила Берга, «Роммат» Вячеслава Пьецуха, «Голова Гоголя» Анатолия Королева, «Накануне накануне» Евгения Попова, «Великий поход за освобождение Индии» Валерия Залотухи и т. д. и т. п.

Особо радикально ставит вопрос о текстуальности истории Владимир Шаров в романе «До и во время». Если оттепельно-перестроечные исторические романы были призваны обнаружить истинный облик истории, убрать из ее описания обман и расчитать истинную верную дорогу к Храму, то постмодернистское сознание рассматривает Историю прежде всего как рассказывание историй, как увлекательный текст — отнюдь не священный, конструируемый по законам художественным, в связи с идеологической надобностью, в ладу с тем или иным психическим расстройством, но никак не имеющий отношения к категории «как это было на самом деле». В романе Шарова много сочных примеров такой тотальной текстуализации истории.

Вот два — один предельно «серьезный», касающийся самых горячих смыслов истории и морали, второй — совсем игрушечный, почти юмористический.

Первый — «Повесть о повешенном», еврейский текст одиннадцатого века об одном самоуверенном юноше из Назарета, который, украв из ковчега Завета талисман и зашив его себе в бедро, стал побеждать в спорах самых образованных раввинов. Тем самым он получил очень много приверженцев, считавших, что на землю явился Богочеловек. Противостоя распространению ереси, Синедрион вручил такой же талисман благонравному раввину, который быстро стал побеждать Христа в диспутах, ученики от последнего отвернулись, и он был повешен правверными евреями. Но смерть Христа воскресила веру в него и в его чудесное воскресение. Тысячи иноземцев принимали крещение и начинали думать, что они евреи. Синедрион испугался, что иудейский мир утонет в количестве христиан, а потому поручил двум самым грамотным раввинам (мы знаем их как апостолов Петра и Павла) сочинить христианское вероучение, ТЕКСТ, чтобы всем стало ясно, что это не имеет отношения к иудаизму. Сочиняя христианство, Петр и Павел не отступили от строгих правил кашрута: ели, жили и были похоронены как правверные иудеи.

Об этой повести рассказывает один из героев «До и во время» — слушатели возмущаются: но ведь тем самым евреи создали лжеверу для непосвященных, два раввина увели людей по ложной дороге, не пустили их к Богу.

Но оправдание евреев оказывается еще более неожиданным. «Эта повесть — ложь, самоговор, что бы ни думал о ней сам автор. И я вам скажу, почему евреи оговорили себя. Для них это было страшное время — десятый и одиннадцатый век... Многие общины в Англии, в Германии да и в других странах тогда погибли целиком, убиты были все: от грудных младенцев до стариков. Поймите, даже вера не может

выдержать, когда убивают всех до последнего... И тогда евреи решили, что или Бога вообще нет, потому что Бог не мог создать такой мир, или чаша грехов переполнилась и завтра все будет уничтожено. И они захотели спасти христиан, христиан, которые их убивали, и спасти мир, потому что то, ради чего он был создан, еще не исполнено. Они не могли больше погибать невинными — и они оговорили себя. Они взяли на себя такой грех, что, сколько бы страданий ни выпало на их долю, все будет мало. Они восстановили справедливость, уравнили мир, зло теперь не просто жило в нем — оно было воздаянием за грех. Они сказали Господу, что виновны сами, сказали так, что он поверил им и простил христиан.

Текст в истории не «вторичен», текст не фиксирует, а обеспечивает положение вещей: он не просто порождает отношение к «реальности» или какие-то фрагменты «реальности», а саму мировую гармонию — равновесие греха и воздаяния и точку зрения Бога. Не точка зрения Бога («Логос») обеспечивает существование текста: Бог и текст соотносятся как два любых текста. Священный текст христианства не дан небом, это только симуляция священного текста. Бог оказывается функцией текстуальных тактик разных социальных групп (вплоть до того, что Бог не может сам принимать решения, ему надо подсказывать). Тип речи обусловлен не истиной и не высшей точкой зрения, а локальной ситуацией.

Вот второй пример — подчеркнуто «сниженный».

«Запах ванили — это запах моего детства... так пахли и моя мать, и бабушка, и наш дом — словом, все, что было в моей жизни хорошим и добрым. Свои первые шесть лет я провел на улице «Правды»... напротив огромного кондитерского комбината «Большевик», отсюда и шел этот дух, и я, сколько себя помню, всегда был уверен, что комбинат потому носит это имя, что большевики такими и были — мягкими, сдобными и сладкими...

...В три года я узнал, что наборы конфет выпускает фабрика, называющаяся «Большевичка», и это окончательно утвердило мое представление о большевиках — все равно, кто они — мужчины или женщины...

Уже после института, в сущности, взрослый мужик и достаточно опытный журналист, я всякий раз, как мне приходилось писать о большевиках, невольно делал их мягкими и сладкими...».

Но что важно: любая такая фигура мысли, речи или предпочтения действительна только внутри своей уникальной ситуации. Нет механизма, с помощью которого ее можно внедрить в соседний дискурс. Попытка отнестись к истории (к тому, что дано нам текстом) как к жизни (по принципу «как это было на самом деле») несостоятельна постольку, поскольку жизнь и текст иноприродны, действуют по своим автономным правилам: так же и текст не может быть аналогом или заменителем жизни. Герой Шарова — в русле традиции возвышенного доверия к Священному Тексту — часто считает, что он способен заместить жизнь. Старая женщина, пишущая воспоминание, записывая кусок жизни, тут же его забывает — он как бы уходит в текст. Главный герой считает себя обязанным перед несколькими умершими друзьями — помнить их, поскольку больше никому о них помнить и тем самым «сохранить» их.

Очень трогательное, человеческое, теплое ощущение — желание «сохранить». Но, увы, нам придется говорить о нем как о слишком идеальном, а в контексте романа даже и опасном. Это ощущение игнорирует дифференцию: умирает человек, сохранить можно только образ или воспоминание, однако герои Шарова убеждены, что можно сохранить именно человека — в идеальном плане. И когда наступает пора конкретизировать этот план, он оборачивается утопическими проектами типа воскрешения умерших.

Мы можем описывать роман «До и во время» как своего рода художественный вариант концепции «авангардной парадигмы», согласно которой крупнейшие гуманитарные проекты конца девятнадцатого — первой трети двадцатого века могут рассматриваться, несмотря на все различия, как единый идейно-интенционный комплекс. Космизм и символизм, русский авангард и соцреализм имеют множество серьезных общих черт: возведение нового абсолюта на опустевших после смерти Бога небесах, ориентация на «космические» и прочие запредельные ценности, перделка мира и человека, конструирование метасмысла и т. д. и т. п.

Русская история этой эпохи, по Шарову, концентрируется вокруг Жермены де Сталь — женщины, дарующей власть всякому, кто вступает с ней в близкие отношения, но не способной получить власть для самой себя. Де Сталь обладает секретом воспроизводства собственной жизни: когда приходит время умирать, она может родить саму себя и продолжить жизнь в новом облике; Впрочем, в общем может прожить только три жизни. Первую она проводит во Франции, являясь одной из активных деятельниц Французской революции, но потом понимает, что главные революционные упования следует перенести на Россию, и следующие две жизни живет в этой стране. Богатая и удачливая помещица, она не бежит из деревни даже во время эпидемии холеры 1851 года — только, чтобы обезопасить себя от заразы, передвигается по полям в специально сконструированном паланкине, закрытом со всех

сторон богемским стеклом. Однажды ее встречает в такой упаковке молодой незаконнорожденный дворянин Николай Федоров, принимает ее за мертвую царевну в хрустальном гробу (де Сталь в момент встречи спала), влюбляется в нее и считает своим долгом разрушить чары и вернуть царевну к жизни. Со временем де Сталь делает Федорова (находящегося в опийном сне) своим любовником, и за счет этих отношений теория его углубляется и превращается в знаменитые планы воскрешения отцов. Потом де Сталь порывает с Федоровым, рождает (уже в следующей жизни) от одного грузинского князя ребенка, которого в ее честь называют Сталиным, переезжает в Москву и начинает активно помогать деньгами революционному движению.

К тому времени Федоров уже возглавляет одну из революционных партий — наиболее, по мнению де Сталь, перспективную, поскольку наиболее продвинутой в своих претензиях на переделку всего мироздания. Но Федоров — пророк, а не мессия — не может возглавить революцию. Де Сталь уговаривает его уйти (имитируется смерть Федорова). Партию возглавил Владимир Соловьев, учивший, что Акт Творения был выпадением земного мира из Абсолюта, но рано или поздно мир вновь с этим абсолютном сольется, вернется на «новое небо» и «новую землю». Еще позже Соловьев сменил на этом посту любовник де Сталь Александр Скрябин, сочиняющий «Мистерию», синкретическое произведение, соединяющее поэзию, музыку, революционный смерч и всемирный половой акт. «Мистерия» будет взрывом, который унесет миллионы жизней, после чего наступит абсолютное счастье. Практическое осуществление своей «Мистерии» Скрябин передает Ленину, который записывает ее специальным шифром (нам тайная запись «Мистерии» известна под именем книги «Государство и революция»), что и позволило ему вскоре разыграть революцию «как по нотам». Еще позже к власти приходит сын, а теперь и любовник де Сталь Сталин, и она, будучи уверенной, что коммунизм — строй совершенных людей и что надо потому убивать несовершеннолетних, провоцирует Сталина, этого робкого и доброго человека, на массовые репрессии...

Разные концепты «авангардной парадигмы» возникают в повествовании постоянно. Большую роль в планах Революции играет Институт Природной Гениальности, должный обеспечить заселение России гениями (мотив переделки человека — в «сверхчеловека» ли символизма или в «нового человека» коммунистов). Но гений рождается в экстремальных условиях, а потому нужна стимуляция процесса в виде организации голода, хаоса, убийств и так далее. Герои Шарова в своих дерзновенных планах хотя не сравнятся с Богом, а занять его место, потому Бог в романе часто слаб или попросту лукав и неискренен. Программа-максимум организаторов Института Природной Гениальности: «возвращение самим человеком, а не Богом, всего человеческого рода в рай». Федоров обвиняет Бога в коварстве: Он внушил человеку, что каждая человеческая душа важна для Него, но постоянно обманывает человека, не приходя ему на помощь и позволяя в мире наличие зла. А вера в нравственный абсолют логично приводит к насилию: по Шарову, самыми жестокими следователями НКВД были бывшие толстовцы, в которых было больше честности, искренности и идеализма и которые, переделав себя, с брезгливостью относились к обыденным ценностям и чужому нежеланию «переделываться». Постоянная тема Шарова — возможность и допустимость феномена «учительства». Учитель — тот, кто постиг истину и обрел нравственную чистоту, но те, кто рядом с ним, не готовы к этой чистоте, и он, видя, что его лучшие, прекрасные знания отвергаются и не принимаются, естественно проникается чувством глубокого несовершенства мира и приходит к идее его переустройства, а следом и к идее насилия.

Идея учительства — это идея линейного спрямления. Если есть абсолют, то знание о нем может быть последовательно передано как эстафета, как готовый предмет. Одна из претензий Федорова к Богу — то, что Он лишил детей права наследования приобретенного родителями знания, «что дети все начинали сначала». Такой дар продолжения знания дан мадам Революции — де Сталь, которая живет следующей жизнью, помня о предыдущей. Но такая операция последовательной передачи возможна лишь с закрытым, целокупным смыслом. Шаров же неоднократно возвращается к невозможности или некорректности такой целокупности. Сладчайший плод на дереве греха — это плод конца пути, плод знания, ответа. Язык, на котором было написано Пятикнижие Моисеево, был другим языком: все слова там имели множество значений, это не была книга, возвещавшая закрытую истину, а книга, которую можно было прочесть самыми разными способами.

Конечно, роман Шарова мы не склонны оценивать как «пропостмодернистскую» иллюстрацию благости открытых и неблагости закрытых смыслов, как демонстрацию того, что авангардное стремление к новой истине на новом небе приводит к взрыву и крови. Приводит, но Шаров не склонен порицать авангардные идеи, напротив, он горячо любит своих героев, рисует их едва не святыми и всячески подчеркивает, что чувства и помыслы были чисты и прекрасны. Это не «урок» модернизму, а скорее отношение к истории как к живой идее, правила обращения к которой меняются от эпохи к эпохе (мы бы сказали, «от парадигмы к парадигме»).

«Когда-то человек думал, что может спастись, вернуться в Рай сам, без помощи Бога, вернуться, построив Вавилонскую башню», потом «решил повторить Его в другом — призвать потоп и покончить со злом», в постмодернистскую эпоху он полагает решать свои проблемы не в Раю, а на земле, которая больше не мыслится как несовершенная, вернее, несовершенство не мыслится как подлежащее радикальному преодолению. Но Шаров не склонен концептуализировать свою дистанцию от предыдущей традиции, которая теперь представляется гениальным материалом для волшебных сказок.

Для одного из младших представителей ряда — Игоря Яркевича — эта дистанция, напротив, оказывается объектом специальной рефлексии.

Аннотация на клапане его первой книги гласит: «Даже сами названия рассказов Игоря Яркевича — «Солженицын, или Голос из подполья», «Окуджава, или Голос из бездны», «Как я обосрался» и «Как меня не изнасиловали» — не могут оставить равнодушными. Шок, удивление, отвращение, восторг вызывают эксперименты автора со словом и смыслом, забавные повороты сюжета. Игорь Яркевич стремится выбить читателя из привычно-обыденного, дает возможность взглянуть на самих себя и окружающий мир с другой точки зрения и в другом ракурсе и благодаря этой встряске что-то понять, переосмыслить». Добавим, что позже Яркевич опубликовал роман «Как я занимался онанизмом», и зададимся вопросом: с какой же такой другой точки зрения он позволяет смотреть?

Яркевич деконструирует миф о маленьком человеке: бедном, униженном и оскорбленном. В школьной литературной мифологии маленький человек — это тот, на защиту которого она, литература, встает со всем присущим ей человеко- и добролюбием. Маленький человек в этом мифе — объект жалости и спасения, защиты или нравственного излечения. Даже у Достоевского, где повествование может идти от лица самих маленьких людей, вполне жив эффект Великой Литературы: это она повествует о маленьких, она печется о них, а фигура рассказчика — композиционный, допустим, прием (вошедшая в апокриф реакция на появление Достоевского — «Новый Гоголь явился» — фиксирует явление нового в ряду великих, а не маленьких).

Герой Яркевича — маленький человек, занимающийся сказано чем Яркевич, который находится с русской литературой в других отношениях: он от нее пострадавший. Во-первых, она давит его своей великой субъектностью — желанием спасти, в то время как право на спасение — если речь о спасении духовном — предполагает в спасающем претензии на некий абсолют. Во-вторых, она давит собственно величием, своей возвышенностью и мощью, чем явно противостоит идее маленького человека, который хотел бы отстаивать прежде всего свои маленькие, частные ценности.

Любопытно, что в эпоху перестроечной ревизии русской истории и русской литературы одной из самых ярких оказалась дискуссия о том, не явилась ли великая отечественная словесность прямой виновницей революции и всех последующих страданий: снимая малокорректные тезисы об ответственности и вине и момент детерминированности истории текстами, можно признать, что в плане определения контекста эта точка зрения может быть признана родственной некоторым нашим построениям.

В первом рассказе первой книги герой Яркевича еще сохраняет известный союз с русской литературой: молодой филолог ходит по городу с романом «Воскресение» и с самим Толстым (то ли в башке, то ли виртуальным) и «мочит» всех подряд — особенно тех, кто продает неформальную прессу, мочит непосредственно романом (самым абсолютистским и «учительским» из больших текстов Толстого). Союз с русской литературой закончился тем, что герой замочил самого себя, Толстой ушел, хлопнув дверью, а автор проводил русскую литературу на заслуженный отдых.

Что, впрочем, не мешает ему во всех следующих текстах ежеминутно ощущать ее величественный гнет. Даже кагэбэшные пункты по отлову лиц с определенными привычками расположены в редакции литературно-художественных журналов — в «Юности» центральный по субъективно отлову, а в «Знамени» и «Дружбе народов», «чьи откровенно эротичные названия так манят онанизмом», — пункты по расстрелу на месте.

Герой ревнует любимую к диссертации о Февральской революции. Ревнует Солженицына и Окуджаву к тому, что они живут в большом мире правды и духа, а он, бедный известно кто, живет в метафизическом заднем месте. Гомосексуалисты начинают говорить с ним об изящном лишь для того, чтобы его изнасиловать. Как только заходит речь об истории-культуре России или о чем-нибудь высоком, наш герой оказывается униженным и растоптанным.

Его собственные попытки пойти навстречу великой русской литературе заканчиваются не очень успешно. Вот герой пытается знакомить своего пригорюнившегося членчика с современной словесностью. «Мы стали читать вслух известный ро-

ман Владимова «Верный Руслан», одно из самых ярких произведений социалистического реализма за последние сто пятьдесят лет.

Мрачная лагерная экзистенция показана глазами собаки, охраняющей одно из пенитенциарных учреждений, разбросанных повсюду в бескрайней Сибири. Расстрелы, голод, комары, а как следствие — невразумительный печальный итог, писатель, объяснил я членчику, не оракул, он только спрашивает.

Членчик смотрел на меня недоуменно. «Действительно, — подумал я, — зачем ему головку морочить, что ему вся эта Сибирь?»

Но я не сдавался, и мы принялись за роман Войновича «Иван Чонкин», одно из самых замечательных произведений социалистического реализма за последние сто лет.

Остро и сочно нарисована автором абсурдность нашей жизни при Сталине. Несколько раз действие вступает в дерьмо, а потом дерьмо уже само вступает в действие и является фундаментом нескольких сцен. Автор, рассказал я дураку членчику, сатирик, поэтому без дерьма он никак не может.

Членчик пригорюнился и отвернулся».

Мы, собственно, встречаемся здесь с последним из персонажей «Отщепенца» Вик. Ерофеева: «Великая русская литература... какой русский... не встанет со своего места под музыку этого национального гимна? есть один такой... Мы встанем, а он не встанет. Мы все встанем, кроме него. Одинокий, жалкий, занедуживший...». Появились культурные группы (поколения?), которым вполне безразличен, скучен концепт великой русской литературы.

Но тотальность традиции и тотальность общественного устройства, грандиозный — возможно, агонический — всплеск нервной любви к этому концепту (восьмидесятые годы, вторая их половина) заставляет «отщепенца» Яркевича мотивировать себя контекстом ВРЛ, ревновать к ее — и впрямь не очень желанному — телу, строить образ маргинала этой великой традиции.

Маргинальность у Яркевича — категория не историческая (бедный чиновник, не пущенный к столу, бедный изгой-писатель), не социально-концептуальная (пафос семидесятых: настоящий писатель должен сидеть в подвале), а скорее онтологическая: по отношению к чудовищу ВРЛ и невозможно занять никакой иной позиции, кроме позиции неправоты. Ибо позиция ВРЛ — собственно правота как таковая. «Когда бы я был Солжем, я бы написал много больших по формату и содержанию произведений, а среди них — «Один день Ивана Денисовича», первую ласточку начала приближения ожидания конца. Тогда бы я видел совсем другое, чем многие, в окружающем меня мире, знал бы, где что, — где есть правда, а где нет правды, и почему нет, и что надо сделать, чтобы была, и как вообще быть дальше — а так я, бедный онанист, ничего не знаю и уже давно во всем запутался».

Но при этом — вполне в духе постмодернистской идеологии — Яркевич утверждает, что позиция не-правоты не менее концептуальна и важна, чем позиция «правоты» и что «Общество должно беречь своих...». «Вот про Булата все знали всегда, что он будет петь. Про меня тоже все знали, что я буду сидеть в ..., но никто не знал, сколько времени конкретно я там проведу и что именно я там буду делать. Когда Булат впервые запел, все задумались и очень обрадовались, а вот когда я сел в ..., никто не обрадовался, хотя по значению для дальнейшего развития советского общества это событие было настолько же значительное, как и то, когда впервые запел Булат».

Значительность этого события — в обнаружении пространства сугубо частного, возможность культурных проектов, столь же значимых, как, допустим, служение высшим ценностям. Медицинско-бытовая метафора, предложенная Яркевичем: универсальная практика, не имеющая универсального актанта. Таких практик столько же, сколько воля к ним. Так, очевидно, нельзя говорить о постмодернизме вообще, а только о постмодернизмах во множественном числе. Напрашивается очевидный каламбур — книга Яркевича могла называться «Как я занимался постмодернизмом».

Важная черта упомянутых практик по Яркевичу — открытость сексуальным, социальным и культурным позициям: «почти всегда приходится сразу за двоих работать: за фрейлину и за гардейца, за немку и за войска, за монахов и за ту, что в поле на лишние деньги польстилась». Простой, но четкий дискурсивный ход: писатель, добровольно принимающий позицию униженного, сопрягает подчеркнутую религиозную фигуру смирения с постмодернистской фигурой открытости имиджам.

Мастурбация в описании Яркевича больше всего похожа на компьютерную игру: интерактивное действие, происходящее в Африке, Париже или Афганистане, с участием баронесс и террористов с вариативным итогом и прочими виртуальными эффектами. Через фигуру онанизма — щедро оставляя миллион поводов для пародий и издевательств — Яркевич выводит своего героя из мифа русской литературы в современный горячий масскульт.

В тот же самый русский миф с головой погружена героиня романа Александра Иванченко «Монограмма» Лида Черновол: «Ее отцу Емельяну был пожалован

заячий тулупчик. Ее мать Марина наложила на себя руки в Елабуге. Ее дед умер на станции Астапово...»

События романа, начинаясь в эпоху коллективизации и заканчиваясь более-менее нашим временем, насквозь пропитаны едким ароматом литературности. Даже городок, в котором живет Лида, становится заложником первой буквы своего имени — «У». «...На этой самой запредельной букве русского алфавита (звук «у», уводящий в бесконечность, в тоску), вечно незавершенной, несмотря на свое вопиющее излишество, нахлобучены шапки снега — городок У. по колено в снегу... В заброшенных угольных разрезах У. ловят на уду уклейку, варят уху. В карьерах, по весне, на отравленную воду садятся утки. Усталый, улитой ползает по путям паровозик...».

Характер человека адекватнее всего описывается школьной программой по литературе: «как бы обожала все героическое: Павка Корчагин, Вера Павловна, знамена, Гагарин, боевые кличи (разыгрывала во дворе сцены из «Молодой гвардии», пытки), а про себя: тургеневские девушки, церковная утварь, церковный хор» — последний, наверное, блоковский, не традиции здесь противостоит традиции, а происходят разборки внутри одной литературоцентричной системы.

Теря любимого, героиня пытается преодолеть ситуацию литературными методами: пишет ему письма (которые никуда не отправляет), пишет ЗА НЕГО себе ответы: «утром, убегая в школу, опускала письмо», чтобы вечером увидеть его «сквозь дырочки ящика, с нетерпением разорвать конверт и тут же, на крыльце, прочитать листки сквозь нетерпение, надежду, пургу».

Кошмарная судьба героев романа — раскулачивание, высылка, детдом, шахта, война, зона и т. д. — выписана в «Монограмме» очень сухо, концентрированно и лаконично: трагедия здесь — сюжетный ход, фабульная сдвигка, а только потом собственно жизненное происшествие. По наблюдению исследователя, «это — отстоявшаяся, умиротворенная, лишенная первоначального градуса (почти уже прошедшая) жизнь. И выписана она так мастерски, что сразу узнается, как что-то некогда уже читанное. Все эти ситуации с коллективизацией, библиотечной службой, взаимоотношениями родственников, счастьем первой любви моментально опознаются читающими именно как таковые, четко ложатся на имеющийся опыт. А откуда он, этот опыт? Отчасти, конечно, из жизни, но в первую главную очередь из другой, ранее читанной литературы».

И структурно рассказ об этой жизни строится как рассказ о тексте: альбоме семейных фотографий, где под номерами от 1 до 104 расположены снимки героев, их знакомых и членов семьи. Вообще литературность фотографии — тезис крайне неочевидный, есть множество работ, рассматривающих фотоискусство в иной перспективе. Но в «Монограмме» жизнь-в-фото концептуализирована как «мертвый музей», как законченный или, во всяком случае, закрытый для нас текст. «Отчего мы так безошибочно, так наверняка распознаем фотографии, которые сделаны еще до нас, до нашего пребывания в мире? — как, наверное, распознали бы без труда те, что будут потом, после. Почему мы знаем это? И отчего всегда так запредельно жаль этих людей, которые еще без нас, еще до нас, еще о нас не догадываются, не знают? Мы еще ничем не можем — и уже никогда не сможем — помочь им, мир до нас еще лишен нашего участия и сострадания». Этот отрывок — с апелляцией к времени-после-нас — сложнее, чем мы его сейчас интерпретируем, но нам важно подчеркнуть замкнутость текста истории-жизни, ее антиинтертекстуальность: мы можем ее «запредельно» жалеть, но нам явен и другой опыт запредельности — той, что выплеснулась из закрытого текста в виде тех же коллективизации, тюрьмы и сумы. Текста-победы-над-нами (под номером первым, утверждая силу советского текста о народе как семье, помещен снимок Ленина и Сталина в Горках). Запредельности русского смысла-мифа, которому и ищет достойную альтернативу словесность эпохи постмодернизма.

Вариант Иванченко вполне неожидан: буддистская философия. Причем дана она в романе не в качестве объекта рефлексии или имплицитного идеала, а в качестве малоадаптированного текста: половину романа занимают эпизоды из жизни-в-фото, а вторую — чистое описание медитаций, текст подчеркнuto не-художественный: «Круг разделен на шесть секретов, шесть областей существования (лок), в которых перерождаются существа: мир богов (дэвов) — два-лока, мир титанов, демонов (асуов) — асура-лока, мир страждущих духов (претов) — прета-лока, адские миры и чистилища — нарака-лока, мир животных — тирьяк-лока, мир людей — наа-лока. Все формы и состояния сансарического бытия...»

Последовательно буддистский дискурс радикально противоположен мифу русской литературы в одном важном пункте: он подчеркнuto асимволичен. Все значения здесь очень конкретны и четки, слово не стремится к переносному значению, не жаждет проникнуть в некие скрытые смыслы. То, что Сорокин ищет в условных эксcrementах, Иванченко ищет в буддизме и предъявляет его тоже очень конкретно: как сугубость письма, как полромана.

Это позволяет отнести к буддийским главам романа как к визуальности, как к своему рода квазилитературному объекту. Вот показавшиеся нам очень любопытными рассуждения А. Верникова: «Если перед нами литературное произведение, то для чего столько страниц отдано буддийским текстам? Нельзя ли было обойтись без них? Попытаемся «отбросить» буддизм и тотчас убедимся, что оставшийся материал, как бы сам по себе ни был хорошо написан (а написан он воистину хорошо), не дает основания считать его законченным и самостоятельным произведением. Получается фрагментарное и словно сирое повествование... Которое тем не менее может оказаться и состоятельным... если не прилеплять оставшиеся после гипотетического удаления буддийских текстов куски друг к другу, но... оставить между ними возникшие при выпалывании буддизма зияния, пустоты, провалы. Что мы получим? Гребень, частокол, огораживающий пустое пространство, сосновый бор, где между стволами струится свет и воздух...». «Восточные» мотивы вообще способствуют визуальности: иероглиф, как известно, это не только слово, но и картинка, которую можно рассматривать как картинку, объект изобразительного искусства. «Антилоготризм» современной культуры способен доходить до того, что и имя превращается в иероглиф: в начале 1996 года знаменитый поп-певец Принц заявил, что его отныне зовут иначе, и предьявил в качестве имени сложную закорюку из крестиков, кружков и кругляшков... (этот мотив есть и в романе Шарова «До и во время»: в Моисеевы времена слово рисовали как картинку, его можно было рассматривать, перерисовывать).

Буддийский идеал «Монограммы» также неоднозначен: некоторые фрагменты текста располагают его в достижении полной и великой Пустоты, полной чистоты сознания. Если уже упомянутый Сорокин находит точку восторга в глубинах брутальной телесности, то здесь мы можем увидеть попытку освобождения от «грязной» телесности, вознесения над нею, чему должна способствовать медитация на трупе, вызывающее отвращение к физическому телу. «Вздутый, полежавший несколько дней труп. Созерцается отвратительность цвета кожи мертвого тела, обезображенного этим вздутием... Посиневший, изменивший естественную окраску кожи труп. Созерцается отвратительность цвета кожи мертвого тела, изменившегося в результате разложения... Расчлененный труп. Созерцается мертвое тело с разбросанными там и тут конечностями, обезглавленное... Труп, пораженный червями. Созерцается мертвое тело, кишашее различными видами червей...» У Сорокина такие картины предполагают возможность любования, у Иванченко они призваны вызывать отвращение. Такой подход, однако, не представляется нам принципиально отличным от великой мифологии русской культуры: в конце концов не так уж и важно, достигается ли пустота-чистота, православный абсолют или абсолютный смысл черного квадрата. В любом случае происходит выход в последнюю безусловность.

Лично нам кажется более предпочтительным другой вариант: существования не в пустоте за гранью тела, а на границах телесности, в мире, имеющем откровенное виртуальное измерение. Дочь Лиды Настя «играет не реальными, а воображаемыми игрушками. Или начнет настоящими, а кончит невидимыми. Еще грудная, погремит, бывало, гремушкой, затем отбросит ее в сторону и просто водит ручонкой у уха, слушает — и улыбается, блаженствует. Когда подросла, то же стала проделывать и с другими игрушками: подбросит вверх невидимый мячик, хлопнет в ладоши над головой, за спиной — поймает, подбросит — хлопнет — поймает, а то вдруг понарошку промахнется, не словит, «мячик» закатится под кровать, и она его там долго, ползая на коленках, разыскивает...» — но такое предпочтение это всего лишь предпочтение, это не есть отмена реальных игрушек, не есть преодоление их физичности — это скорее опыт по надделению кавычками реальных вещей, научение отношению к вещам как к существующим одновременно в кавычках и без.

Другой пример «виртуального» пафоса — любовь Лиды к стеклу, прозрачной преграде, знаку присутствия-отсутствия, любовь, приобретающая форму вполне плотных телесных практик. «Еще в детстве, помнится, в поезде, стояла долго у окна и вдруг почувствовала присутствие стекла, все обыкновенные предметы за окном вдруг бесконечно удалились, исказились: привязанный к изломленному столбику изломленной веревкой бычок, изломленное, составленное из двух стволов, дерево. Двоящиеся вместе со стеклом, картинками за окном, вкус, ощущение, запах, цвет... текущие искажения, неправильности передачи чувствами впечатлений мира вдруг стали явными, понятными для нее благодаря этому стеклу, и ей стало интересно не то, что за стеклом, а само стекло, его царапинки, выбоинки, пузырьки воздуха внутри...». Собственно говоря, здесь описывается «наркотическое» зрение, способное воспринимать пространство слой за слоем, зреть то, сквозь что зришь, зреть самого себя (эффект, не очень странный в «восточном» контексте). Или — здесь описывается перенос интереса с сообщения на код: на с помощью чего обеспечивается именно такое, а не другое смотрение.

Другой подобный эффект — эффект «двойного присутствия» (ощущение себя и ощущения себя наблюдающим за собой), характерный, в частности, для состояния

клинической смерти, Лида переживет именно в последней ситуации: улетающая от сердечного удара в бездонный колодец (то есть уходя в чистое бытие), она слышит крик дочери и возвращается в жизнь, зафиксировав ситуацию наблюдения со стороны за собственным оставленным телом.

Объединение двух описанных выше мотивов — выхода в масскульт и в виртуальную реальность — мы можем атрибутировать Виктору Пелевину. Его сюжеты просты до примитивности: Пелевин не скрывает свою зависимость от басенного жанра, указывая в финале «Жизни насекомых» непосредственно на Ивана Крылова. Рассказы из сборника «Синий фонарь» могут восприниматься как наивные дидактические опыты, «Омон Ра» поражает незамысловатостью и неизобретательностью фабулы. Все это довольно хорошо считывается массовым, «неподготовленным» читателем. Кроме того, хотя некоторые отсылки Пелевина носят характер глубоко эзотерический (очень нелегко прочитать во фрагменте из «Принца Госплана» — «осмыслить опыт боев во Вьетнаме, он попросил своего механика дописать два файла в ассемблере, чтобы пушка и пулемет работали от одной клавиши» — цитату из «Неба войны» Александра Покрышкина), он, однако, все время апеллирует к хорошо известному публике контексту: к фотографически обыденным позднесоветским будням, к легко датируемым сюжетам из жизни раннекооперативного движения и т. д. — через два месяца после того, как страна узнала имя Шамиля Басаева, Пелевин публикует рассказ о том, как Басаев взял Кремль.

Эту открытость профанной злободневности Пелевин удачно совмещает с компьютерно-«восточными» философическими заходами. Во-первых, речь идет о уже упомянутой виртуальности: герои Пелевина и рассказчик часто отказываются отличать «придуманный» мир от «настоящего». (Ср. у А. Гениса: «Для Пелевина окружающий мир — это череда искусственных конструкций, где мы обречены вечно блуждать в напрасных поисках «сырой», изначальной действительности. Все эти миры не являются истинными, но и ложными их назвать нельзя, во всяком случае до тех пор, пока кто-нибудь в них верит».) Любопытно, что исток таких вполне постмодернистских миров-симулякров обнаруживается в эстетике соцреализма: «Пока есть хоть одна душа, где наше дело живет и побеждает, это дело не погибнет... Достаточно даже одной чистой и честной души, чтобы наша страна вышла на первое место в мире по освоению космоса, достаточно одной такой души, чтобы на далекой Луне взвилось красное знамя победившего социализма». Но из идеи победившего социализма вынута очень важная пружинка — ее соответствие высшим и единым сущностям. К этой операции соответствия абсолюту Пелевин вообще относится с подозрением: в рассказе «Жизнь и приключения сарая Номер XII» его симпатии на стороне сарая, переживающего всякие локальности вроде трещин асфальта и сиреневой обочины нагретого шоссе, а не на стороне оккультно ориентированного гаража, вполне по символистски-авангардистски полагающего, «что высшее счастье на самом деле только одно и состоит в экстатическом единении с архетипом гаража».

Во-вторых, для героев Пелевина, очевидно, актуален момент «двойного присутствия» и не-единства (не-музейности) личности: он с редкой настойчивостью повторяет из текста в текст ситуацию неравенства субъекта самому себе. Гараж ощущает себя состоящим «из неземных личностей машин для преодоления пространства, пахнувших резиной и сталью, из мистической интроспекции замкнутого на себе обруча, из писка душ разбросанной по полкам мелочи вроде гвоздей и гаек». «Принц Госплана» является одновременно служащим бюрократического учреждения и персонажем компьютерной игры. В «Жизни насекомых» герои балансируют на непонятной грани между людьми и насекомыми. В тексте «Мардонги» Пелевин с явной язвительностью описывает концепцию философа Антонова, полагающего, что жизнь есть процесс взращивания внутреннего мертвеца, присутствующего в каждом человеке, завершающийся его, мертвеца, актуализацией: можно рассуждать, какого именно рода любомудрствования здесь пародируются, но логичнее указать, что придумано-то эта теория все же лично писателем Пелевиным. В «Проблеме верволька в средней полосе» тихий студент наукается становиться иногда волком, и здесь же звучит великолепная фраза «только оборотни — настоящие люди».

Напоследок стоит заметить, что эта идея неадекватности человека может приобретать в текущей культурной практике и самые радикальные формы: прежде всего следует упомянуть «Партию животных» Олега Кулика и ее «Манифест постгуманизма», где гуманизм, понятый как апофеоз тезиса «человек есть мера всех вещей», объявляется «фашиствующим антропоцентризмом» и провозглашается задача открыть в себе неантропоморфного Другого и вступить с ним в диалог.

Победители и побежденные

●

Григорий Бакланов. И тогда приходят мародеры. М., «Книжная палата», 1996.

●

Творчество Григория Бакланова отличается редким внутренним единством, схожим в какой-то мере с нерушимой монолитностью фрагментарных исторических хроник. Своеобразие Бакланова в том, что о нем нельзя судить по отдельным произведениям, так как все они являются собой непрерывный поток-существование поколения, прошедшего великую войну и поэтому получившего право зваться великим поколением. Было бы непростительной ошибкой обрамлять портрет писателя рамкой лишь так называемой «копной правды» — правда Бакланова много шире и глубже любой из присвоенных ей классификаций, а появление каждого его произведения становится значительным событием в литературе, что, безусловно, относится также к роману «И тогда приходят мародеры», давшего название новому сборнику произведений писателя.

Жизнь, вернее, ступени жизни поколения, опаленного войной, наученного войной, войной изуродованного и освященного, — тема, отчетливо прослеживаемая и в повестях «Меньший среди братьев», «Свой человек», вошедших в настоящий сборник. Надо полагать, роман неминуемо должен был подвести некий нравственный итог в судьбе военного поколения, означить его место и его роль в нынешней России — стране, обязанной ему самим своим существованием. К сожалению, временами оптимизм авторского замысла несколько меркнет на фоне безысходного пессимизма бытия, а поколение победителей большей частью чувствует себя поколением побежденных — участь, отдаленно схожая с участью «потерянного» поколения, воспетого Хемингуэем и Олдингтоном.

«Мы победили», — уверен вернувшийся с фронта Александр Лесов, главный ге-

рой романа, и благой вестью звенят эти его слова над могилами родителей. «А теперь мы кто? Побежденные», — зло констатирует много лет спустя фронтовик Дармодехин, тоскующий об утраченном порядке и железной руке, потерявший веру и завидующий погибшим. Кто прав? Наверное, оба, потому что и у победителя, и у побежденного своя правда. Вариации на эту тему слышны во многих произведениях Бакланова: Илья Константинович и Таратин («Меньший среди братьев»), Васич и Ищенко («Мертвые сраму не имут»), Евгений Усватов и Леонид Оксман («Свой человек»).

Важное значение для понимания идейно-смысловой структуры романа имеет проблема взаимоотношений отцов и детей. «Где там матери и ее кастрюля уцелеть в перспективе, удлиняемой жизнью сына!» — аксиома, заключенная в этой невеселой усмешке Иосифа Бродского, для Бакланова явно неприемлема. Наоборот: баклановские персонажи, как правило, отчетливо сознают наличие той незримой нити, по которой явились они в мир из прошлого и по которой им предстоит двигаться в будущее, перспектива во времени всегда (или почти всегда) определяет перспективы психологические, формирует характеры героев. Однако новое обладает известным стремлением к конфликту, к отрицанию старого — диалектическая формула, в общем, не чуждая Бакланову: «... жизнь строилась на обломках чьих-то жизней. Да ведь и вера всегда утверждала себя так: ради новых богов свергали прежних богов, и на обломках их храмов воздвигали свои». Но это — канва, предельно широкое обобщение, принимаемое, пожалуй, большинством. В дальнейшем победителям и побежденным новое видится по-разному. Лесов может только сосуществовать Дармодехину, который «у сына из милости, как таракан запечный, пристегивает в углу за шкафом свою деревянную ногу» и которому «здоровенный бык», законченный фашист, встреченный в метро, бросает в лицо: «Вы когда все передохнете? Вымрете все когда?» И вот тут инвалид, задыхаясь от позора и бессилия, вспоминает о том, имени которого и по сей день не смеет назвать. Дармодехин устремлен в прошлое, он боится будущего, видя его сквозь пелену собственной беспомощности и озлобления. А ведь точно такой же мир окружает и Лесова, но Лесов по-иному воспринимает мир, он — гражданин своей страны, сознающий собственную

долю ответственности за происходившее, происходящее и за то, что произойдет. Недаром сын Лесова говорит: «Вы дали нам жизнь — это главное». Дармодехин мертв при жизни. Лесову, гибнущему на последних страницах романа, все же уготована закономерная и счастливая участь «уцелеть в перспективе, удлиняемой жизнью сына».

Таково авторское решение. Таково в основном и читательское восприятие. Однако именно в образе Дмитрия Лесова, на мой взгляд, мы сталкиваемся с редчайшим для Бакланова случаем, когда чрезмерная положительность героя автоматически делает его прямолинейным воплощением авторской идеи. Такому восприятию способствует и то, что практически на всем протяжении романа читатель видит Дмитрия исключительно глазами его отца, видит как-то урывками. Впрочем, есть в романе сцена, «оживляющая» этот персонаж: отец и сын встречаются у Белого дома в дни августовского путча, и Дмитрий рассказывает Лесову о печальной участи своего теплого свитера, «вопхнутого» им в дуло расчехленного оружия бэтэра.

Идея преемственности в романе многопланова: преемственность поколений соседствует с преемственностью исторической. И вновь, как тогда, полвека назад, победу, добытую кровью одних, станут использовать другие, и вновь самые серые и незаметные станут хозяевами жизни. На поле боя придут мародеры, — напоминает мрачноватое название романа; но вопреки всему писатель одушевлен надеждой: погибшим и уходящим есть кого оставить за себя на поле боя.

Валерий ВОЛКОВ

Сказка, прерванная дробным топотом ног

●
Ролан Быков. Эпиграммы и миниатюры. Стихи. М., «Янко», 1994.

●
 Есть на свете такое племя — библиофилы. Вероломное, но велеречивое и при том — алчное и жестокое племя. С людь-

ми они что хотят, то и делают, потому что человек для них — ничто, его как бы и нету, а интересуют библиофила только книги. И все тут.

Увлеченный библиофил приглянувшись книгу может украсть, а хозяина ее, абы такой найдется, замучить до смерти или просто убить. Государственные библиотеки боятся нашествия библиофилов, как в самые что ни на есть средние века боялись прихода чумы — вездесущей, коли никто не знал, куда теперь наложит она свою длань.

Трудно умиловить библиофила, куда труднее, чем чуму, — будет он все копать да разбираться. Это ему не это и то не то. Раритеты слишком новые, инкунабулы чересчур залистанные, а палимпсесты уж как-то сильно подчищенные и блестящие. Библиофилу — а есть их тьма! — нужно такую книгу, чтоб у других почти что не было, да и самому не слишком нужна.

Главное — как оформлена, да как выглядит, да как и что. Если тираж крошечный, а странички мал мала меньше, библиофил воспринимает кверху духом, достает из-за голенища свой, да любимый, да разрезной, да постраничный нож и шагает в наступление, чтобы добыть эту книгу, и лелеять ее, и пестовать, и охранять страницу ее за страницей, при том вовсе не обязательно, что он прочитает в книге хоть единую строчку.

А поставит он ее куда-нибудь в уголок и станет молиться, так раньше неосознанные народы, которые после выродились в власть, молились на какой-нибудь божественный деревянный чурбан, принося дары и мажа ему губы медом и кровью.

Также и с книгой, о которой здесь идет речь. Автор ее пошел на смертельный риск, но произвел и прекрасный ход. Выпустил книгу, какой прежде не было, миниатюрную, чрезвычайную. И библиофилы тут как тут: проснулись и подладились, воспрянули, вышли все как есть на большую дорогу. Именно потому я и не написал рецензию раньше — книга все не давалась в руки. И по тиражу, и по миниатюрному размеру.

Она так мала, что попала ко мне случайно, пришлось долго выискивать ее в пространстве и времени. Нет-нет, не подзревайте меня, читатель, я никого не убил и даже, кажется, не ограбил, ведь я совсем не библиофил. Просто бывают случаи, в руки приходят разные вещи, в том же числе и книги, о которых и вовсе не думал. Так в сказке является вдруг сокровище не тому, кто страстно о нем мечтал, а другому. И прав ты, не прав, знает лишь сказка, лишь ты, лишь вольный

ветер, лишь некоторые ответственные лица.

Вот и теперь — лежит на ладони. Белые-белые ограниченные странички, микроскопические, но волшебны четкие буквы и короткие стихотворенница, где много веселья и много печали.

Я Бога моего прошу
Простить меня за то,
Что радость я свою ношу
Отдельно, как пальто.
Ее приходится снимать
На время иногда,
Чтоб не испачкать и не смять,
Когда придет беда.
Но чтоб не стать мне дураком,
Пусть даже счастье, пусть,
Ношу под радостью тайком,
Как душегрейку — грусть...

Но что-то мы о другом и другом, а следует о том-то и том-то. Следует говорить о вещах сказочных. Сказочных, простите за выражение, и действительных. А ведь происходят разные чудеса. Жизнь — сплошное чудо.

Живет себе человек, размышляет, и мысли впору. Не претендует на звание великого литератора. А потому — проходит время, и некоторые стихотворения — увы и ах — становятся достоянием прошлого, нуждаются в комментариях.

Вот пример. Краткое двустихие, которое теперь и не сразу поймешь.

Разве это «Айболит, 66»?
Это — Бармалей 2-87!

Следует напомнить забывшим, что в упомянутые здесь времена столько стояла бутылка водки вместе с залоговой стоимостью посуды. Но — как бы то ни было там с читателями — разные навороты и заковырки только сильнее разжигают темную библиофильскую жадность.

А стихотворец сидит, словно мудрый лукавый гномик, сидит и выписывает выдуманные им строчки яркими чернилами, наводит глянец. А за всем следят затаившиеся библиофилы, чтобы, едва работа будет окончена, схватить эту книгу, и утащить к себе, и положить в укромном месте. Чтобы не читать ее, нет. Владеть ей.

Но гномик, все сочинявший, куда умней. Зря, что ли, он сидел и выкладывал свои гномичьи стихотворения?

О боль моя — моя подруга!
Она понятна и проста,
Она читается с листа...

Да и вовсе — гномик ли он? А подумай, так ли. Вот изображен он на картинке в

одной из собственных книжек: хитро улыбающийся, в колпачке и с большим канцелярским пером в пальцах. Складывает, слово идет за словом, буква за буквой и звук за звуком.

Иногда получаются точные и определенные словосочетания, что хоть сейчас вот запечатлай:

Исполнилось мне 50 годов,
Едва привык — уж 51.

Иногда все, что было, и совсем не в счет. И жизнь не в жизнь, и время не всякое время. Защищают, конечно, разные умозрительные утешения, вроде тех:

Моя дорога коротка,
Мой путь длинней...

А что есть на самом-то деле? Жизнь проходит пред тобой, каждый момент просматривается наново:

Все в дороге, все в дороге,
Все в заботах и тревоге,
Все в заборах и замках,
Все с собою, все в комках,

и накопленное за это время имущество:

Узел боли, ящик доли,
Чемодан слепой неволи,
Мыслей слипшихся комок
И любви большой мешок.

Вот ведь какая она, судьба. Стих идет за стихом. Кропотливая, колдовская натура этого странного карлика заставляет перебирать слова, выражения сдвигать там, где рифма, и раскладывать их надвое там, где рифмы нет. Повторять и повторять.

Столько тайных смыслов
В трепете огня,
Ворожу на числах,
Что влекут меня,
Я люблю тринадцать,
Девять, три и семь,
А еще, признаться,
Я люблю их все.

Такие дела. Такая история. Где правда, где ложь — вам разбирать. А мне остается одно: просмотреть написанное, сверить кое-какие цитаты и, коли придется, добавить новые. Но оглянулся вокруг, пошарил по полкам, взглянул на стол, перешутил самые малые уголки, не доверяя глазам, — нету книжки. Пропала. Исчезла. Почти улетучилась... И тут я услышал разные дикие звуки: удаляющийся дробный топот и страшный, разбойный библиофильский посвист. И все мне стало сразу и чрезвычайно ясно.

Б. ФИЛЕВСКИЙ

Уважаемые читатели!

НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1997 ГОД.

Стоимость подписки на *первое полугодие* (индекс 73293) — 87 000 рублей,
 на 1 месяц первого полугодия — 14 500 рублей,
 на 3 месяца — 43 500 рублей
 плюс надбавка местных отделений связи.

Вы также можете оформить подписку сразу на *год*. В этом случае предоставляется существенная скидка.

Стоимость *годовой* подписки (индекс 72375) — 163 200 рублей плюс надбавка местных отделений связи.

Ф. СП-1	МС РФ ГПС (Госпочтамт) АБОНЕМЕНТ на журнал газету 73293 (индекс издания) ОКТАБРЬ (наименование издания)																								
	Количество комплектов: 																								
	на 19 год по месяцам:																								
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
	Куда: (почтовый индекс) (адрес)																								
	Кому: _____ (фамилия, инициалы)																								

	ДСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА на журнал газету 73293 (индекс издания) ОКТАБРЬ																								
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">ПВ</td> <td style="width: 33%;">место</td> <td style="width: 33%;">ли-тер</td> </tr> </table>	ПВ	место	ли-тер																					
ПВ	место	ли-тер																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Стои-мость</td> <td style="width: 25%;">подписки, пере-адресовки</td> <td style="width: 25%;">руб.</td> <td style="width: 25%;">Количество комплек-тов:</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Стои-мость	подписки, пере-адресовки	руб.	Количество комплек-тов:																				
Стои-мость	подписки, пере-адресовки	руб.	Количество комплек-тов:																						
	на 19 год по месяцам:																								
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
	Куда: (почтовый индекс) (адрес)																								
	Кому: _____ (фамилия, инициалы)																								

Москвичи и жители Подмосковья могут оформить подписку непосредственно в редакции (ул. «Правды», д. 11/13) по *льготной* цене:
стоимость подписки на первое полугодие — 75 000 рублей,
на 1 месяц — 12 500 рублей,
на 3 месяца — 37 500 рублей.

В редакции также можно будет заказать очередной номер журнала по 12 500 рублей за экземпляр.

Если Вы пожелаете оформить годовую подписку, то получаете еще одну льготу:

стоимость годовой подписки — 139 200 рублей.

Телефон для справок: 214-31-23.

*До конца года и в 1997 году
читайте в наших разделах:*

Поэзия

Стихи Беллы АХМАДУЛИНОЙ, Ольги БЕШЕНКОВСКОЙ, Дмитрия БЫКОВА, Сергея ГАНДЛЕВСКОГО, Натальи ГОРБАНЕВСКОЙ, Бахыта КЕНЖЕЕВА, Виктора КРИВУЛИНА, Льва ЛОСЕВА, Юнны МОРИЦ, Анатолия НАЙМАНА, Вадима ПЕРЕЛЬМУТЕРА, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Виктора СОСНОРЫ, а также подборки стихов молодых поэтов.

Воспоминания. Документы

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ. Переписка Марка АЛДАНОВА с Георгием АДАМОВИЧЕМ, Борисом ЗАЙЦЕВЫМ, Михаилом ОСОРГИНЫМ, Ильей РЕПИНЫМ, ТЭФФИ и другими — из Бахметевского архива (Нью-Йорк).

Переписка Вадима СИДУРА с Карлом АЙМЕРМАХЕРОМ. 60—70-е гг.
Новые поступления из архивов музея А. С. ПУШКИНА и музея Л. Н. ТОЛСТОГО.

Публицистика и очерки

Статьи известных публицистов, видных философов, экономистов, историков: Л. БАТКИНА, В. КАНТОРА, В. КАРДИНА, С. НИКОЛЬСКОГО, Л. СКВОРЦОВА, Г. ПОМЕРАНЦА, Л. ФРИЗМАНА и др.

Документальная повесть И. НИКОЛАЕВА о Г. К. ЖУКОВЕ.
«ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ» познакомит с малоизвестными у нас произведениями выдающихся зарубежных философов.

Литературная критика

Статьи Д. БАВИЛЬСКОГО, Д. БАКА, М. ГАСПАРОВА, А. ЗВЕРЕВА, Е. ИВАНИЦКОЙ, К. КОБРИНА, В. КУРИЦЫНА, М. ЛИПОВЕЦКОГО, Е. ПЕРЕМЫШЛЕВА, Л. САРАСКИНОЙ, Б. САРНОВА, А. ЭТКИНДА.

Для журнала работают:

Юрий ДАВЫДОВ, Олег ДЫШЕВ, Владимир МАКАНИН, Ирина МУРАВЬЕВА, Виктор ПЕЛЕВИН, Григорий ПЕТРОВ, Валерий ПОПОВ, Людмила УЛИЦКАЯ, Марина УРУСОВА и др.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца этого года и в 1997 году
Вы сможете прочитать в нашем журнале
новые произведения многих известных
авторов. Среди них:*

- Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга вторая.
- Александр БОРОДЫНЯ. **Религиозные войны.** Роман.
- Юрий БУЙДА. **Рассказы.**
- Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.
- Валерий БЫЛИНСКИЙ. **Июльское утро.** Повесть.
- Алексей ВАРЛАМОВ. **Ковчег.** Роман.
- Игорь ВОЛГИН. **«В виду безмолвного потомства...».** Достоевский и гибель русского императорского дома. Книга вторая.
- Даниил ГРАНИН. **Повесть.**
- Вяч. Вс. ИВАНОВ. **Воспоминания. Бродский. Пастернак.**
- Владимир КАНОВИЧ. **Парк забытых евреев.** Роман.
- Юрий КАРЯКИН. **Дневник русского читателя.**
- Бахыт КЕНЖЕЕВ. **Письма к Господу Богу.** Роман.
- Руслан КИРЕЕВ. **Виттинские легенды.** Рассказы.
- Михаил ЛЕВИТИН. **Чушь собачья.** Повесть.
- Юнна МОРИЦ. **Рассказы.**
- Анатолий НАИМАН. **Славный конец бесславных поколений.** Рассказы.
- Юрий НАГИБИН. **Дневники.**
- Олег ПАВЛОВ. **Дело Матюшина.** Повесть.
Записки из-под сапога. Рассказы.
- Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Непропащая жизнь.** Рассказы.
- Михаил ПРИШВИН. **Дневник 1938 года.**
- Михаил РОЩИН. **Рассказы.**
- Генрих САПГИР. **Бабье лето и несколько мужчин.** Рассказы.
- Иннокентий СМОКТУНОВСКИЙ. **Быть!** Документальное повествование.
- Борис ХАЗАНОВ. **После нас потоп.** Роман.
- Алексей ЦВЕТКОВ. **Просто голос.** Поэма. Продолжение.
- Асар ЭППЕЛЬ. **Рассказы.**

Следите за нашей дальнейшей рекламой!
